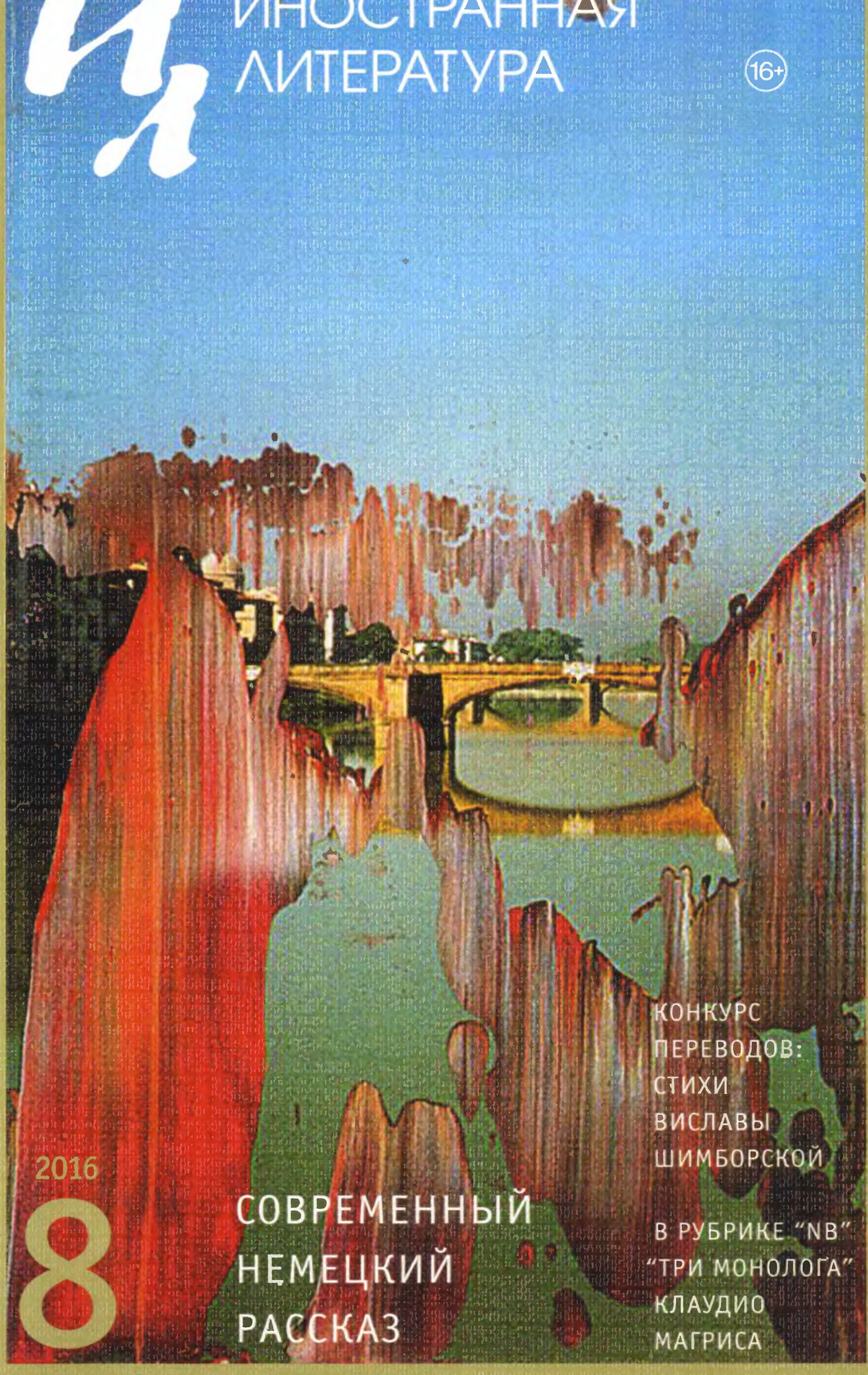
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

16+



КОНКУРС ПЕРЕВОДОВ: СТИХИ ВИСЛАВЫ ШИМБОРСКОЙ

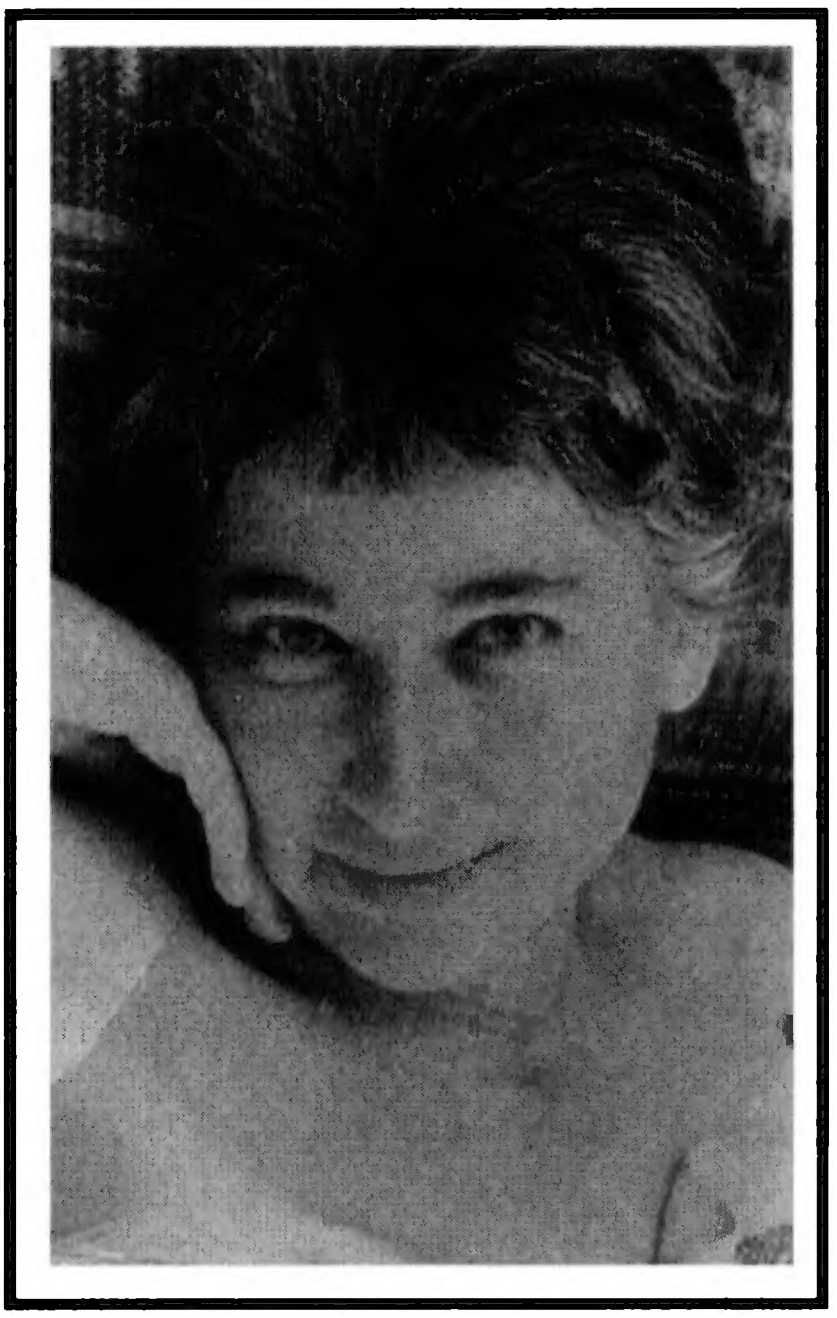
В РУБРИКЕ "NB" "ТРИ МОНОЛОГА" КЛАУДИО МАГРИСА

2016

8

СОВРЕМЕННЫЙ НЕМЕЦКИЙ РАССКАЗ

Основан в 1955 году



Не стало Майи Ароновны Канторович, многолетнего редактора журнала “Иностранная литература” и его книжного приложения “Библиотека ‘ИЛ’”. Выпускница испанского отделения Института иностранных языков, Майя Ароновна полвека проработала в знаменитом особняке на Пятницкой, где до недавнего времени располагалась редакция журнала. Голос Майи Ароновны, живой и мягкий, проникновенный и неизменно благожелательный, звучал не только в ее заметках на полях французских, испанских, итальянских переводов — через руки Майи Ароновны прошла целая когорта классиков мировой литературы, “заговоривших” по-русски: от Г. Гарсиа Маркеса, Х. Кортасара и М. Варгаса Льосы до Н. Саррот, Р. Гари и Б. Виана, У. Эко, И. Кальвино и Т. Ландольфи. Звонкий и смешливый, этот голос сопровождал помнивших о ней и тогда, когда она оставила редакцию, но не оставила литературный труд, занимаясь переводами с испанского и личным архивом Цецилии Кин, которая назначила ее своим душеприказчиком.

В разговоре Майя Ароновна редко говорила о себе и слушала, слушала собеседника, давая тому возможность выговориться, словно на исповеди, а потом будто отсеивала, “редактировала” лишнее, незаметно выделяя главное. И это главное от Майи Ароновны заключалось в ее умении делиться с другим весельем и правдой жизни, подкреплять одним фактом своего существования его веру в себя. После каждого такого разговора, как после процедуры лечения оптимизмом, восстанавливалась утраченная было вами функция жизнелюбия, уменьшалось неблагоприятное воздействие окружающей среды, снималась хроническая усталость, как частная, так и общественная. Близкие вспоминают о Майе Ароновне: “Если кто-то заболел, она говорила: так ведь он скоро выздоровеет; если кто-то лишался работы, она заявляла: ничего, в конце концов он работу найдет. Внутри нее был добрый мир, она жила в радости, и ей было хорошо до последних дней”.

Человеческой теплоты и отзывчивости, воспринятых от Майи Ароновны Канторович, хватит до последних дней и тем, кто имел счастье соприкасаться с ней.

Геннадий Киселев

[8]
2016

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

Современный немецкий рассказ

3 Елена Леенсон *Звуки прошлого*

4 Эльке Хайденрайх *Лучшие годы.* Перевод Елены Леенсон

29 Грегор Зандер *Зимняя рыба.* Перевод Анатолия Егоршева

41 Луц Зайлер *Зов.* Перевод Анатолия Егоршева

48 Криста Вольф *Август.* Перевод Н. Федоровой

68 Торстен Шульц *На роликах.* Перевод Дарьи Андреевой

Конкурс переводов

80 Вислава Шимборская *Стихи.* Переводы с польского. Вступление Игоря Белова

№

94 Клаудио Магрис *Три монолога.* Перевод с итальянского и вступление Валерия Николаева

Документальная проза

134 Ханна Кралль *Из книги "К востоку от Арбата".* Перевод с польского К. Старосельской. Вступление Мариуша Щигела

169 Джон Фаулз *Дневники (1965–1972).* (Окончание.) Перевод с английского Валерии Бернацкой. Примечания Чарльза Дрейзина, Николая Мельникова

Национальные культуры и национальные психозы

260 Александр Мелихов *Утилизация Чернобыля*

В устье Гудзона с Алексеем Цветковым

265 *Четыре эссе: Контент и его носители. Глядя вниз. Квинс и окрестности. Никаких расставаний*

БиблиофИЛ

277 *Среди книг* с Еленой Огневой

Авторы номера

281

© "Иностранная литература", 2016

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года — "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

Н. Г. Мельников

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова

А. Г. Битов

Н. А. Богомолова

Е. А. Бунимович

Т. Д. Венедиктова

А. А. Генис

В. П. Голышев

Ю. П. Гусев

С. Н. Зенкин

Вяч. Вс. Иванов

Г. М. Кружков

А. В. Михеев

М. Л. Рудницкий

М. Л. Салганик

И. С. Смирнов

Е. М. Солонович

Б. Н. Хлебников

Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

Ван Мэн

Януш Гловацкий

Милан Кундера

Ананта Мурти

Кэндзабуро Оэ

Роберт Чандлер

Редакция :

С. М. Гандлевский

Е. Д. Кузнецова

Е. И. Леенсон

М. А. Липко

М. С. Соколова

Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Звуки прошлого

Современная литературная жизнь Германии очень хорошо структурирована. Благодаря системе многочисленных грантов и премий многие писатели получают возможность думать не о заработке, а исключительно о своем литературном труде. Вообще же писателей, в том числе молодых, в сегодняшней Германии очень много. Спрос тоже не отстает — немцы читают много и охотно, а потому в почете толстые книжки, прежде всего романы. Но и сборников рассказов на прилавках немало, так что выбрать несколько для этой небольшой антологии было непросто. Когда же, наконец, выбор был сделан, оказалось, что отобранные рассказы на разные лады перепевают одну и ту же тему — все они размышляют о прошлом и о том, как это прошлое звучит в настоящем. Поэтому, собранные вместе, они говорят нам даже больше, чем каждый в отдельности: Германия до сих пор ищет и не может найти ответы на вопрос, как получилось, что XX век обернулся для нее и других народов катастрофой.

Сложные взаимоотношения прошлого и настоящего, отцов и детей преломляются у пяти совершенно разных писателей в судьбах конкретных людей. В рассказе Торстена Шульца престарелая мать и ее сын едут навстречу прошлому, чтобы встретиться с бросившим их мужем и отцом. Все, что осталось от прошлого, в настоящем теряет свою привлекательность: некогда прекрасная девушка — сегодня парализованная старуха, сын мужчины, некогда полюбившего эту девушку, — никчемный маменькин сынок. Он и рад бы оставить мать и уйти, но знает, что никогда этого не сделает. Так и всему поколению детей никуда не деться от своего прошлого, более того, дети наделены непреодолимым сходством со своими родителями. Даже если дети бунтуют, даже если, как это происходит у Эльке Хайденрайх, героине кажется, что на мать она совсем не похожа. Все равно в итоге выясняется, что в самых глубинных проявлениях она, как говорит один из героев, “ее полная копия”. И понимает она это только благодаря открытию прошлого. У Кристы Вольф и Грегора Зандера повествование то и дело свободно перемещается от прошлого к настоящему и обратно. Жизнь человека, его судьба и характер раскрываются благодаря широте авторского взгляда — писатель видит своего героя одновременно во всех временах. А типичность жизненных ситуаций позволяют разглядеть в судьбе героев историю всего поколения, и оказывается, что нынешние немцы ничуть не счастливее, чем их отцы или деды. Несколько особняком стоит рассказ Луца Зайлера. Но и его герой в настоящем слышит отзвуки прошлого, причем в его случае звучание это реальное — лишь прислушиваясь к самому себе, к звучанию собственного голоса, он может постичь самого себя. Именно таким самопостижением, рассматриванием себя и собственной истории через увеличительное стекло, занято уже не одно поколение немецких писателей.

Елена Леенсон

© Елена Леенсон, 2016

Эльке Хайденрайх

Лучшие годы

Перевод Елены Леенсон

Только один-единственный раз мне довелось путешествовать вместе с моей мамой. Ей в ту пору уже стукнуло восемьдесят, но она все еще держалась прямо, была деятельна и полна сил, а у меня в сорок пять уже начались боли в спине, я чувствовала, что старею, да и вообще была собой недовольна. Мама жила в маленьком городе на юге Германии, в квартире у нее царил идеальный порядок, я же поселилась в большом городе на севере, и у меня вечно был кавардак. Когда мама постарела, я стала приезжать к ней чаще, впрочем, безо всякой охоты, потому что мы с ней не особенно ладили. Но мне казалось, что я могу ей понадобиться, что, дожив до столь преклонных лет, она постепенно будет дряхлеть, станет неловкой, забывчивой, и раз в пару месяцев я ездила к ней — помочь с кое-какими делами, привезти на машине продукты из "Альди", снять занавески, взобравшись на стремянку, постирать их и снова повесить. Весной я сажала на ее балконе цветы, осенью их обрезала, а горшки с цветами убирала в подвал — в общем, делала все, что полагалось единственной дочери, хотя бы из чувства долга, совсем

© Carl Hanser Verlag München 2001
© Елена Леенсон. Перевод, 2016

не обязательно из любви. Но всегда выходило так, будто это я сделалась дряхлой, неловкой, забывчивой, а вовсе не она. Глядя, как, стоя на стремянке, я вожусь с занавесками, она меня поучала: “Не лапай их, а то опять станут грязными”. Или была недовольна тем, как я обрéзала азалии. Мама никогда не говорила “спасибо”, не могла выдавить из себя даже простого поощрения, вроде: “Молодец, Нина”. Нет, это было не в ее стиле. У нас дома вообще не принято было хвалить. Самое большее, что она могла сказать: “Ну, это еще куда ни шло”. Даже когда маленькой девочкой я приносила пятерки из школы, реакция была всегда одна и та же: “Ну, это еще куда ни шло”.

Приехав к маме, я останавливалась в гостинице. Бюргер, метрдотель, всякий раз при встрече целовал мне руку и приговаривал: “Ах, фрау Розенбаум, не устаю восхищаться, с какой любовью вы заботитесь о своей дражайшей матушке, мало найдется таких дочерей, тем более, что вы так заняты!”

В то время я работала в газете, и Бюргер всегда оставлял для меня свежий выпуск; если в нем была моя заметка, то он ставил на полях восклицательные знаки, как будто иначе я ее не замечу. Уединившись в своем номере, я старалась углубиться в чтение и не думать о матери, которая так же по-дурацки убивала время дома в полном одиночестве, как и я в этой гостинице. Почему бы нам с ней не раскупорить бутылочку вина? Не провести вместе вечер, не посмеяться, посплетничать?.. Но это было невозможно — о чем бы у нас ни заходил разговор, мы словно пробирались через минное поле, на каждом шагу рискуя взорваться. Не было ничего, на что бы мы смотрели одними глазами. Только пятнадцать лет мы с ней прожили вместе, первые пятнадцать лет моей жизни. Потом лишь друг друга навещали — но и тут мы скорее друг с другом воевали, в лучшем случае соблюдали нейтралитет, но никогда между нами не было согласия. Наши вкусы ни в чем не совпадали: нам нравились разные люди и разные вещи.

Взять хотя бы вино. Я предпочитала сухие добротные вина. Она же всегда покупала какую-нибудь дешевую гадость с отвинчивающейся крышкой, — даже если знала, что я собираюсь приехать, — якобы ей не хватало сил вытащить пробку. Я ей подарила, по меньшей мере, пять штопоров, один лучше другого — раскупорить бутылку с их помощью было проще простого. Тем не менее все они лежали в ящичке на кухне, а рядом, как и прежде, стояла бутылка какого-нибудь десертного вина, которое к тому же никогда не охлаждалось. Но я бы пила и его, разбавив холодной минеральной водой (хотя у мамы была только без газа — “другую я не пью”), если б

только при этом не приходилось без конца выслушивать, что́ она обо мне думает: как я одеваюсь, что́ пишу в газете, как не ценю свое здоровью и сорю деньгами. Разговор неизбежно скатывался к этим ее излюбленным темам, и так мы проводили весь вечер. Если же доходило до того, что она начинала меня сравнивать с отцом ("Ты все больше становишься похожа на отца!"), я понимала, что дело приняло опасный оборот, и спешила ретироваться.

Отца уже около тридцати лет не было в живых, но мать по-прежнему охватывал гнев при одной мысли о нем, и она этот гнев вымещала на мне. Выходило, что раз я "так на него похожа", то мы оба каким-то образом повинны в том, что ее жизнь пошла не так, как могла бы.

"Если будешь продолжать в том же духе, до старости не доживешь, как твой отец", — развивала она тему моего сходства с отцом. "Продолжать в том же духе" означало и дальше курить, пить белое вино вместо травяных чаев, не заниматься спортом (сама она в восемьдесят едва ли не каждый день ходила в бассейн), да еще крутить романы, тем самым разрушая свой брак. О моих романах она знала, потому что, к моему большому сожалению, кузина Маргарет, с которой я не разговаривала уже больше двадцати лет, жила со мной в одном городе; услышав обо мне что-нибудь интересное, она немедленно звонила моей матери: "Тетя Нелли, вы уже слышали, что тут наша Нина учудила?"

— Ты никогда не угомонишься, — вздыхала мама. — Твой отец был таким же.

— Любовь так изменчива, — бросала я как бы мимоходом.

Но мать только качала головой:

— У каждого человека в жизни только одна настоящая любовь. По крайней мере, так было со мной.

Ни за что бы не поверила, что этой ее настоящей любовью был мой отец — они друг друга терпеть не могли. Когда отец умер, мама расцвела и уже больше не подпускала к себе мужчин. Значит, что-то у нее было до замужества, но с кем? И главное: когда? Ведь в двадцать она уже выскочила замуж. К моменту моего рождения родители пятнадцать лет были женаты. Меня зачали, когда отец приехал с фронта на побывку, я была нежеланным, случайным ребенком и родилась в последние годы войны. Мама частенько говорила: "В то время никто не хотел детей, война всегда лежала между нами в постели". Но что же у нее было до замужества? Что это за безумная история любви? Всерьез она об этом никогда не говорила — так, намекнула пару раз. Она вообще не любила рассказывать о прошлом, и я почти ничего не знала о родственниках со стороны обоих ро-

дителей. С теми, кто был жив, мы давно перессорились, да и об умерших никто не вспоминал.

Когда я подступала к маме с расспросами, она нехотя отвечала: “В моей семье были сплошные трагедии, а в его семье — полная неразбериха”. И на этом тема казалась исчерпанной. Напоследок она добавляла: “Ты бы лучше пеклась о своей собственной семье”.

Я прекрасно знала, что она скажет дальше, и, чтобы завершить этот разговор, сбега́ла в ванную. Там я долго рассматривала свое отражение, пытаясь найти сходство между ней и собой. У меня были ее руки, ее морщинки на лбу, придававшие лицу скептическое выражение, но более ничего, по крайней мере, так я надеялась. Затем я открывала дверцы шкафчика в ванной и обнаруживала то, чего и ожидала: вся дорогая косметика, которую я ей дарила, — великолепные кремы, масло для кожи, душистое мыло, — все это лежало нераспакованным. Мама по-прежнему пользовалась только кремом и мылом “Нивея”. По ее словам, этого ей было достаточно. “Нужно только питать и увлажнять, — говорила мама, — остальное — ерунда”. Именно по этой категории проходили все мои подарки: домашние туфли, теплые вязаные кофты, складные хозяйственные сумки... — все это исчезало в каких-нибудь ящичках — я ничем ей не могла угодить. “Спасибо, но совсем не обязательно было так тратиться, — говорила она, когда я спрашивала по телефону, получила ли она к Рождеству мою посылку. — У меня и так всё есть, а вот если б ты, наконец-то, стала счастливей или хоть чуточку терпеливей, вот это мне был бы подарок”. Впрочем, должна признать, что от маминых подарков я тоже была не в восторге — белое белье из ангоры невообразимых размеров, коробочка конфет со шнапсом, с которой она забывала снять ценник, ортопедические сандалии из “Реформхауса”. Мы с ней обе не умели получать и делать подарки, по крайней мере, друг другу.

Немного успокоившись, я возвращалась из ванной в гостиную, но, как правило, не надолго. А она, как и большинство стариков, которые слишком много времени проводят одни и им не с кем поговорить, на одном дыхании выпаливала мне последние новости:

— На днях, когда была хорошая погода, я снова встретила того мужчину с патлами, одному богу известно, почему он их не стрижет, так вот, он мне сказал: вы только посмотрите, какие у нас тут красивые зеленые луга, а люди, идиоты, уезжают так надолго, не могу понять, зачем им это, и знаете, что я вам скажу, мои знакомые — два с половиной и ничего! Ничего! Я сначала не поняла, что он имеет в виду, а потом оказа-

лось, что его знакомые уехали в горы, и там, на высоте двух с половиной тысяч метров не было снега! Все-таки этот человек очень странный. И жена его давно умерла, вот мне интересно, как он живет, неужели каждый день себе что-то готовит? По виду не скажешь, что он хорошо питается, но какое мне дело? И знаешь, кого я потом встретила? Женщину с пуделями, которые похожи на овечек, я ее спросила, куда подевался Бреннер в инвалидной коляске, мол, что-то его давно не видно, а она мне: неужели вы не знаете, что он умер? А я: да что вы, его жена, наверно, теперь радуется, она его так проклинала, когда застала с племянницей, с тех пор все у них пошло наперекосяк. Ума не приложу, почему мужики не могут пропустить ни одной юбки, впрочем, ты тоже никак не угомонишься. Представь, раньше-то он все ездил верхом, а потом — раз, и его удар хватил, да, вот как оно бывает, а та женщина с пуделями мне сказала, что ее собаки сейчас очень линяют, потому что погода переменилась, но какое мне дело до ее пуделей? И что она в них нашла? Ты неважно выглядишь. По тебе сразу видно, когда ты не выспалась.

Тут она наконец-то сделала паузу.

— Да, пожалуй, я пойду спать, — проговорила я и с облегчением вернулась в гостиницу.

Никогда мы не говорили о наших с ней отношениях.

Прощаясь, мы целовали воздух и даже не прикасались друг к другу. Не могу припомнить, чтобы мама хоть раз меня обняла, погладила, утешила, даже просто дотронулась. Когда я была маленькой, она частенько давала мне оплеухи. Это был единственный телесный контакт между нами, другого я не помню.

Когда я возвращалась в гостиницу, Бюргер встречал меня такими словами:

— Ах, фрау Розенбаум, я совсем недавно встретил вашу маму в “Альди”. Должен вам сказать, я просто восхищаюсь, сколько же в ней энергии! И всегда такая ухоженная, и такая осанка! У вас это от нее. И знаете что? Вы постепенно превращаетесь в ее полную копию.

Последние его слова окончательно выбивали меня из колеи, мне срочно требовалось принять горячую ванну и выпить чего-нибудь покрепче.

Когда маме исполнилось восемьдесят, она пригласила гостей — сплошь пожилых женщин. В их компании мне приходилось порой играть роль образцовой дочери, дескать, я работаю в газете, а мой муж — состоятельный стоматолог. Мама любила при всех ронять фразы вроде: “Моя дочь очень хорошо обеспечена”. Или: “Недавно Нина подготовила це-

лую полосу о Гринписе". А в этот раз она сказала: "Завтра Нина уезжает в Италию, в командировку от газеты". На пожилых дам эти слова произвели впечатление.

Я действительно собиралась в Милан, но не для того, чтобы работать. Я хотела опять встретиться с Флорой. Несколько недель назад мы с ней познакомились в Нью-Йорке и влюбились друг в друга без памяти. И теперь нам хотелось проверить наши чувства — осталось ли что-то от того пламени, которое разгорелось между нами? Мы ощутили его сразу, как только увиделись на вечеринке, куда я пришла вместе с Людвигом. Мы стояли рядом, смотрели друг другу в глаза и не могли наговориться, мы были ошеломлены тем, что́ с нами происходит, и чувствовали себя абсолютно счастливыми. Ей было сорок, она жила одна и то и дело заводила себе любовников — женатых мужчин. Однажды у нее уже был короткий роман с женщиной, у меня же — никогда. Мне такое и в голову не приходило, хотя порой я с некоторой завистью наблюдала за женщинами, в чьих объятиях было столько любви. Они обнимались не так, как простые подруги, я же на протяжении многих лет ощущала смутную тоску по женщине, которая бы меня полюбила. Едва я увидела Флору, ее овальное лицо, ее темные глаза, как совершенно потеряла голову, я ощутила то, что раньше испытывала только к мужчинам, и она мне ответила взаимностью. Людвиг улетел обратно в Германию, я же осталась — тогда-то я и пережила захватывающую, наполненную нежностью, самую чудесную неделю в своей жизни. Я и представить себе не могла, какое это несказанное счастье, когда тебя обнимает женщина. И я посмотрела на мать и подумала: "Ты всегда меня только отталкивала. Может быть, теперь мне удастся кое-что наверстать".

— Почему ты так на меня смотришь? — спросила она.

— Просто так, — сказала я, а про себя подумала: "Если бы ты знала! Но ты ничего не знаешь, и никто не знает, только Людвиг о чем-то догадывается, но ему, в общем-то, наплевать".

И у меня, и у Людвига была своя жизнь. Несколько раз в неделю мы с ним встречались у него или у меня дома, вместе сидели за столом, мы хорошо друг друга понимали, отношения у нас по-прежнему были дружескими, но за последние годы наша страсть утихла, а с ней ушла и любовь. Двое наших сыновей выросли и жили отдельно, не могу сказать, что мне их недоставало. Оба превратились в привлекательных, уверенных в себе молодых мужчин в стильных костюмах, с модными стрижками, оба уже успели разбить не один десяток женских сердец и нуждались в родителях не более, чем мы в них. С сы-

новьями мы перезванивались, иногда друг друга навещали, но и только, и я спрашивала себя — где же я была все эти сорок четыре года? Чем все это время занималась? Мне нравилось наконец-то жить в отдельной квартире. Порой я думала о том, что осталась одна, ощущала свою неприкаянность, но никогда не страдала от одиночества. Я знала: это не конец, в моей жизни еще что-то случится. Я была к этому готова и ждала. Как только Флора вошла в комнату, где была вечеринка, я почувствовала исходящий от нее импульс, словно между нами натянулась струна, и эта струна начала вибрировать.

Теперь я собиралась в Милан. Через два дня с нью-йоркского семинара туда должна была вернуться и Флора. Она была орнитологом, работала в миланском институте. И ведь как назло в той самой стране, где Флора жила и работала, нередки были случаи, когда озверевшие низкорослые мачо отлавливали птиц сетями, чтобы свернуть им шею и сожрать. Я собиралась ее расспросить, как она может с этим мириться. В Нью-Йорке мне было не до вопросов: все, что нас там занимало, — это наша любовь. И мы не уставали удивляться тому, что с нами происходит.

Когда все гости ушли, я осталась, чтобы помочь маме с уборкой. Она не без удовольствия принялась расписывать недуги своих товарок: мол, фрау Фишер, хоть и моложе ее на восемь лет, а выглядит, по меньшей мере, лет на десять старше, фрау Херцог совсем одряхлела, а фрау Киндерман почти оглохла, с ней теперь невозможно говорить. Я со всем соглашалась, да и какой смысл было спорить — по сравнению с ними мама действительно была все равно что королева-мать в Англии: элегантна, энергична, в общем, лучше всех. Я отнесла на кухню блюдечки для пирога и бокалы для шампанского.

Мама сказала, что сама все помоет. Я не возражала, потому что терпеть не могла ее дурно пахнувшие губки. И я бы наверняка что-то сделала не так: взяла слишком много мыла, истратила слишком много воды, да мало ли что еще...

Она завернула липкие остатки лимонного рулета:

— Вот, возьми. Съешь, когда захочешь.

— Но я не ем рулет! — попыталась отказаться я. — Он для меня слишком жирный. Я растолстею.

— Пожалуй, — согласилась мама. — Не хочу тебя обидеть, но ты и правда поправилась. Сколько ты сейчас весишь? Семьдесят?

— Шестьдесят восемь.

Мама вздохнула:

— В твоем возрасте лишний вес уже не сбросишь. Это гормональное.

И добавила:

– Ну, шестьдесят восемь – еще куда ни шло...

Это был самый большой комплимент, который она могла сделать. Повторяла эти слова всякий раз, когда помимо пятерок я получала в школе четверку по немецкому или латыни. И когда в пятнадцать я прихорашивалась, собираясь на танцы или вечеринку, и спрашивала, как я выгляжу, она обводила меня критическим взглядом и выдавала свое неизменное: “Ну, еще куда ни шло”. Хвалить, выражать одобрение – все это было не по ней, она просто не могла из себя этого выдавить, словно, похвалив, она бы тем самым умалила себя, потеряла авторитет. Когда мама уже была при смерти и, еле дыша, лежала с широко раскрытыми глазами, словно видела впереди свою цель, я села подле нее и сказала:

– Мама, ты до сих пор прекрасно выглядишь, у тебя совсем нет морщин.

Я вдруг поняла, что до сих пор тоже ни разу ее не хвалила, не сказала ни единого ласкового слова. Решилась на это лишь тогда, когда она уже не могла мне ответить, и мне так захотелось поменяться с ней местами – чтобы я лежала неподвижно, а она меня хвалила, говорила мне о любви, чтобы я хоть раз ощутила ее близость, один-единственный раз...

Она засунула остатки лимонного рулета в пластиковую коробку и с сияющим видом протянула ее мне:

– На, в детстве ты его очень любила.

Мне захотелось возразить, что я уже не ребенок, но это было бессмысленно – она всегда видела во мне лишь неудавшееся, нежеланное и какое-то недоделанное существо, ей казалось, что кусок лимонного рулета еще мог что-то исправить.

Помимо рулета она протянула мне мой подарок – синюю кашемировую шаль.

– Возьми, дочка, – сказала она. – Я знаю, ты хотела, как лучше, но синий я уже не ношу, и потом у меня целая полка платков – куда мне их девать?

В этом не было ничего нового, и все же что-то было иначе, не так, как всегда. Наконец, когда я уже стояла на лестничной клетке и собиралась уйти, совершенно неожиданно она произнесла:

– Милан! Я ведь никогда не была в Милане!

И не только в Милане – мама вообще мало где была в своей жизни. Как-то раз она поехала с туристической группой на автобусе во Францию, а потом никак не могла успокоиться, оттого что даже маленькие дети там так хорошо говорят по-французски.

— Но мама, — заметила я, — они же французы и родились во Франции, ведь это их родной язык.

— И все же, — не унималась она, — такие маленькие, а уже так болтают, невероятно.

Когда я рассказывала об этом друзьям, они очень смеялись. Но мне было не до смеха, потому что стена, которая, сколько я себя помнила, нас с ней разделяла, была высокой, но крайне неустойчивой. Она угрожающе раскачивалась при каждом моем приезде, каждом нашем с ней разговоре, и грозила в любую минуту рухнуть, задавив одну из нас, стоило нам раскачать ее слишком сильно. Теперь-то я знаю, что мы над многим могли бы вместе посмеяться, но тогда, едва она открывала мне дверь, и мы обе понимали: все между нами по-прежнему, старые обиды никуда не делись. И разве могли мы смеяться?

Мне и в голову не приходило куда-нибудь с ней поехать, тем более сейчас, в Милан, где я собиралась встретиться с Флорой. Но она стояла передо мной, такая маленькая и энергичная, требовательно смотрела и уговаривала:

— Почему бы тебе не взять меня с собой? Италия! Вот это мне был бы подарок! Кто знает, может, я не доживу до следующего дня рождения.

Это была старая песня, нечто подобное она говорила уже лет двадцать: “это мое последнее Рождество”, “до следующего дня рождения мне не дожить”, “мои силы на исходе” или вот еще ее коронное, особенно если она подхватывала легкий насморк: “мне недолго осталось”. Разумеется, это был обыкновенный шантаж. Стоило ей выздороветь, или же праздник, до которого она грозилась не дожить, оказывался позади, как она оживала и тут же выяснялось, что она, конечно же, была совершенно права, что купила черную, а не коричневую норковую шубу, ведь черный куда лучше подойдет ей для моих похорон, ну а если она все-таки умрет первой, что ж, тогда я надену эту шубу на ее похороны.

Все же я попыталась вывернуться:

— Для тебя это будет слишком утомительно.

Я не могла даже представить себе, каково это путешествовать с ней на машине.

— Если ты выдерживаешь, значит, и я выдержу, — упрямо сказала она. — Ах, Милан! Наверное, там очень красиво...

— Как раз в Милане не так уж и красиво, — заметила я.

— Тогда зачем ты туда едешь? Опять какой-нибудь любовник?

Я промолчала, по моему лицу мама поняла, что расспрашивать меня бесполезно.

— Молчу, молчу, — сказала она. — Если уж ты так хочешь это скрывать. Каждый волен себя гробить, как ему вздумается.

Я не удержалась:

— Или наоборот быть счастливым.

— Ах, если бы, — хмыкнула она.

— Я там встречаюсь с коллегой, женщиной, — сказала я наконец.

— И что за дела у тебя могут быть с итальянкой? — спросила она недоверчиво.

— Послушай, — сказала я. — Не все ли равно, зачем я туда еду? Поездка будет длинной и утомительной, в Италии жарко, к тому же я там пробуду две-три недели, а ты что будешь делать? Как ты сама вернешься?

— Господи, как будто нет самолетов! Пробуду несколько дней и улечу, а тут меня встретит Клаус.

За всю свою жизнь мама летала только однажды — в Берлин, на похороны своей сестры Люции, а теперь она рассуждала так, будто всю жизнь только и делала, что летала, и это для нее плевое дело. Клаус приходился ей дальним родственником, жил неподалеку и иногда проявлял заботу о ней.

— Ну, мне пора, — сказала я. — Уже поздно, я хочу спать. Спокойной ночи. Завтра утром я еще раз зайду, если ты не возражаешь.

— Ладно, — согласилась она. — Не забудь лимонный рулет и шаль. Конечно, на ощупь она очень приятная, но я такое не ношу.

Я взяла шаль и ушла. В гостинице Бюргер спросил меня первым делом:

— Ну что, вашей маме понравился подарок?

— Не то слово, — ответила я, поглубже запихивая шаль в пакет и одновременно размазывая ею остатки рулета. Эту шаль я купила накануне и показала ее Бюргеру, когда он спросил, какой я собираюсь сделать маме подарок. О мамином восьмидесятилетии сообщалось в газете, и бургомистр послал ей поздравление.

— А, это тот самый идиот из ХДС, — отозвалась о нем мама, читая поздравление. Она в клочья разодрала открытку и спустила в унитаз, то же самое она некогда проделала с моими первыми стихами и со своим обручальным кольцом, когда умер отец.

В ту ночь я плохо спала. Мне снилось, как мы с мамой вместе едем в Италию, снилась Флора.

На следующее утро я заехала к маме. Она меня встретила в ослепительно синем платье (“синий я уже не ношу”), которое я на ней ни разу не видела. Она вся сияла, на руке у нее

красовался золотой браслет, подаренный ей на 70-летие кузиной Маргарет и ее мужем. В прихожей стояла небольшая дорожная сумка.

— Я готова, — сказала она. — Даже не представляешь, как я рада.

Я совершенно опешила и не знала, что бы ей ответить. Наконец, сказала:

— Но нам придется провести в машине много часов, а потом...

— Ну и что, — нетерпеливо перебила она. — Люблю ездить на машине. Единственное, что умел твой отец, так это водить машину. По воскресеньям мы с ним частенько ездили на Драхенфельс и съедали там по порции куриного бульона. А кстати, в Милане можно найти что-нибудь без чеснока? Я не ем чеснок ни в каком виде.

Признаюсь, этого я никак не ждала. У нее по-прежнему получалось меня удивить, даже и не помню, когда я в последний раз видела ее в таком превосходном настроении, и у меня не хватило духу ей отказать. В первые пару дней я собиралась поселиться в гостинице, погулять по городу, немного успокоиться, освоиться в Италии, а уже потом на пару дней, на неделю, а то и на две перебраться к Флоре. К этому времени мама уж точно уедет... Так что вроде бы все складывалось, и я подумала — кто знает, может быть, в машине нам в кои-то веки удастся обсудить то, что так давно меня мучило. Машина хороша тем, что из нее нельзя выйти, нельзя, разобидевшись, хлопнуть дверью, и еще можно не смотреть на собеседника, тем более, что я буду за рулем.

— Ладно, — согласилась я. — Тогда пошли.

Я взяла ее сумку, а она стала шумно опускать жалюзи в квартире.

— Паспорт взяла? — спросила я.

— Разумеется. Думаешь, я совсем выжила из ума?

И неожиданно она весело запела:

Ты знаешь ли край, где лимонные рощи цветут...
Туда бы! туда
С тобою, мой милый, ушла навсегда![1]

Когда я была маленькой, мы с мамой много пели. Она знала наизусть массу стихов и читала их при каждом удобном случае.

1. Отрывки песни Миньоны из романа И. В. Гёте "Годы учений Вильгельма Мейстера". Перевод М. И. Михайлова. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Я запомнила это как очень счастливое время, хоть мне никогда не позволялось залезать к матери на колени, приходить к ней в постель, я даже не смела брать ее за руку. Казалось, по какой-то странной причине она навсегда запретила себе любые проявления нежности. У моего отца были две любовницы: молодая кичливая блондинка и приветливая продавщица его возраста, он регулярно бывал у них и частенько оставался на ночь. В таких случаях он говорил что-то вроде: "Я сегодня у Вальтера" или "Не жди меня, я переночую у Отто". А мама отвечала: "Скажи Вальтеру, чтоб он так не душился — от тебя за версту разит, когда ты от него возвращаешься" или "Не забудь прихватить для Отто шелковое белье из своего шкафа". Тогда я не понимала, что это значит, и только посмеивалась — у моего отца было пятеро братьев, все большие оригиналы, поэтому я с легкостью могла себе представить их в любой роли. Дядя Отто работал бухгалтером, он был единственным из братьев, кому приходилось носить галстук и костюм, и за это они прозвали его Франтом. Дядя Вальтер чересчур много пил, у него было прозвище Пивная Душа. Дядя Герман изготавливал жалюзи, его называли Гармошкой, дядя Фриц работал реквизитором в театре и звался Старьевщиком, набожным был только самый младший из братьев, дядя Тео, он частенько ходил в церковь и непрестанно что-нибудь жертвовал на благотворительность, само собой, его прозвали Иисусом. У моего отца было прозвище Весельчак, потому что он всегда был в отличном настроении, за исключением того времени, что проводил с нами дома. Зато иногда он брал меня с собой, это случалось на Рождество, день рождения бабушки или мой собственный день рождения — на всех этих праздниках присутствовали его братья с женами, они много пили и веселились. Мне больше всего по душе был Старьевщик. Нередко он приносил мне из театра маленькие шляпки с перьями, расшитые бисером перчатки или деревянные башмачки. "Это еще что такое?" — презрительно спрашивала мама, если я забывала хорошенько припрятать подарок, после чего он оказывался на помойке.

Уже в машине я ее спросила:

— Из папиных братьев еще кто-нибудь жив?

— Иисус, — сказала мама. — Я это знаю от тети Карлы, мы с ней иногда перезваниваемся.

У отца было еще две сестры — тетя Карла и тетя Паула. Тетю Карлу я видела в последний раз, когда мне было пятнадцать, на похоронах отца. Она горько рыдала, то и дело обнимала маму, и, к моему удивлению, мама охотно и с нежностью отвечала на эти объятия. Тогда тетя Карла была еще рослой, красивой женщиной, а теперь ей уже, должно быть, за восемь-

десят. Муж ее не вернулся с войны, и, когда наступил мир, вместе с тетей Паулой, бывшей замужем за полицейским, они открыли небольшую лавку, где торговали всем для рукоделия. Лавка просуществовала довольно долго. Время от времени мама вязала мне что-нибудь из шерсти, купленной у тети Карлы и тети Паулы. Вязать она любила, хоть и не очень умела. После смерти отца мы перестали с ними видеться. Мама переехала в маленький городишко на юге, меня же до окончания школы отправили в интернат, и я больше ни с кем из них не встречалась, за исключением тети Карлы, которая не то два, не то три раза меня навещала. В папиной семье было не принято вести переписку, так что постепенно всякое общение с ними прекратилось, тем не менее я частенько вспоминала о Старьевщике, Пивной Душе и о Франте.

— Как это так вышло, что у нас никого не осталось... — проговорила я. — Твоих сестер уже нет, кузина Маргарет не в счет, она та еще гадина. А ведь раньше у нас была большая семья — у папы семеро братьев и сестер и у тебя пятеро, и куда все подевалось?

— Испарилось, — сказала мама, надевая темные очки с изогнутой оправой. — Вальтер умер от рака, Отто — от инфаркта, Фриц попал под трамвай, у Германа было что-то со слепой кишкой, Паула спилась. Живы только мы с Карлой.

— Вы с ней общаетесь?

— Редко.

О маминых родственниках мне было известно капельку больше, и я лучше их знала. Почти все они умерли, кроме дяди Вилли, с которым мама не хотела знаться, потому что он был нацистом. Как будто кто-то из них не был. Но он и правда особенно отличился — к примеру, донес на своего отца, будто тот высказывался против режима, из-за чего деда отправили в лагерь. После возвращения дед очень болел и вскоре умер. Когда дядя Вилли приехал из Польши, кроме его жены Марии, с ним никто не стал разговаривать.

— В моей семье было четверо одноногих, — весело заявила мама. Это прозвучало так неожиданно, что я чуть было не проехала поворот на Базель.

— Это что-то генетическое? — спросила я. — Как-то связано с тем, что они были родственники? Тогда мне еще повезло.

— Дядя Генрих страдал диабетом, — начала мама. — Он довольно рано лишился ноги. У дяди Морица ногу тоже отрезали из-за рака костей. Дядя Мориц был намного богаче, чем дядя Генрих, он посылал брату свои дорогие костюмы, чтобы тот их донашивал. Но у него-то была ампутирована левая нога, а у Генриха правая, и Генрих ни за что не хотел носить

брюки, у которых на левой штанине оставался залом, оттого что Мориц ее закатывал. Из-за этого они часто ссорились.

— А еще двое?

— Дед. Он был сапожником да еще занимался крестьянским трудом, жил в Вестервальде. И вот однажды он из превосходной кожи сшил себе пару башмаков, но когда их надел, они оказались малы. И он впал в такую ярость, что топором отрубил себе пальцы на ноге. В результате ногу тоже пришлось ампутировать.

Ах вот, значит, в кого мама пошла! Теперь мне было ясно, откуда у нее эти приступы гнева. Со мной она была страшно нетерпелива, особенно когда у меня начался переходный возраст. Как-то раз она меня до крови избила кочергой, но потом отказывалась это признать. Я показала кровоподтеки священнику, у которого незадолго до этого прошла конфирмацию. Вскоре я уехала из дома в интернат. Пять лет мы с ней не виделись и не поддерживали никакой связи. Только тетя Карла посылала мне иногда посылочки с печеньем, конфетами да немного денег.

— Дядя Юпп тоже был одноногим, — сказала мама. — Потерял ногу при взрыве в России. А потом умер в лагере.

Мы немного помолчали, и тут я подумала: вот возьму и спрошу ее. Ведь столько лет прошло, так почему надо все время обходить эту тему, почему хоть раз в жизни не спросить ее прямо, вдруг она скажет: “Мне жаль, что так вышло”. И я задала ей этот вопрос:

— Почему ты меня тогда так зверски избила?

Она ответила моментально:

— Я тебя не избивала.

Я молча увеличила скорость, трасса была совершенно прямой и почти что пустой, залитой солнечным светом. Впереди виднелся мост.

— Значит так, — сказала я. — Если ты хоть раз, хоть один-единственный раз не признаешь, что тогда меня зверски избила, то я, черт возьми, врежусь в тот мост.

Она молчала, я вела машину, а мост вырастал перед нами. Я перестроилась в левый ряд, держа курс на центральную опору моста, и внезапно сделалась совершенно спокойной.

А хоть бы и так, думала я. Может быть, вся эта история с Флорой — очередная ошибка, и тогда уж покончить все разом. Я была на удивление спокойна, чувствовала даже нечто вроде облегчения, как будто для этого решения не требовалось особенной смелости, словно бы кто-то принял его за меня. Я лишь не сводила глаз с опоры моста, ждала грохота и думала о том, что моя жизнь, как это говорится, сейчас

оборвется, и надо же так случиться, что я умру вместе с матерью, нас с ней вместе похоронят, мы будем лежать рядом, без любви, и так на веки веков, аминь. Мне вспомнилось: "Восстань и страх природный утиши. / Я не скелет, как мыслят суеверы..."[1], и это мне доставило почти удовольствие. Мост приближался. Мать схватила меня за руку и закричала:

— Да, но что мне было делать? Я просто не могла с тобой справиться! Слишком рано ты начала крутить романы с мальчишками.

Я притормозила, взяла правее, и мы обе перевели дыхание.

— С тобой было трудно, — сказала она. — А я была так несчастна.

— И поэтому ты до крови высекла маленькую девочку?

— Ну, уж прямо до крови. И не такую маленькую, по крайней мере, достаточно взрослую для того, чтоб обжиматься по углам да целоваться. Как твой отец.

Я вспомнила те невинные детские поцелуи, которыми обменивалась с мальчиками после танцев, ведь мне так хотелось любви, которой не было дома. И за это она меня избила.

После долгой паузы мама глубоко вздохнула и тихо сказала:

— Знаешь, как я об этом тут же пожалела.

Я взяла ее за руку, и она не отдернула. Левой рукой я вела машину, а правой держала ее руку. Не помню, чтобы когда-нибудь мы вот так держались с ней за руки, чтоб она это допустила. В полной тишине мы ехали дальше. Вдруг она радостно проговорила:

— Это что, уже Швейцария?

— Да. Хочешь, поедем через деревни, не по трассе? Вдоль Фирвальдштетского озера? Это займет больше времени, но зато там очень красиво.

— О да, если можно. Мне всегда так хотелось побывать в местах Вильгельма Телля.

— А что, он и вправду существовал? — спросила я с улыбкой.

Мама возмутилась:

— И ты еще спрашиваешь?

— Кончай скорей расчеты с небом, фохт!
Твой час настал.
Ты должен умереть!

1. Из монолога Смерти в драме Гуго фон Гофмансталя "Глупец и Смерть". Перевод Е. Баевской.

Я прежде жил спокойно и беззлобно,
Одних зверей стрелою поражал...
Ты сам вложил мне в руки этот лук...
И в яд змеиный превратил во мне
ты молоко благочестивых мыслей...[1]

Здорово, правда? И ему все-таки пришлось стрелять в этого ребенка, и в конце он говорит:

...И тот обет священный,
который лютой порожден был мукой,
Исполню я... Мой лук тому порукой[2].

Или что-то в этом роде. Да уж, вот ведь как оно бывает.

— И как тебе удается помнить столько стихов, поэм, чуть ли не целых пьес? Я никогда не могла выучить ничего наизусть, а ты...

— Дело в тренировке. По ночам во время бомбежек мы только и делали, что читали при свечах и заучивали наизусть.

— Мы?

— Ну да, мы с Карлой. Ведь наши мужья ушли на войну.

— Но ты до сих пор все помнишь. Это просто поразительно.

— Когда много времени проводишь в одиночестве, начинаешь сама с собой говорить. Вот я и повторяю все что знаю.

Мы теперь ехали вдоль озера, мимо небольших деревень, и мама восторженно читала названия населенных пунктов на указателях. Когда вдали показалась сельская церквушка, она продекламировала:

Маленькой башенки шпиль
Над макушками елей высится,
Как горящий фитиль,
Бенедиктинской обители[3].

И я подумала — сколько же сил и энергии в ней таится! И почему мы с ней так и не научились общаться по-человечески? Мне всегда казалось, что она меня не любит, потому и я была по отношению к ней сдержанной, даже черствой. Возможно, я ей слишком напоминала отца. Когда отец вернулся с войны, он был ей уже не нужен — в то время так было со

1. Слова Вильгельма Телля из драмы Шиллера “Вильгельм Телль”. Перевод Н. Славятинского.
2. Там же.
3. Из поэмы Ф. В. Вебера “Тринадцать лип”.

многими женщинами, ставшими сильными и независимыми за годы войны. А тут вдруг из России к ним вернулись мужья, духовно и физически искалеченные, и заняли то место, которое им уже не принадлежало, но они-то были уверены, что по-прежнему всё лучше всех знают — и где вешать щиток, и как воспитывать детей, и что женщинам самое место на кухне. И у нас, детей, почти никогда не складывались отношения с этими чужими худющими мужчинами, нашими отцами, которые вернулись домой из лагерей. Я хорошо запомнила, как однажды, сильно повздорив с отцом, мать окинула его ледяным взглядом и сказала: “Нечего тут из себя разыгрывать, в конце концов, ты такой же убийца, как и остальные”.

Сказав это, она разрушила стену, которой он отгораживался от внешнего мира. Тогда-то он и начал пить и завел себе любовниц, с этого момента начался развал нашей семьи.

Я поставила Шуберта. И тут же меня вывел из задумчивости мамин голос:

О, музыка, о чудное творенье,
Ты каждому приносишь утешенье,
И тот всегда найдет к тебе дорогу,
Чье сердце знает боль и полнится тревогой[1].

Она посмотрела на меня и, улыбаясь, сказала:

— Как это прекрасно вот так вот ехать вместе с тобой.

Не могу припомнить, чтоб она когда-нибудь говорила мне нечто подобное.

Мы сделали остановку в Кюснахте, съели по куску вяленого мяса с ломтем свежего хлеба и выпили по бокалу вина. Она сидела рядом со мной за столиком, такая маленькая и энергичная, в своем синем платье, щеки у нее слегка зарумянились, и то и дело она пытливо на меня поглядывала.

— Ты счастлива? — вдруг спросила она.

— Ничуть, — ответила я, не задумываясь.

— Точно как твой отец, — заметила мама. — Он был на это просто не способен. В его семье все были несчастны. Кроме тети Карлы.

— Почему кроме нее? — спросила я.

— Карла была сильной. И твердо знала, чего хочет. Без нее я б не пережила эту войну. И ты тоже.

Мама отхлебнула вина и, глядя мне прямо в глаза, тихо сказала:

1. Отрывок из вокальной композиции Антона Брукнера “Утешительница-музыка”. Слова Августа Зойферта.

— Без нее тебя бы вообще не было.

Я сидела неподвижно, мне было ясно — вот сейчас я наконец-то могу узнать о ней нечто важное, что прольет свет на причины наших с ней ссор, по-видимому, она тоже почувствовала, что не может просто взять и оставить без пояснений эти слова, что ей необходимо объясниться. Она раскатывала хлебные шарики и, не глядя на меня, начала говорить:

— Я не хотела ребенка. В войну никто не хотел! Карле удалось спровоцировать у себя выкидыш, а я до пятого месяца все перепробовала: мыльные клизмы, прыжки со стола с кирпичом, Карла колола мне иголкой живот... но все без толку. Ты так и не вышла наружу, ты хотела жить.

У меня перехватило дыхание, сердце бешено колотилось, десятки образов проносились в голове, вопросы одолевали меня, к горлу подступали слезы, море слез — это плакала моя душа. Мною овладел страх, и одновременно я ощутила счастье. Это был страх жизни и счастье оттого, что я живу.

— Мы были уверены, что после всего этого ты будешь инвалидом, но ты оказалась вполне здорова. Карла помогла тебе появиться на свет. Дело было на кухне, за окном падали бомбы. Остальные попрятались в бомбоубежище. Только мы с Карлой остались на кухне. Зажечь можно было лишь свечи. Взрывной волной выбило оконное стекло, и в следующую секунду родилась ты. И, о боже, ты была совершенно здорова! Мы с Карлой обе разревелись, так мы были счастливы.

Впервые в жизни мне пришло в голову, чего ей это должно было стоить — родить в то время, от явно нелюбимого мужа, который не удосужился сделать ей ребенка за долгие пятнадцать лет брака, а случилось это, как назло, во время войны, когда он приехал домой на побывку.

Я чуть было не бросилась маме на шею, так остро я ощутила эту ее радость оттого, что я оказалась здоровым ребенком, мне хотелось объясниться ей в любви, но я медлила, и тут к нашему столику подошла официантка со счетом.

Мы снова сели в машину, и весь следующий отрезок пути я едва удерживалась, чтобы не рассказать ей о Флоре. Как же мне хотелось заговорить о том, что я люблю женщину, и возможно ли это после долгих лет брака, после рождения двух сыновей, после стольких романов?.. Разумеется, я ничего не сказала. Уж что-что, а эту тему обсуждать с мамой нельзя. Так я думала.

Мы ехали через Швейцарию, мама притихла. Время от времени она задремывала, но вскоре опять просыпалась, выпрямляла спину и, устремив взгляд в окно, говорила:

— Как чудесно, что я все это вижу.

И когда в Кьяссо мы свернули на Милан, она вдруг спросила:

— Ты вчера доела лимонный рулет?

— Нет, — сказала я честно.

Мама кивнула:

— Так я и думала.

Больше она ничего не сказала. Потом она заснула и проснулась, только когда мы кружили по Милану в поисках отеля.

Я забронировала два одноместных номера на две ночи.

— А где ты потом будешь жить? — спросила мама.

— У коллеги, — ответила я, помогая ей раскладывать вещи.

Вечером мы отправились в ресторан. Мне пришлось умолять официанта не добавлять ей чеснок. Мама моментально сделалась королевой заведения, ее называли “la mamma!”, а она гоняла всех с поручениями.

С независимым видом она делала заказ по-немецки:

— И, пожалуйста, мне не этот, как его, “экспрессо”, а самый настоящий кофе, но не слишком крепкий, и с молоком, но ни в коем случае не со сгущенкой!

Я перевела, а мама поразилась, что ее не поняли, хотя она так четко все выговаривала:

— Ну надо же, — сказала она. — Я ведь говорю: КОФЕ С МОЛОКОМ или НЕ СЛИШКОМ КРЕПКИЙ... Неужели это может быть кому-то не понятно?

Итальянцы ей показались вполне дружелюбными, хоть и несколько туповаты.

Вечер прошел на удивление мирно. Словно сам отъезд благотворно сказался на нашем с ней общении. Заметив, что мама устала, я отвезла ее в отель, а сама собиралась в одиночестве еще немного поболтаться по городу, выпить парочку стаканов вина в каком-нибудь баре и подумать о маме, о себе, о Флоре, о наших ожиданиях и планах и о том, какие фокусы с нами выкидывает жизнь. Можем ли мы сами на что-нибудь повлиять или происходит лишь то, чему суждено случиться? Я поймала себя на том, что думаю стихами, как это всегда делала она:

Неужто Господь без причины
Выбирает узор паутины,
И все наши мученья —
По прихоти его вдохновенья?
Не для того ль мы страдаем,
Чтобы украсить орнамент?[1]

1. Отрывок из трагедии Х. Х. Янна “Медея”.

Смотри-ка, подумала я, а все-таки не так уж мы с ней непохожи. И все же, есть ли во всем этом какой-нибудь смысл, тайный замысел, или то, что с нами происходит, — лишь слепая случайность, бессмысленный узор из ее черствости, моей нервозности, ее решения изгнать всякую любовь и нежность из своей жизни и моего страстного желания наверстать эту любовь.

Я выпила немного больше, чем следует, и на следующее утро проснулась оттого, что мама колотила мне в дверь.

— Я иду завтракать, — прокричала она. — Вставай. На улице чудесная погода. Подожду тебя внизу.

Когда я спустилась, мама уже вовсю болтала с официантом, хоть она ни слова не понимала по-итальянски, а он по-немецки. Но это не помешало ей возмущенно размахивать корзинкой с хлебом, — мало того, что белый, да еще слишком мягкий! — официант принес взамен черный, и мама была очень довольна. В любой ситуации она могла объясниться, как будто всю жизнь только и делала, что путешествовала. И сколько же в ней силы, которая не находила себе выхода в ее скучной старческой жизни.

Стоял теплый солнечный день, мы с ней гуляли по Милану — она в замшевых лодочках на каблуках, я в спортивных сандалиях на плоской подошве. Сейчас я понимаю, как я любила ее, как восхищалась ею за одни эти туфли, но осознать это я смогла лишь после ее смерти.

Мы прошлись по галерее на площади перед собором, прогулялись по виа Монтенаполеоне, где располагались бутики самых знаменитых домов моды: мраморные дворцы Валентино, Гуччи, Унгаро и Фенди с огромными витринами, в которых стояла какая-нибудь пара малиновых туфель за три тысячи марок или одна-единственная крошечная шелковая блузка канареечного цвета за восемь тысяч марок, в лирах же цена исчислялась миллионами. Мама не переставала изумляться, она тыкала пальцем в ценник, и, когда в витрине показывалась невообразимой красоты продавщица, которая окидывала нас ледяным взглядом, мама крутила у виска, всячески стараясь показать девушке в магазине, которая тотчас отворачивалась, что у нее не все дома.

— Миллионы за блузку! — возмущалась она. — Да они просто ненормальные!

В маленьком изящном магазине белья я купила маме чудесную шелковую ночную рубашку. Конечно, мне пришлось ее уговаривать, и все же она осталась довольна. Рубашку она померила, надев поверх платья, и принялась бегать так по магазину.

— Ух, как дорого, — наконец заключила она. — И ведь никто меня в ней не увидит, разве что когда я умру.

Когда мама умерла, на ней была больничная сорочка с большим вырезом сзади, и все же мы похоронили ее в этой итальянской шелковой рубашке, которую она так ни разу и не надела. Вернее не похоронили, а сожгли.

Вечером мы с ней сидели в маленьком тихом кафе и ели поленту с тончайшими ломтиками жареной телятины и вкуснейшим соусом.

— Сегодня плачу́ я, — сказала мама. Она заказала мне вина, а себе решила взять чего-нибудь покрепче. Вместе со старшим официантом она проследовала к стойке, потребовала показать ей все бутылки, какие у них были, и долго ругалась, оттого что в кафе не оказалось малинового ликера, наконец, остановила свой выбор на кальвадосе.

— Что ж, выпьем, — проговорила мама, когда перед ней поставили полный стакан. Она высоко подняла его и разом опрокинула в себя, как это было принято у шахтеров в Рурской области, где прошло ее детство. Я невольно улыбнулась — такой я ее еще не видела, она даже слегка опьянела.

— Расскажи что-нибудь о прошлом, — мягко попросила я.

Она и вправду начала говорить и первым делом произнесла такую идиотскую фразу, после которой мы обе долго смеялись.

— Тетя Люция, — сказала мама, — переехала после войны на Восток и пошла работать на фабрику спортивных напитков.

То, что она внезапно начала с тети Люции, показалось мне настолько смешным, что я долго не могла успокоиться. Мне вспомнились посылки, которые нам посылала тетя Люция, в них были отвратительные жирные плитки, смутно напоминавшие шоколад, взамен она просила выслать ей кофе.

— А зачем она вообще туда переехала? — спросила я.

— Верила в социализм. В моей семье в то время все были левыми, из рабочих, а вот твой отец, да и весь их выводок, сплошь были нацистами. Кичливые болваны, идущие об руку с властью, в своих хорошо сидящих униформах они вообразили себя королями.

Так откровенно она еще никогда не высказывалась.

— Но дома вы никогда не говорили о политике, — сказала я.

— Потому и не говорили, что иначе бы дошло до мордобоя. Кроме сестер отца у них там все были нацистами. Тетя Паула для этого была слишком глупа, а тетя Карла, наоборот, слишком умна. А в нашей семье один только дядя Вилли отличился, тоже был набитым дураком.

Дядя Вилли еще здравствовал. Он почти не выходил из дому, а если и выходил, то всегда надевал шляпу и очки — его мучил страх, что кто-нибудь его узнает на улице, например, тот еврей, которому, по семейным рассказам, он в Польше отрезал палец, чтобы добраться до кольца с бриллиантом, которое тетя Мария носила по сей день.

— Вы из-за этого с папой все время ругались? — спросила я.

— Я его просто терпеть не могла, — сказала мама. — Мне делалось дурно, едва он ко мне прикасался.

Она допила остатки кальвадоса и добавила:

— А во время войны я была так счастлива. Мы были очень счастливы. Без мужчин.

Подошел официант и предложил заказать что-нибудь за счет заведения, например, кофе или амаретто. Заплатить маме не удалось — разумеется, официант отказался брать у нее немецкие деньги, хоть она упорно совала ему под нос сотню марок.

— Но они настоящие! — горячилась мама. — Это самые настоящие немецкие деньги! Мы же в Европе!

Я заплатила, а официант пытался маму утешить, пока нес ей до двери пакет с шелковой рубашкой. Похоже, итальянцы были от своей "la mamma" без ума, что бы она ни делала.

В отеле меня ждала записка от Флоры. Мы с ней уже успели несколько раз созвониться, и, конечно, она была в курсе, что со мной приехала мама. Я ей написала, что мама уедет в четверг, в шесть часов вечера. И мы договорились, что Флора придет ко мне в пятницу утром. Но теперь она писала: "Приходи в четверг, в три часа дня. Хочу познакомиться с твоей мамой. Ф.".

Это совсем не входило в мои планы. Флора должна была быть только моей, тем более мне не хотелось знакомить ее с мамой, которую я старалась держать в отдалении от своей жизни. Конечно, мы ей ничего не расскажем о нашей любви, и все-таки предстоящая встреча казалась мне вторжением в мою личную жизнь. Мне в ней чудилась какая-то опасность. Я помнила, как мама обходилась с моими ухажерами, когда я еще жила дома, как она спросила Рюдигера, в которого я была влюблена, когда он заехал за мной перед танцами:

— Почему, скажи на милость, именно наша Нина? Что, нет более симпатичных девчонок?

Всю ночь я не могла спать, а на следующий день была раздраженной, и мы с мамой опять стали ссориться и подзуживать друг друга. Время тянулось медленно, и в двенадцать часов дня она уже начала приставать ко мне с вопросом, не

нужно ли нам ехать в аэропорт. Как и все старики, она всегда приезжала заранее и потом ждала часами. Я ответила, что нам еще надо будет встретиться с моей коллегой, которая вернулась из Америки. У нас будет время выпить по чашечке кофе, а потом мы вместе посадим ее на самолет. Маме эта идея понравилась, она только спросила:

— А твоя коллега говорит по-немецки?

— Да, она родом из Брунико, это в Южном Тироле. Там все двуязычные.

Я узнала Флору еще издали. Она выделялась среди окружающих и вся сияла, глаза у нее лучились от радости.

— Вот она, — тут же заметила мама, которая рядом со мной казалась особенно маленькой и активной.

— Откуда ты знаешь? — удивилась я. — Вы же не знакомы.

— Сразу видно. Она вся сияет. Из-за тебя.

Я была слишком взволнованна, чтобы обдумывать эти слова. Они пришли мне на память значительно позже, и только тогда мне стало ясно — с первого взгляда мама поняла, что́ нас связывает с Флорой. И не просто поняла — ей это было приятно.

Не говоря ни слова, мы с Флорой крепко обнялись, а потом глазами дали друг другу понять, что между нами все по-старому. Затем Флора в обе щеки расцеловала мою маленькую бойкую маму.

— Моя мама тоже была маленькой, — заметила Флора.

— Была? — переспросила мама.

— Да, она умерла.

На что мама тут же заметила:

— Я тоже долго не протяну.

Флора рассмеялась:

— Ну, по вам этого не скажешь.

Она взяла под руку меня и маму и повела в кафе в здании аэропорта.

Почти два часа мы провели вместе. Флора рассказывала о Нью-Йорке, мама восторгалась Миланом, я же больше молчала — я смотрела на Флору и думала: “Как она прекрасна! Неужели она меня правда любит? О да, это была правда, я чувствовала это по ее взгляду, по тому, как быстро, словно невзначай, она дотрагивалась под столом до моей руки или ноги, и в первую же ночь после нашего расставания я смогла в этом убедиться.

Но это было потом, а пока мы втроем сидели в кафе, я в нетерпении, словно на иголках, Флора — совершенно раскованная, мама — в крайнем возбуждении. Когда наконец-то мы довели маму до того места, где начиналась посадка, она слег-

ка толкнула нас обеих и многозначительно произнесла: “Ну, берегите себя! Вы обе!”.

— А твоя мама совсем не глупа, — сказала Флора, как только она от нас отошла. — Сразу заметила, что между нами что-то есть.

— Да ей это и во сне не приснится, — усмехнулась я. — Для таких вещей она слишком зажата, как и все ее поколение.

Как только мама подошла к паспортному контролю, мы с Флорой поспешно поцеловались. Не уверена, что мама этого не увидела, потому что внезапно она обернулась и прокричала:

— Нина, спасибо!

Она умерла через два года от инсульта. О Флоре мы с ней еще не раз говорили — она то и дело расспрашивала меня о ней, но я всякий раз переводила разговор на другую тему. Можно было только надеяться, что кузина Маргарет ничего не пронюхала и не знала, что Флора фактически живет у меня. Несмотря на то что с Флорой мы были по-настоящему счастливы, у меня так и не хватило мужества рассказать о ней матери. После поездки в Милан мы стали лучше с ней ладить, конечно, мы по-прежнему обменивались колкостями, не без этого, и все-таки мы явно с ней сблизились. Не то чтобы кидались друг к другу на шею или полностью друг другу доверяли, а все-таки больше не было того презрительно-холодного тона, который в любой момент мог привести к взрыву.

Однажды, когда мама, парализованная, лежала в больнице и была почти без сознания, я взяла к ней Флору. Флора сделала то, чего я не могла: постригла ей ногти на руках и ногах, расчесала волосы, а затем склонилась над ней и поцеловала. Я же только сидела подле мамы и плакала от того, сколько мы с ней упустили, да держала ее вялую обмякшую руку. Флора села рядом, обняла меня, и в эту минуту мама открыла свои голубые глаза и посмотрела на нас так, словно понимала, что теперь я наконец-то спокойна и счастлива, она взяла Флорину руку и положила ее на мою. Была ли это случайность? Или она это сделала осознанно? Через несколько дней она умерла, и мы надели на нее ту чудесную миланскую ночную рубашку.

Спустя пару месяцев я разбирала вещи у нее в доме. Мебель я собиралась раздаривать, себе же решила оставить лишь какие-то мелочи. Я рылась в картонной коробке, где мама хранила старые фотографии. Флора была рядом. Вот мой папа в мундире со свастикой, вот мои одноногие дядья, вот я на руках у тети Паулы, вот мама в начале 40-х, молодая привлекательная женщина. На дне коробки я наткнулась на бе-

лый конверт, на котором было написано: “Только для Нины”. Конверт был так обстоятельно заклеен скотчем, что нам пришлось разрезать его ножницами. Мне было не по себе, я боялась того, что в нем увижу. Я чувствовала: вот-вот раскроется самая большая и единственная мамина тайна.

В конверте оказались четыре маленькие черно-белые фотографии с волнистыми краями. На всех были мама и тетя Карла. Мама в цветистом платье, которое я нашла среди ее вещей, завернутым в папиросную бумагу. Я никогда ее в нем не видела, платье было слегка заношенным и полинявшим, но по-прежнему настолько красивым, что у меня не хватило духу отнести его в утиль, как остальные ее вещи. Я его оставила и вот теперь неожиданно узнала на этих фотографиях. На двух из четырех фотографий мама курила — я никогда ее не видела курящей. А рядом, обнимая маму одной рукой, а в другой держа сигарету, стояла тетя Карла, в мужском костюме, с галстуком, повязанным под пышным воротником мужской сорочки. Вокруг бушевала война, а они стояли в обнимку, хохоча прямо в камеру, и выглядели необычайно счастливыми, фотографию могла сделать только тетя Паула. На заднем плане стояла детская кроватка, вполне возможно, что в ней лежала я и спала. Скорее всего, это было снято в квартире, где тетя Карла и мама жили во время войны. Стену украшала картина с цветами, которая позднее висела у нас дома, а на радиоприемнике можно было разглядеть фигурки слонов из черного дерева, с бивнями из слоновой кости, которые по сей день стоят у меня на столе.

Третья фотография изображала маму сидящей в кресле, она была в нем такой крошечной, что казалась маленькой девочкой. На спинке кресла сидела тетя Карла, положив одну руку на мамино плечо, обе смотрели друг на друга. На четвертой фотографии тетя Карла и мама слились в горячем поцелуе, глаза у обеих были прикрыты.

Я перевернула снимки. На оборотной стороне каждой из фотографий изящным маминым почерком, поблекшими сепиевыми чернилами была выведена одна и та же фраза: “1940–1945, с Карлой. Мои лучшие годы”.

Грегор Зандер

Зимняя рыба

Перевод Анатолия Егоршева

УТРО, половина пятого, это уже не сумерки и даже не рассвет, но все-таки еще и не день. Я хорошо поспал на заднем сиденье машины, и как-то не верится, что стою именно здесь. На Канальштрассе в Киле-Хольтенау. В мобильном телефоне прозвенел будильник. Еще полусонный, я надел ботинки и ступил в это утро. Я тут один, кругом ни души. Дома еще темные. Передо мной, у причальных мостков, несколько парусных яхт, а вдали за ними, если бросить взгляд за канал, поблескивает фьорд, и в городе еще с ночи горят фонари. Листья кленов надо мной тоже приглушают ранний свет, но я уверен, что день будет погожим, по-летнему жарким. Таким, как вчера, когда над полями дрожало марево, истомленные сушью стебли были желтыми, как мед, а я удивлялся тому, что автострада до Киля не доходит и что последние километры придется проехать по обыкновенному шоссе. Обогнув центр города, я переехал по мосту на другую сторону, через синевший далеко внизу Кильский канал, и переезд этот чем-то напомнил мне Америку и реку Гудзон, только здесь водный путь проложен был человеком.

Erzälungen Wallstein Verlag © Göttingen, 2011
© Анатолий Егоршев. Перевод, 2016

По Каналыштрассе медленно движется автомобиль. “БМВ-универсал” бордового цвета. На человеке, который выходит из него, синий комбинезон. Незнакомец направляется ко мне, а я меж тем думаю, что рыбаки вряд ли ездят на “БМВ”.

— Вы сын моего подручного?

— Вашего подручного?

— Ну да, Вальтера.

Я подаю ему руку и говорю:

— В общем-то, я сам по себе, то есть не сын Вальтера.

— Тогда кто же вы? — спрашивает рыбак и смеется. У него вполне бодрый вид, лицо гладкое, на голове щетка седых волос. Черты тонкие, он не похож на человека, который ходит в море. Будто зная, о чем я думаю, и желая доказать обратное, он шарит в кармане и достает трубку, а также зеленый пластиковый пакетик с табаком. Набивает трубку, закуривает, но по-прежнему не похож на человека, который день за днем в одиночестве проводит в море. Мы оба ощущаем неловкость. Указывая на канал, где прямо перед шлюзом пришвартован рыболовный катер, спрашиваю:

— Ваше судно?

Выглядит оно точь-в-точь как рыболовный катер. Белое, со стальным леером, рубкой и деревянным штурвалом. Именно такое я и ожидал увидеть.

— Мое, но мы на нем не пойдем. На нем я выхожу в море. За сельдью, а то и за треской. Сегодня возьмем лодку. Она у меня в гавани.

Движением головы он показывает на остров посреди канала. Я согласно киваю, хотя мне и не ясно, где же мы все-таки будем рыбачить.

— Может, Вальтер проспал, — говорит рыбак. — С ним такое случается. В последнее время даже довольно часто. И он называет свое имя — Йозеф Нойер.

Мне бы сейчас чашку кофе и хоть раз в жизни спокойно посидеть, лучше всего у себя на кухне, а не стоять рядом с Йозефом Нойером.

Еще вчера Вальтер хотел, чтобы я переночевал у него.

— Когда-то я за тобой частенько присматривал, — сказал он.

Но после вечера, который впервые за последние почти двадцать лет мы с ним провели вместе, это было уже слишком. Сославшись на место в гостинице, я был рад тому, что, наконец, могу уйти.

— Не проспи, сынок, — крикнул он мне вслед.

Я оглянулся. Он стоял, прислонившись к дверному косяку, подвыпивший, разменявший девятый десяток. Странная для меня картина. Ведь образ его давно померк в моей памяти.

— Ну что ж, пойдем, Вальтер уже не раз бывал со мной и в море, и на канале, — говорит Йозеф Нойер, выбивая трубку о каблук резинового сапога.

На его машине мы проезжаем через ворота на острове, который здесь называют шлюзовым. Мой новый знакомый поднимает руку с пропуском.

— Это после 11 сентября, — говорит он, не глядя на меня, будто эти слова все объясняют, и рыбаки в Киле-Хольтенау должны обращаться за разрешением в ЦРУ, если им нужно пройти к своим катерам и лодкам. Ступив на узкий железный мостик, мы видим, что в воде между створами шлюза полно медуз. Они жмутся друг к дружке, как саго в холодном вишневом супе, который в жаркие летние дни готовила моя мать.

— Ветер дует с востока, — говорит Йозеф Нойер. — И гонит этих тварей в шлюзы и канал. В такую погоду какой улов? Толчея эта не прекращается уже с неделю. Все забито медузами, да и водорослями тоже.

На лужайке стоит красный дощатый вагончик, сквозь окошко на его тыльной стороне видны сложенные до потолка сети и буйки. Нойер отпирает висячий замок и протягивает мне оранжевые непромокаемые штаны и пару резиновых сапог.

— Должно подойти. Это моей жены, она была невысокого роста.

Почему он это сказал и разве его жене место в лодке? Ведь, по всем приметам, это к несчастью, думаю я, шагая вслед за Нойером к плоскодонке с подвесным мотором. Отчалив, мы оставляем шлюз позади нас, входим в канал и идем мимо складов, элеваторов и верфи. Впереди возвышается автомобильный мост. Слева, навстречу нам, похожие на мастодонтов, медленно движутся друг за другом четыре грузовых судна. Идут почти бесшумно. Слышен только стук нашего маленького мотора. Небосклон — цвета голубиного крыла, а силуэты прибрежных деревьев точно врезаны в желтовато-красную полосу света на горизонте.

— Смотри-ка, ты еще вкалываешь, — сказал Вальтер, позвонив мне пару дней назад в офис. В Гамбурге только начало смеркаться, и для меня не было ничего необычного в том, что я все еще сидел за столом и работал. Секретарша ушла, переключив телефон, как всегда, на меня. Дело, в котором я разбирался, было несложное, с ясной документацией. Тут зазвонил телефон, и я услышал голос Вальтера, который даже не поздоровался.

Не помню, ждал ли я кого-нибудь, удивился ли звонку или поднял трубку машинально. Обычно в это время звонила Са-

ра, и разговор не длился дольше двух-трех минут. Если же мне приходилось задерживаться, то она давала трубку детям, чтоб я мог пожелать им спокойной ночи. Но Сара не звонила уже несколько недель.

По голосу я Вальтера не узнал. Да и трудно было узнать, ведь прошло столько времени. Но он говорил со мной таким тоном, будто я сразу должен был понять: это он, Вальтер, — более того, будто я ждал его звонка.

— Сколько воды утекло с тех пор, — задумчиво сказал я и мысленно увидел его в Гюстрове. Он укладывал коробки в свой только что купленный в Гамбурге светло-голубой "форд-эскорт", а я, стоя рядом, за этим наблюдал.

— Почему ты именно сейчас уезжаешь, — спросил я тогда.

— Вряд ли ты поймешь, — ответил он.

— Но ведь все уже позади, — сказал я. — Ты можешь поехать, куда захочешь и когда захочешь.

Сад перед его гаражом уже сбросил свой цветной убор, деревья стояли абсолютно голые. Год заканчивался, и, помнится, меня особенно смущало то, что он уезжает под самое Рождество, будто времени у него в обрез.

Вальтеру было шестьдесят, а мне тринадцать, и я считал его стариком. Мы познакомились с ним за полгода до этого, в Гюстрове, куда мы переехали с матерью сразу после того, как мне выдали табель в конце учебного года. Мы уже не раз так переезжали. Последние три года прожили в Лейпциге, теперь мама решила попытать счастья в Мекленбурге.

— Там нет этой суеты. В двух шагах озеро Инзельзе. От больницы мне обещают небольшую квартирку. А ты уже летом сможешь найти себе новых друзей.

Она старалась приободрить меня, но это было совершенно излишне. Я уезжал из Лейпцига с радостью. Друзей у меня там не было, во всяком случае никого, о чьем отсутствии пришлось бы пожалеть. На мать я обижался только за то, что при кочевом образе жизни у нее никогда не возникало желания вернуться в Берлин, — туда, где я родился.

Место медсестры она всегда получала легко, и мне трудно было понять, что заставляло ее блуждать по стране. Неугомонность? Скука? Ощущение замкнутости в пределах ГДР? Стремление забыть свои любовные связи в Лейпциге, а до этого в Йене? Когда мы перебрались в Гюстров, ей было тридцать два, меня она родила в девятнадцать, и ни один из ее романов не длился столь долго, чтоб она могла завести второго ребенка. Мы привыкли жить в одиночестве. Никто из мужчин к нам так и не переехал, она оберегала меня от всего, что касалось ее личной жизни. С малых лет мне приходилось

коротать вечера и ночевать одному: она уходила на работу в ночную смену или к очередному ухажеру. Но проснувшись рано утром, я всегда находил ее на кухне за чашкой кофе и с сигаретой. Все еще в сестринском халатике, с приколотой на груди именной табличкой, она выглядела хоть и усталой, но умиротворенной. В учебные дни она готовила мне завтрак, а летом, в каникулы, уже в Гюстрове, мы спали порой до обеда.

Вместе ходили в бассейн рядом с Инзельзе, и я прыгал "рыбкой" с трехметрового трамплина, для чего в Лейпциге мне не хватало смелости. Слегка раскачиваясь на доске, я смотрел вниз и боялся лишь одного: вдруг перевернусь и шлепнусь о воду спиной. Город был невелик и казался по сравнению с Лейпцигом большой деревней, даже замок не придавал ему солидности. Мы жили в четырехэтажном панельном доме, и у меня появилась отдельная комната — узкая, как пенал, с видом на улицу и с фонарем перед окном.

Вальтер жил по соседству, в запущенной вилле. Из окна его квартиры на первом этаже был виден сад со старыми фруктовыми деревьями, кустарником и просторной лужайкой. Позади нашего дома имелись крохотные участки земли, на которых жильцы выращивали овощи.

В больнице Вальтер занимался санобработкой белья. В подвал к нему приносили постели, в которых пациенты пролежали день, другой, третий, а то и простились с жизнью. Он дезинфицировал простыни, пододеяльники, наволочки и вкупе с матрасами выносил все наружу, где вывешивал для проветривания — так паркуют автомобили. Его заявление на выезд лежало где-то "наверху" уже не меньше пяти лет, сам же он оказался сосланным в подвал. Долгие годы он возглавлял отделение стерилизации, но его сняли с этой должности и задвинули в самый дальний угол того же отделения. Он мог бы сослаться на какой-нибудь недуг, уволиться, не поднимая шума, подыскать себе другую работу. Но поступать так он не хотел. И, видимо, считал, что тяготы обитания в подвале дают ему право на это. Моя мать заговорила с ним после того, как другая сестра воскликнула в его ярко освещенной неоном, не имеющей окон, узкой келье:

— Так ты еще здесь!

— Я тут ни при чем! — заорал он в ответ.

Сбросив обороты двигателя, рыбак выключает его совсем. Шарит по дну длинным металлическим крюком. Мы совсем близко от берега — низкой песчаной насыпи с редким кустарником.

— Обычно вы выезжаете сюда с женой? — спрашиваю я, нарушая утреннюю тишину, вдруг наступившую после по-

следнего вздоха двигателя. В живых ее нет, я в этом уверен. Хочу, чтоб он рассказал, как это случилось, но не могу объяснить, откуда у меня такое желание. “Она была невысокого роста”, – сказал он. Была...

Йозеф Нойер нашел сеть и начинает ее поднимать.

– Мы всегда выходили вместе. Двадцать лет кряду. С тех пор как наш малый вылетел из гнезда. “И что мне теперь делать в этих стенах?” – сказала она. Поначалу меня это не устраивало. Но она явно набиралась опыта. “А поставь-ка сети вот тут”, – говорила она. И назавтра они были полными. Надо же, какое чутье, думал я...

Нойер неожиданно умолкает и перестает вытягивать сеть.

– Как-то раз, прошлой осенью, она со мной не пошла, чувствовала себя неважно, а когда я вернулся, то увидел, что она сидит на лавке. И уже остыла.

Глядя на него, я не жалею, что задал свой вопрос. Мимо нас проходит автомобильный паром, на ярко-красном корпусе надпись: *Danube Highway*. Нойер смотрит парому вслед и вновь начинает выбирать сеть. На руках у него синие резиновые перчатки. Рваные тела медуз, застряв в ячейках, блестят на солнце, как куски льда. Вот, наконец, и рыбина – с темно-зелеными полосками на спине. Она не трепыхается, скорее рвется вперед. Неспешно высвобождая ее, Нойер говорит: “С окуня начнешь, с ним и уйдешь”. И мы оба смеемся.

– Кто же вы, если не сын Вальтера? Приедет мой парень, сказал он мне, и что тебя, то есть вас, бывало, хлебом не корми, только дай поудить.

– В Гюстрове мы были соседями. Пожалуй, даже друзьями.

– Даже друзьями?

Нойер складывает пустую сеть, как простыню, и бросает перед собой на днище лодки. Вновь набивает трубку и смотрит на меня.

– О Гюстрове и о жизни на той стороне Вальтер много не рассказывал. Но если уж заводил разговор, то о вас. Не о штази и прочей ерунде, а только о твоей матери и какое это для него было счастье. Мол, такая красивая молодая женщина под конец жизни, да еще он был все равно что отец для ее сына. Называл вас отличным парнем. Только вот ваша мать не захотела с ним уехать на Запад, даже когда Стена пала. Она, дескать, струсила.

– Это он струсил, он побоялся остаться, – говорю я, и у меня такое же неприятное чувство, как тогда, когда я наблюдал, как Вальтер укладывает вещи в машину, чтоб исчезнуть

навсегда. Тогда я думал так же, как и сейчас. Я не желал его отъезда, но как было ему об этом сказать?

— Почему вы сегодня назвали его подручным? — поспешно спрашиваю я Нойера.

— Да ведь так говорят. Вальтер мне иногда помогает. Продавать рыбу в Хольтенау. Раздобыть нужную приманку или что-нибудь еще в этом роде.

— Мой лучший друг здесь — рыбак, — с уверенностью сказал Вальтер, когда позвонил мне в Гамбург. — Выбирайся сюда, поедешь с нами на рыбалку.

Я согласился. Я с радостью соглашался на все, что выбивало меня из заезженной колеи, выносило за пределы офисных и домашних будней. С тех пор как Сара уехала, я чувствовал себя не в своей тарелке. Еще полгода назад я бы от него отделался — под любым предлогом.

В тот день, когда Сара меня бросила, я шел с работы домой. Шел как всегда. Только на сей раз позднее. Мы это с ней обсуждали, как и многое другое в последние полгода. И всегда по одним и тем же правилам: позволить высказаться другому, задать все вопросы, рассказать о своих чувствах. Психолог по семейным отношениям, к которой однажды мы пошли по желанию Сары, спросила ее в какой-то момент: “Вы любите вашего мужа? Вы должны стремиться сохранить семью, иначе продолжать разговор не имеет смысла”. Сара ничего не ответила и спустя пару недель уехала. Дети жили то у нее, то у меня, и в те дни, когда они были у меня, я сам себе казался чужим. Будто я им не отец, а какой-то чужой дядя. Хорошо еще, что у них была детская, в которой внешне ничего не изменилось.

Хуже всего в день ее отъезда выглядели края коврового покрытия. Круг от тарелки, на которой стоял цветочный горшок, прямоугольник от комода в стиле бидермейер, вмятинки от ножек стульев из обеденного гарнитура, похожие на отпечатки собачьих лап. Я никак не мог от них оторваться, все смотрел на эти следы. Казалось, жена с детьми — в магазине или на спортплощадке, в общем, где-то поблизости. Лишь отпечатки на ковре показывали, что теперь все иначе.

Вчера Вальтер хотел говорить только о моей матери. Я это быстро понял, сидя в его мансарде в Хольтенау. От моста через канал дорога вела к воде. Улица петляла, проходя сквозь квартал кирпичных домов. У некоторых было два фронтона, и потому выглядели они как два дома, соединенных друг с другом. Я съехал вниз до канала и поставил машину перед

шлюзовым островом. Там, где от фьорда на запад уходит канал, особняком стоял дом, тоже кирпичный, захламленный корабельной оснасткой, но с небольшим, уютным кафе. Вечерело, и внутри помещения, в котором стулья стояли вдоль стен, как во время школьной дискотеки, юная пара танцевала танго. Они были там одни, молодой человек — в костюме песочного цвета, девушка — в темном платье до колен. Остальные посетители сидели под открытым небом, и, поглядывая на закат, пили вино и пиво. Они не были похожи ни на туристов, ни на местных жителей. Возможно, приехали сюда из Киля или с той стороны фьорда, чтобы пропустить по стаканчику после работы. Я подсел к ним, и вскоре у меня пропало всякое желание уходить. Прямо перед нами, у пристани, встало русское судно. Сложенные штабелями контейнеры походили на одну громадную игрушку. С борта судна спрыгнул матрос, чтобы пришвартовать его. Пополнив запас топлива с маленького заправщика, оно вскоре снова исчезло из виду.

Мне казалось, будто я то ли в Голландии, то ли в Англии, то ли в Дании. Где точно, я не знал, но ощущение было такое, будто реальность, в которой я пребывал, слегка раздвинулась, и я выбрался из той самой заезженной колеи. Мне это нравилось: ведь все, что я хотел получить от этого дня, сбылось. И сбылось, по сути, вопреки моим ожиданиям.

Спустя какое-то время я все же покинул кафе, чтобы найти Вальтера по его адресу. Отворяя мне дверь, он не скрывал своей радости. В его бледно-голубых глазах под густыми седыми бровями стояли слезы, и голос слегка дрожал, когда, обнимая меня, он сказал: “Как хорошо, что ты приехал”.

Затем пригласил меня в кухню, где сразу же взял вилку и принялся извлекать из кастрюли каракатицу. Едва я присел к столу, как он рывком поднял громадину в воздух и с победоносным видом, как трофей, положил на разделочную доску. Я видел узкие красные присоски на щупальцах и массивное туловище буроватого цвета.

— Варить ее надо с тремя пробками от бутылок красного вина — в пробках дубильная кислота, — сказал Вальтер, будто выдавая мне семейный секрет.

Разрезав каракатицу на кусочки, он полил их смесью оливкового масла, чеснока и петрушки. Вкус был восхитительный, лишь слегка смахивающий на рыбный, а мясо несравненно мягче, чем можно было предположить по внешнему виду моллюска.

— Это лучшее из того, что я ел в последнее время, — сказал Вальтер.

— И вы ловите каракатицу в Балтике? — спросил я, чтобы вообще что-нибудь сказать.

— Да нет, — сказал Вальтер, сменил тему и начал, ни на минуту не умолкая, говорить о моей матери.

Тогда он ее и правда любил, я видел это, хотя мне было всего тринадцать, да и Вальтер не делал из этого никакой тайны. Мать считала, что он ей не пара, и мне это тоже было понятно. Я достаточно хорошо знал, какому типу мужчин она отдавала предпочтение. Вальтер к этому типу не принадлежал. Он ей нравился, но близко к себе она его не подпускала. Его это не смущало, он дарил ей цветы и ждал по вечерам у дверей с бутылкой вина. Мы никогда не бывали у него в вилле, у нас же, я думаю, Вальтер чувствовал себя в безопасности. Ведь он искал спасения не только от одиночества. На втором этаже виллы жил его преемник, новый начальник отделения стерилизации, не упускавший случая поиздеваться над Вальтером. Тот мог сменить замок, посреди ночи завести пластинку с военными маршами, случалось даже, что в квартире Вальтера горела лампа, хотя он точно помнил: уходя, свет он погасил.

— И чем же занимается теперь твоя мать? — спросил Вальтер, убирая со стола остатки каракатицы. Жара еще не спала, и на нем была белая рубашка с короткими рукавами поверх черных слегка мешковатых брюк. Расстегнув все пуговицы, он обнажил грудь с россыпью родимых пятен на дряблой коже.

Поворачивая в руке бокал с вином, я смотрел на его края: в них преломлялся свет свечи.

— У нее все хорошо. Она организовала в Мюнхене частную службу по уходу за больными и прилично зарабатывает. Снова вышла замуж, за австрийца, дело они ведут вместе. Родила еще одного ребенка — в 38 лет. Любит повторять, что была нормальной матерью на Востоке и такой же осталась на Западе.

Взглянув на Вальтера, я понял, что слышать все это ему крайне неприятно, но щадить его не хотел.

И мы заговорили о прежних временах. О том, как он учил меня ловить на блесну окуней и щук, как я присел на корточки и придвинулся вплотную к его ногам, когда он решил показать мне, как надо потрошить рыбу, и взял для этого серебристую плотвицу — мелкие чешуйки, покрывавшие ее тело, напоминали кольчугу.

Один день того лета запомнился мне особенно хорошо. Это было задолго до того, как люди в Лейпциге вышли на

улицы, и за несколько недель до того, как венгры открыли границы. Конец недели выдался очень теплым. К забору за огородиками жильцов нашего панельного дома примыкал парк, и на лужайке там дядьки играли в футбол. Толстые, нескладные, в широких трусах до колен. Я сидел перед забором на крыше крольчатника, который принадлежал одному из наших соседей. На руках у меня лежал серо-белый кролик, за ним я ухаживал со дня нашего приезда и до того, как его забили, — перед самым Рождеством. Кровельный толь подо мной был теплым, я сидел в позе портного, моя мать и Вальтер стояли позади меня, и все вместе мы подбадривали футболистов криками и радостными воплями. В какой-то момент я увидел, что человек, который живет в вилле над Вальтером и делает разные пакости, идет через сад. Он был в спортивных трусах и белой майке, держал в руках садовые ножницы. Так близко я никогда его не видел, и, когда глаза наши встретились, он на секунду-другую замедлил шаг. Этого оказалось достаточно, чтобы мать, перехватив мой взгляд, положила руку Вальтеру на плечо. В первый и последний раз в том тревожном полугодии они прикоснулись друг к другу, и прикосновение это было нежным.

Нажав на кнопку, Йозеф Нойер заводит подвесной мотор.

— Тут больше делать нечего, — говорит он, — снимаемся с якоря.

В последнюю из двадцати верш попало только несколько сухопутных и мохноруких крабов и ни одного угря, да и улов в сетях был не богат: полторы дюжины камбал и окуней.

— Японцы и испанцы ловят угрей, когда те еще прозрачные. Но если они забирают молодь, то как в мою вершу попадут взрослые?

Я сижу на носу лодки, он — на корме, а в садке под скамьей между нами плавает улов. Нойер побросал туда рыб, приподнимая крышку. На нем теперь только двое штанов, и оранжевые помочи выделяются на фоне его темно-коричневых плеч двумя яркими полосами.

Нойер решил наконец обращаться ко мне только на “ты”: “вы”, как туго завязанный галстук, явно стесняло его.

— Уже сейчас жду зимы. Не будет ни медуз, ни водорослей. А при такой погоде, как теперь, ничего не поймать, — говорит он, перекрывая шум мотора. — Конечно, опять будет холодно, но это для меня не помеха. Рыба хорошо идет в сеть, за ночь побелеть не успевает, при резке потом ты видишь, какая она мягкая. А с морозами приходит и треска. Это рыба зимняя. Лучше ее нет.

Мы возвращаемся в Киль. На канале — оживленное движение. Навстречу нам плывут парусные яхты, их, пожалуй, чуть больше десятка. Выйдя из шлюза и взяв курс на Северное море, они ненадолго вытянулись в цепочку, похожую на нитку жемчуга.

На обратном пути Нойер рассказывает, что на столе в кухне у него целый ворох извещений из налоговой службы. Этим всегда занималась жена. А теперь он должен при такой-то погоде поливать в саду ее растения. На это уходит битый час. Он даже не всегда знает, как что называется. Эх, если б можно было пропустить хоть денек! После смерти жены одна кошка сбежала, другая... На самом деле это — кот, серый, который его терпеть не мог. Теперь они живут в пустом доме вместе и постепенно привыкают друг к другу. Нойер даже не сказал, что любил свою жену. Что ему ее не хватает. Но у меня такое чувство, будто ни о чем другом сегодня утром он не говорит.

И вот мы на большом катере возле Канальштрассе, с которого Нойер продает свой улов. Я сижу, прислонясь к лееру, и курю сигарету. Вальтер протянул мне ее, не говоря ни слова, как ни слова не сказал и о том, почему не появился здесь ранним утром.

— Ну, Вальтинг, выспался? — спросил Нойер.

Мало-помалу сюда стекаются покупатели. Они знают, в котором часу рыбак начинает торговлю. Заговаривают с ним и его напарником, сетуют на погоду, при которой рыба, ясное дело, не ловится. Одна рука Нойера — в шерстяной перчатке, этой рукой он захватывает рыбу, в другой — нож, им он вспарывает брюшко. Внутренности летят за борт, где на них с криком набрасываются чайки. Рыбу Нойер опускает в пакет, подает его Вальтеру и называет цену. Вальтер получает деньги и кладет их в металлический ящичек. Когда мы только подъезжали к этому месту, Нойер сказал: “Жена научила меня любезному обращению с покупателями”. Нелюбезным его и впрямь не назовешь, но он явно рад, что между ним и покупателями стоит Вальтер. Очередь доходит до женщины, которая, купив две или три камбалы, хочет поговорить с продавцами. Собираясь за рыбой, она явно прихорашивалась. Ее свежевымытые каштановые волосы отливают медью, она в меру накрашена, на ней джинсовая юбка и белая тенниска. Ей, пожалуй, под пятьдесят, она, наверное, учительница или какая-нибудь иная госслужащая. Получив рыбу, женщина не уходит. За ней больше никого нет, и Нойер начинает разделывать пойманных нами окуней. Сдирает с них шкурку и укладывает блестящие бело-розовые кусочки горкой.

— Вы что-нибудь слышали об убийстве? — спрашивает женщина.

Я тоже читал об этом, вчера, в маленьком кафе. Муж убил свою жену каким-то тяжелым предметом, здесь, в Хольтенау. Мотив преступления пока не известен, ведется расследование. При аресте убийца не оказал сопротивления, соседи же говорили то, что в таких случаях обычно и говорят соседи: “Люди эти были приветливые, ничем не приметные”.

Женщина не отступает:

— Господин Нойер, вы же всех здесь знаете. И ничего не слышали? За что он ее убил? Разве вы были с ним не знакомы?

— Что значит знакомы, — говорит Нойер. — Это вы любите потолковать с первым встречным.

Она скрещивает ноги, рядом покачивается сумочка с рыбой.

— А вы? — спрашивает женщина, глядя на Вальтера. Он, не глядя на нее, мотает головой.

— Зачем же вы так, господин Нойер и господин Вальтер? Наверняка вы знаете больше, чем мне только что сказали, — говорит она, поигрывая кулончиком на груди.

— А не много ли к нам вопросов? — не поднимая глаз, говорит Вальтер.

Женщина выпускает из рук кулончик, улыбка ее гаснет. Не попрощавшись, она уходит по узким мосткам к улице и идет дальше своей дорогой.

Нойер продолжает разделывать окуней, в какой-то момент поднимает голову и смотрит на Вальтера, который стоит, прислонясь к рубке.

— Ты чего? — говорит Вальтер, а Нойер в ответ только:

— Такие, брат, дела.

И вот уже оба смеются, и смех их скорее мальчишеский, чем мужской. Я бросаю окурок в канал, и на глаза мне невольно навертываются слезы — первый раз с тех пор, как Сара ушла от меня.

Луц Зайлер

Зов

Перевод Анатолия Егоршева

ОДНАЖДЫ мне и в самом деле пришлось говорить о прекрасном. По велению профессора Винтера, который читал нам лекции по теории литературы вкупе с эстетикой и подкреплял свои рассуждения множеством цитат из Фонтане. Просматривая конспекты того времени, я вижу, что, по существу, мы слушали лекции не столько о Фонтане, сколько — *в особенности,* как сказал бы Винтер, — о прусском духе, бранденбургской аристократии и этикете. При этом неизбежно росла дистанция между нами, молодыми невеждами, вынесенными волной осеннего семестра на отмель перед кафедрой и не имеющими понятия о манерах и приличиях, и тем, что́ на этих уроках прусско-юнкерского стиля всей своей фигурой воплощал профессор Винтер.

Неизгладимое впечатление производили его могучий рост, тонкий профиль и превосходная речь, особую пикантность которой придавали легкая шепелявость и столь же легкий французский прононс. Заостряя на чем-нибудь наше внимание, Винтер так вскидывал над переносицей свои длинные, сросшиеся брови, что они создавали на его челе

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2008
© Анатолий Егоршев. Перевод, 2016

что-то вроде крохотного шатра. Там обитало его понимание возвышенного, таились его представления о чести, совести, великодушии. Винтер стоял на подиуме у кафедры, мы же теснились внизу, на деревянных скамьях обшарпанной аудитории, усердно конспектировали, а то и смеялись вместе с Винтером, стоило ему вспомнить какой-нибудь из своих анекдотов. Эти чудесные рассказы венчали его превосходство над нами. В них даже то, что давно пришло в упадок, отжило свой век, окаменело, но сохранилось как достойное любви и пиетета, как *изысканное* в лице лучших представителей прусского духа, брало верх над нашим некультурным настоящим. Шатерик возникал и тогда, когда Винтер смеялся. Все лицо его мгновенно покрывалось мельчайшими морщинками, которые каким-то непостижимым образом сходились в шатерике. Смех придавал лицу профессора совершенно детское выражение. Мне редко доводилось видеть более симпатичные лица. Я восхищался Винтером. Он был оригиналом, хотя явно находил для себя и образцы для подражания.

Именно Винтер принимал у нас устный экзамен по эстетике. Происходило это поздним пасмурным утром, в комнате с балконом небольшой запущенной виллы, в которой разместили то ли два, то ли три отделения секции германистики. Несмотря на прохладную погоду, балконные двери были открыты, в комнате царил полумрак. Я бы, конечно, включил свет, чтобы видеть выражение лица Винтера. В то же время темнота успокаивала. Винтер произнес два слова: *красота* и *прекрасное*, и я начал говорить. Начал излагать все, что выучил, — как эти понятия трактовались в разные эпохи. Винтер сидел, опустив голову, будто рассматривал свой письменный стол. Минуты через две поднялся и не спеша направился к балкону. Его шаги, неторопливые, без особой выразительности, были не более чем движением к факту: большой человек покидает комнату, чтобы выйти на балкон. Ассистентка, которая сидела на стуле вполоборота у переднего края стола и вела протокол, кивнула мне, что явно означало: не смущайся, продолжай говорить. Но я ведь и раньше не мог четко видеть лиц моих экзаменаторов, не имел возможности хоть как-то истолковать их мимику, тем более уловить в ней знаки ободрения. Уже тогда мне стало казаться, что я говорю в пустоту. Теперь же в моей речи возникла заминка. Какой смысл стараться, если профессор тебя не слушает?

Но ассистентка, которая вдруг оказалась в помещении со мной одна, вновь кивнула мне — призывно, требовательно. В нерешительности я уставился на ее фигуру с кивающей по-ослиному головой. Выходить за пределы своей маргинальной ро-

ли она не собиралась. Прилежно записывала мои монотонные рассуждения о прекрасном; она вела протокол. Что ж, внешнее спокойствие ассистентки помогало мне не воспринимать ее как личность, хотя мы были знакомы. Когда встречались на улице или в кафе, между нами завязывался разговор. Как-то раз мы даже вместе оказались в постели. Произошло это скорее случайно, без осознанного желания, — если такое в принципе возможно. Думаю, в студенческих общежитиях того времени с их душевыми и кухнями для всех многое происходило именно таким образом. Но здесь, в полумраке экзамена по эстетике, я напрочь забыл о том мимолетном увлечении. Здесь решался вопрос об окончании университета, здесь надо было показать, что я неплохо разбираюсь в таком явлении, как красота, а девушка всего лишь вела протокол. Она не делала ничего, кроме того, что предписывалось правилами проведения экзаменов. Она не была моим визави. И это меня успокаивало.

Сам того не замечая, я мало-помалу отворачивался от ассистентки. Речь моя стала более гладкой, я даже, пожалуй, слегка повысил голос, пока, наконец, не обратился прямо к балконным дверям. Их створки были полуоткрыты, и то, что отражалось в стеклах, мешало видеть Винтера. Похоже, он положил руки на балюстраду и, застыв в этой позе, смотрел в сад. Сквозь окно лестничной клетки я и сам нередко любовался этим садом — прекрасным старым садом, парковые очертания которого все еще проступали под дикой порослью последних лет. Слышал ли меня Винтер, стоя на балконе? Этого я не знал. Он не двигался, выглядел утомленным. Мог ли я выйти на балкон, чтобы, глядя вместе с ним на старый сад, говорить о прекрасном? Нет, не мог. И что же мне тогда было делать? Просто прекратить монолог и умолкнуть? Может быть. Но я продолжал говорить, постепенно свыкаясь с неловкостью моего положения. Пока не перестал ощущать ее совсем. И увидел тогда картину с полуоткрытыми на балкон дверями: за ними стоит человек, которого здесь все равно что нет; в комнате за столом сидит женщина, она что-то пишет, но, в сущности, ее тут тоже нет; и непрерывно звучит мой голос, который рассказывает о прекрасном — одной из категорий эстетики, столь же ясной, сколь и непонятной.

И тогда я начал слушать свой голос. Стал воспринимать все происходящее, не обращая внимания на его суть и значение. Фразы были заготовлены заранее, речь лилась сама собою. В унылом на первый взгляд помещении, с высоким потолком и скудным набором мебели, плавал тонкий, едва уловимый звук. Это был звук моего голоса, слитого с этим помещением — оно

окружало и укрывало его. Здесь мне ничто не угрожало, здесь я был наедине со своим голосом. И продолжал говорить, вслушиваясь в него, обретая абсолютное спокойствие, чувствуя глубокое удовлетворение. Я был настолько раскован, что не могу теперь сказать, продолжал ли я говорить собственно о прекрасном, о его дефинициях у философов от Платона до Баумгартена, Гегеля, Руге, Розенкранца, Канта, Фишера... С каждым из этих имен я связывал две-три цитаты и комментировал их, затрагивая разные аспекты темы. Коснулся вскользь эссе Толстого "Что такое искусство?", хоть и не читал его. Упомянул Платена с его "Кто от красоты не прячет взгляда..." Не забыл и финальную фразу Гёльдерлина "Так думал я", ставившую под сомнение, пожалуй, смысл всего "Гипериона", — ума иным из нас тоже хватало не по годам. В голове у меня бродили мысли о прекрасном и нечто такое, что диктовало их моему голосу. Оказавшись теперь в полном одиночестве, он зажил собственной жизнью. Впечатление было такое, что в своем звучащем отшельничестве мой голос рисовал мне образы стен и всего помещения, мужчины на балконе и женщины за столом. И хотя он вел разговор лишь с самим собой, с собственным звучанием, голос мой, как мне казалось, отдавался эхом во всем, что окружало его в те минуты. Обретя таким образом душевное равновесие, я вспомнил об одном замечательном явлении прекрасного.

От ворот до углового камня метров двадцать. Чтобы встать с ним рядом, надо пройти по подъездной дорожке и ступить чуть в сторону. Этим валуном прикрыт угол на повороте с деревенской улицы к дому. Случалось, что во дворе я оказывался один, мне становилось скучно, ничего интересного в голову не приходило, и тогда я вспоминал об угловом камне. Он был для меня своего рода рубежом. Идти дальше мне не разрешалось, во всяком случае — одному. Стоя у валуна, неподалеку от пруда, затянутого ряской, я пристально вглядывался в деревенскую улицу. При этом обычно разговаривал сам с собой, вернее, вел воображаемые диалоги с воображаемыми товарищами. На самом деле это были две девочки, которые иногда приходили к нам во двор, — близнецы из семьи Шуманов. Они были старше меня на три года, и когда играли в дочки-матери, то отводили мне роль ребенка. Одна из сестер, обычно это была Керстин, превращалась в отца, Андреа же становилась матерью — чаще ласковой, порой очень строгой. Меня волновали обе ее роли. Когда за добычей на задворки отправлялась Керстин, моим воспитанием занималась Андреа. Перед сном ребенок обычно жаловался на

какие-то боли, и тогда Андреа тщательно меня осматривала. Холодная рука девочки на животе — ничего лучшего и быть не могло. Возвратясь домой после удачной охоты, Керстин брала меня на руки, что выглядело, конечно же, странно: в свои пять лет я был для нее и велик, и тяжел. Но Керстин это не смущало, близнецы были крепкими девочками. Кем они стали потом, мне не ведомо. Ведь они приходили к нам во двор слишком редко. Отчего мне и было так грустно, когда я в полном одиночестве стоял возле углового камня.

И тогда я начал звать близнецов. Мне казалось, что голос мой достаточно силен, чтобы долетать до подворья Шуманов, которое находилось на другом конце деревни. Я представлял себе, как девочки слушают мой зов. Видел, как они бросают играть и пускаются бежать — еще мгновенье, и они появятся на пригорке за прудом. Однажды они действительно появились. Я стоял возле валуна и, глядя в глубь улицы, что есть мочи кричал. И вдруг они со смехом возникли передо мной. Мне и присниться не могло, что это произошло случайно.

Я звал то Керстин, то Андреа, чередуя их имена без устали, до бесконечности. Звать Керстин было легче: два слога выкрикивались один за другим без труда. Затем *Ан-дрееее-яааааааа* — своего рода трезвучие. После многократных выкриков, когда голос был уже слегка охрипшим, мне подчас не хватало воздуха для долгого *а* в конце имени: в той местности, где я вырос, *а* и так сильно растягивают, погружая в какой-то омут промеж *о* и *у*. В студенческие годы я посещал семинар по развитию речи, и преподавательница сказала мне тогда, что всем моим гласным свойственно “завывание”, делающее их нечистыми, и что дефект этот практически *неустраним*.

Закончив в очередной раз выкрикивать имя Андреа, в тот момент, когда звук сменился молчанием, я неожиданно совершил открытие. Долгое, смутное *а*, которое неотвратимо становилось бездыханным, показалось мне очень близким, — оно струилось во мне. В этом остатке голоса, который больше не выходил из меня и уже не стремился быть услышанным в подворье Шуманов, я слышал самого себя. В этом *аааааааа*, умирающем в моей гортани от жажды, завывающем на моих голосовых связках все глуше и тише, было что-то теплое и что-то волчье. Оно наполняло мой череп, скользило по его своду и создавало его, оно озвучивало мое нутро. Впрочем, такие понятия, как череп и нутро, были мне еще незнакомы. Но мне помнится удивительное ощущение неожиданной близости к самому себе и ясной очерченности моего тела. Я впервые познал чувство самости, поистине великим прозре-

нием для меня стало то, что я существую в этом мире цельным от головы до пят, более того — отдельным человеком, который к тому же способен соединить зов с завыванием. Теперь я изо всех сил и раз за разом выкрикивал только имя Андреа и вслушивался в медленное угасание голоса в конце имени. Такой звук мы можем, наверное, приписать слабоумному или умирающему, не имея перед глазами истинной картины. Я удлинял этот звук, пока на то хватало дыхания, я ласкал волка в его логове. Поэтому когда сегодня говорят о внутреннем голосе, я думаю о девочке по имени Андреа. Благодаря ей я открыл для себя волчий хрип, услышал под сводом черепа ни с чем не сравнимое ворчание зверя.

Следуя детскому чувству справедливости, я вскоре стал звать и Керстин. С ней все было по-другому. В отличие от зова, адресатом которого была Андреа, зов, обращенный к Керстин, исходил из меня цельным, у него было иное направление. Я любил *К*, от которого мог легко оттолкнуться, затем возникала траектория долгого *э*. По моему велению оно опускалось на что-то вроде туго натянутого провода и вибрировало на нем, пока дрожь не мельчала до превращения в гортанное *э* на амплитудах. Звук был безобразным, но столь притягательным, что умолкнуть стоило большого труда. Выкрикивая имя Керстин, я чувствовал связь с деревней и ее окрестностями, которые тоже оглашались моим переливчатым зовом.

Не знаю, наблюдал ли за мной кто-нибудь, когда мой зов летел по деревне. И, уж конечно, никто не пришел бы сказать мне, что Андреа и Керстин меня все равно не услышат. На клики от углового камня деревне полагалось отвечать тишиной. Если кто-нибудь все же проходил мимо, я воздерживался от двух-трех возгласов. Наверно, меня принимали за дурачка, но ведь я был еще ребенком и посему не вполне вменяемым. Поскольку прохожих было мало, я мог предаваться своему занятию вволю. Оно мне нравилось. Иногда я даже забывал, кого звал. Не мог припомнить, какие слова выкрикивал. Проникнутый звуковыми образами двух девочек, я видел всю деревню. Она была моим миром, она была тем, что я знал. Да, я знал ее, но с нею что-то происходило. Зов изменял то, что охватывал мой взор, он изменял облик селения.

Поначалу деревня была похожа на пустыню. Она была немой — со своим прудом, десятком домов, заборами... Вокруг меня — глушь. Детская фантазия рисовала то прерию, то степь, но всегда почти необжитую, молчаливую равнину, над которой свободно звучал и затихал мой зов. Посреди этой равнины стоял вождь, потерявший всех соплеменников, по-

следний из могикан, поверявший ветру свою печаль. Одиночество позволяло мне слышать мой зов во всем его своеобразии — и как стройную мелодию, и как рыхлый ком звуков. Его можно было снова и снова разбрасывать над пустошью, и при этом бессмысленном повторении возникало желание слегка варьировать его, придать ему долготу или ускорение, обезобразить его, потрепать и обнажить.

Если подумать, сколь часто я стоял в то лето возле валуна, чтобы исторгать вопль за воплем, то нетрудно понять, что дело было не только в желании ощутить материнскую руку Андреа на животе или почувствовать отеческую нежность Керстин. Зов нравился мне сам по себе. Какое-то загадочное чувство овладевало мною, когда меня пронизывали столь близкие мне звуки. Случалось, я вставал на цыпочки, откидывал голову назад, и предо мной распахивалось небо — обычно с вереницей облаков, к которым от меня протягивались незримые звонкие струны. И я видел, как вокруг изменялось пространство. Оно превращалось в пространство зова, наполненное эхом: зов орошал пустыню, строил фахверковые дома, за столом в них сидели люди и радостно покачивались в ритме зова. Я был тем, кто дарил этой пустоши жизнь, и жизнь эта текла в ритме моего бесконечного зова, моей светлой грусти по двум девочкам с именами Андреа и Керстин. Весь прекрасный деревенский мир был единственным в своем роде автопортретом — не моей скромной личности, но моей речи. Он был отражением моего зова, ответом без ответа.

Да, зов изменял селение. Фахверк домов напротив, кусочками отпадающая от стен сараев глина, дощатые заборы, серебристые ивы на берегу пруда, сам пруд, сохнущее на веревках белье, изгиб деревенской улицы за прудом и пожарным депо — все эти вещи больше не существовали сами по себе, они являли мне свою взаимосвязь. Сообща они создавали картину, и картина эта *звучала во всей своей цельности.* Она рождалась во мне и моем зове, она гармонировала со мною и моим переменчивым зовом. Его первоначальный смысл, рассчитанный на ответ и в конечном итоге на спасение от одиночества, обретал ширь и выходил за рамки конкретных адресатов по имени Андреа и Керстин. Звуками, которые давали мне имена близнецов, я воспевал с углового камня родную деревню, мой мир, свое одиночество и собственный голос. Об этом я вспомнил, сдавая экзамен Винтеру. Мои крики, рожденные одиночеством, жалобные и дарившие ощущение счастья, стали зовом, отзвуки которого в картине деревни (мире моего детства) и во мне самом соединились в неповторимом явлении прекрасного.

Криста Вольф

Август

Перевод Н. Федоровой

АВГУСТ вспоминает: как и всех детей, которые в конце войны приезжали без родителей на железнодорожный вокзал в Мекленбурге, его расспрашивали, когда и где он потерял маму. Но он этого не знал. Не знал и когда разбомбили эшелон с беженцами — до или после переправы через большую реку, которую они называли Одером. Ведь он спал. Когда начался страшный грохот и люди закричали, чужая женщина, не мама, схватила его за руку и вытащила из вагона. Он бросился за насыпью в снег и лежал там, пока грохот не прекратился и машинист не крикнул, чтобы все, кто еще жив, немедленно вернулись в эшелон. Ни свою маму, ни эту чужую женщину Август никогда больше не видел. Да, на поле тут и там лежали люди, так и не вернувшиеся в эшелон, который вскоре поехал дальше.

А его папа? Женщина из Красного Креста казалась Августу некрасивой — седая, лицо в морщинах, очень усталая, он заметил это по тому, как она говорила. Папа был солдатом. Больше Август ничего ей не сказал. Недавно полученное письмо мама тогда скомкала в руке, а потом опять расправи-

© Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© Н. Федорова. Перевод, 2016

ла, она плакала, говорила, он жив, жив, я знаю. И госпожа Нидлих, соседка, тоже сказала: пропал без вести не значит погиб. Но женщине из Красного Креста Август об этом не рассказал. Отец, которого он почти не знал, жив и будет его искать, его и маму, которую он потерял и которая не перестанет искать его, пока не найдет. Свой день рождения он женщине назвать сумел, мама с ним заучила, на всякий случай. Стало быть, ему только-только сравнялось восемь. И название родной деревни он тоже знал. Ах, Восточная Пруссия, сказала женщина. А ты, оказывается, издалека. Затем она повесила ему на грудь картонку, где было написано “сирота” и указаны сведения, какие он сообщил ей о себе. Август воочию видит перед собой эту картонку, он долго ее хранил.

Дальше он, стало быть, попал в следующую комнату, к доктору, такому же усталому, как женщина из Красного Креста, доктор осмотрел его, долго выслушивал, а потом сказал: как обычно. Вот так Август угодил в за́мок, который именовали лечебницей, у всех тамошних пациентов была одна и та же болезнь, чахотка, и задержался там мальчик надолго. На целое лето, осень и зиму. Эти времена года он знал, хотя здесь они были не как у них в деревне, не такие красивые.

Слов “тоска по родине” Август не знал, они не приходят ему в голову и сейчас, шестьдесят с лишним лет спу́стя, когда он, размышляя о временах года в родной деревне, сосредоточенно и уверенно ведет большой туристический автобус из Праги домой. Рейс для него один из последних, он достиг пенсионного возраста, и, как ему кажется, его все чаще сопровождают образы родной деревни, где он никогда больше не бывал. Другие из числа его знакомых снова и снова ездили на старую родину, а ему это без надобности, он и так видит то, что хочет: куст бузины, прильнувший к краснокирпичной стене дома, огромное, слегка волнистое, солнечно-желтое хлебное поле. Множество синих васильков и красных маков возле межей. Переменчивые формы облаков на темно-голубом небе. Колонку перед домом. И всегда лето.

Деревенские по привычке называли лечебницу “за́мок”, пациенты же — только “Чахотбург”. Обитатели замка сбежали от русских, говорил народ, а так как после войны у всех и каждого был туберкулез, говорила старшая сестра, за неимением лучшего приходилось использовать под лечебницы такие вот неподходящие постройки. Правда, персонал, вообще-то крайне необходимый, опять же по волшебству не появится, говорила старшая сестра. Она была пухленькая, но очень шустрая и умудрялась присматривать за всем. Август не замечал, что персонала слишком мало, он лежал в мужской

палате, где командовала сестра Эрика, а она приучила своих пациентов многое делать самим. В конце концов большинство ведь не лежачие. Поэтому они сами мылись, сами застилали постели, а иной раз и пол подметали. Ну да это еще никому не вредило. Лицо у сестры Эрики было угловатое, щеки впалые, а голова вся в мелких кудряшках. От природы, говорила она. Август думал, что у нее какое-то горе, о котором она никому не хотела рассказывать, но его это не занимало, ведь у каждого, кого он встречал в ту пору, было какое-то горе. Надо справляться своими силами, говорил господин Григоляйт, чья койка стояла напротив Августовой, он тоже был из Восточной Пруссии, и оттого Август считал его вроде как дядей. Лохматые усы над верхней губой подчеркивали его добродушие.

Август отчетливо видит перед собой людей, которых встречал тогда, отчетливее большинства других, с кем сталкивался за долгие последующие годы. Само собой разумеется, он прекрасно помнит Лило. Но когда именно увидел ее впервые, уже запамятовал.

Должно быть, осенью, во время обеда в рыцарском зале, так больные называли большую столовую, где по стенам еще висели портреты предков сбежавшего владельца замка, самые давние — в кольчугах и рыцарских шлемах. Там все обитатели замка ровно в двенадцать собирались на обед, если то, что им подавали, заслуживало такого наименования. Возможно, там он впервые и увидел Лило. Правда, это вовсе не означает, что он сразу же обратил на нее внимание. Наверняка она сидела среди пациенток из женской палаты, как обычно, рядом с Ингелорой, которую хорошо знала. Немудрено, говорила старшая сестра, от нее-то она и заразилась. Обе еще в школе сидели рядом, шушукались над книжками. А ведь Ингелора — опаснейший источник инфекции. Старшая сестра любила вставлять медицинские словечки и тем отличалась от прочих обитателей замка, которые ничего в этом не смыслили. Но Лило совершенно не в обиде на Ингелору. Нынче ведь всё судьба. Никто ни в чем не виноват.

Немногочисленные дети, направленные в Чахотбург по причине загадочного “туберкулеза лимфатических узлов корня легкого” — болезни, о которой Август впоследствии никогда не слыхал, — сидели за длинным столом между женщинами и мужчинами. Август до сих пор не забыл, что сидел между Клаусом и Эде, но тщетно пытается вспомнить, чем их, собственно, кормили. Вряд ли еды было много, досыта они никогда не наедались, но повариха все-таки была, а у нее, пожалуй, имелись картошка, свекла, морковь и капуста, блесток

жира в супе никто не видал, и очень сомнительно, случалось ли им вообще когда-нибудь есть мясо.

Впервые он обратил на Лило внимание, когда она заспорила со старшей сестрой. Та вздумала запретить обитательницам женской палаты поджаривать сухие куски хлеба на печурке-буржуйке, стоявшей у торцевой стены просторного помещения. Лило не понимала причин запрета, находила его чрезмерным и так прямо и сказала старшей сестре. Старшая сестра отвечала за порядок и безопасность во всех палатах, но Лило заявила, что эти непропеченные куски можно съесть, только если немножко их поджаришь. Ясно ведь, что намазать их нечем — масла нету, а дневные порции свекольного повидла съедали еще за завтраком. И все равно! — воскликнула старшая сестра, а Лило просто отвернулась и ушла в палату. Поджаривание хлеба продолжилось. Эту стычку Август наблюдал с порога мужской палаты, расположенной напротив женской, через коридор. До сих пор ему даже в голову не приходило, что можно перечить старшей сестре.

Лило казалась Августу красавицей, он и сейчас так о ней думает, сидя на водительском месте в туристическом автобусе, везущем из Праги в Берлин группу развеселых пенсионеров. Им совершенно неохота слушать, что́ госпожа Рихтер, сопровождающая группу, рассказывает об Эльбских Песчаниковых горах, они предпочитают показывать друг другу сувениры, по сходной цене купленные в Праге, а потом затягивают песню. Тон задает господин Вальтер, он даже встает в своем первом ряду, поворачивается лицом к остальным и дирижирует хором, который во все горло распевает “На Люнебургской пустоши”. Августу больше по нраву тишина в автобусе, самое милое дело — когда пассажиры спят. Дорога, идущая вдоль Эльбы, ему очень нравится, в любое время года и при любом освещении. Певцы у него за спиной ничего вокруг не замечают. Он переглядывается с госпожой Рихтер — они часто ездят вместе, — та пожимает плечами и падает в свое кресло. Микрофон ей больше не понадобится.

Лило тоже любила петь, из женской палаты частенько доносилось пение. Август хорошо помнит, как прокрадывался в женскую палату, первый раз с замиранием сердца, и как после, когда никто его не прогнал, спокойно сидел на стуле возле буржуйки и слушал пение. Порой Ильза, которая училась на медсестру, становилась рядом и тоже слушала, порой и она пела, когда Лило заводила народную песню, например “Кто в радости бродить желает”, слова Август и теперь помнит, но с тех пор ни разу не пел. Да и где, и с кем? Труда была не мастерица по части песен. Но он никогда не забудет,

как после пения Лило мимоходом обратилась к нему: ну, тебе, видно, нравится музыка? А потом спросила, как его зовут, и он, конечно же, назвал ей свое имя: Август. И она повторила это имя, и прозвучало оно совсем иначе, чем когда его произносили другие, и позднее он всегда с удовольствием слышал свое имя из ее уст. Ведь с того дня он к ней привязался.

Хвостом за ней ходил, можно и так сказать, и ему было все равно, замечала ли она это и хотела ли вообще, — он иначе не мог.

Пришла зима, Чахотбург стал Ледяным дворцом. Старшая сестра без конца корила власти за то, что они сплавили легочных больных в болотистую местность, где по осени из земли поднимаются ядовитые испарения, и что теперь, зимой, похоже, задумали всех тут заморозить. Старого доктора, который раз в неделю приезжал из Больтенхагена, чтобы сделать рентген самым тяжелым пациентам, а самым-самым тяжелым — пневмоторакс, она заставляла слушать ее жалобы, пока они шли по длинному коридору в процедурную. Мол, здешний климат неизбежно ведет к простудам, усугубляющим первичную инфекцию, из-за которой все они здесь очутились, и — доктор не станет оспаривать — зачастую имеющим катастрофические последствия. Доктор не оспаривал, он вообще ничего не оспаривал, соглашался, что немного больше жиров способствовали бы излечению легочного заболевания, только вот старшая сестра не могла ему сказать, где взять жиры. Жиров не было, в первый-то послевоенный год, ни для здоровых, ни для больных. Старшая сестра умолкала и по очереди вызывала пациентов, назначенных в этот раз на просвечивание, во врачебный кабинет, где посередине стоял аппарат, к которому надо было прислониться обнаженным корпусом, меж тем как доктор, стоя по другую сторону, рассматривал на экране светящуюся зеленым внутренность этого корпуса и диктовал старшей сестре, что видит. У Лило он видел в третьем межреберном промежутке инфильтрат, впрочем, полагал, что ее дела не так уж и плохи, поскольку за минувшие недели инфильтрат не развился в каверну, что, к сожалению, нередко имело место у других пациентов. Например, у Габи, лучшей подруги Лило, наряду с Ингелорой. Габи была худенькая, дунь — упадет, неодобрительно говорила старшая сестра, и, как и следовало ожидать, из безобидного затемнения, с каким она поступила, не ко времени быстро развилась каверна, о которой Габи ни в коем случае знать не надо, но вот Лило была в курсе. По причине нехватки персонала она стала в Чахотбурге чем-то вроде помощницы медсестры. В ее обязанности входило через

предписанные промежутки времени списывать результаты РОЭ с пробирок, которые стояли в деревянном штативе в кабинете у старшей сестры и давали врачам важные данные для диагнозов. Поскольку Августу хотелось знать все, что связано с Лило, он не отставал от нее, пока она бегло не посвятила его в тайны оседания эритроцитов. Через равные промежутки времени замеряли уровень красных кровяных телец в пробирке, и чем выше был показатель, тем хуже. Куда лучше, когда он, как у самой Лило, не превышал десяти, это идеал, говорила старшая сестра. Однако она не могла воспрепятствовать тому, что теперь Лило знала, сколь плохи дела у других пациентов. Старшая сестра взяла с нее клятву молчать — иного выхода она не нашла, — и Лило, кстати говоря, свое слово держала. Август относился к этому с полным пониманием и огромным уважением. Ведь Лило могла вести себя только образцово.

Стало быть, ни сло́ва Габи о ее РОЭ или о том, что старый доктор отказался делать ей пневмоторакс, то есть закачать в легкое воздух и сдавить худые места, как их называла старшая сестра, а тем самым лишить бациллы жизненной почвы. Да Габи и не спрашивала, не в пример большинству. Веселушка, вздыхала старшая сестра. И действительно, из угла, где во время лежания на воздухе устраивались рядышком Лило, Ингелора и Габи, часто разносились по палате взрывы смеха. Нравилось это не всем. Например, фройляйн Шнелль, которая сидела в постели и, вооружившись пинцетом, истребляла бороду, пышно произраставшую у нее на подбородке, находила поведение трех подружек просто беспардонным. Зависть неимущих, говорила Габи.

У нее, кстати, на всем свете никого не было, Август выяснил, что она одна-одинешенька, как и он. Услышал от нее самой, когда, как часто бывало, сидел на стульчике в женской палате, куда пробирался все чаще, пока в конце концов на него уже не обращали внимания и даже не думали выгонять. Мать Габи тоже умерла, после бегства. И, конечно, тоже от чахотки, в другой больнице, где Габи лежала в одной палате с Лило. А Лило успела узнать то, что теперь слышал и Август: раньше Габи с матерью обретались в жалкой съемной комнатушке у злющей хозяйки. У них там даже не было возможности толком вымыться. Эта мелочь запомнилась Августу и вспоминается вновь, когда он заруливает на своем автобусе в окрестности Дрездена. Скоро остановка, надо будет выходить, а пенсионеры за спиной спят, знакомая история. В Чахотбурге мы могли помыться, думает он, хоть и холодной водой, это закаляет, говорила старшая сестра, которую он

видит перед собой, как и мрачную умывальную с оббитыми раковинами. Еще долго после войны у него не было собственной ванной, сперва годы в детском доме, о которых он вспоминать не любит, потом народное предприятие, учеба на слесаря, общежитие для учеников, общественные душевые, другого Август не знал.

Он еще помнит, как по счастливой случайности ему однажды пришлось подменить сопровождающего на заводском грузовике, поскольку коллега заболел. И как ему понравилось ездить по стране. Впервые ему что-то понравилось, он не забыл. И впервые чего-то захотелось. Захотелось стать водителем грузовика. Впервые он не стал дожидаться, куда его пошлют другие. Сам пошел в отдел кадров, до сих пор прямо воочию видит сотрудника, который листал его личное дело, медлил. Да, конечно, водитель — профессия очень ответственная, я знаю, сказал Август, который обычно редко открывал рот. Да, на предприятии, конечно же, есть своя автошкола, это Август тоже знал, но очередной набор полностью укомплектован, разве что кто-нибудь откажется. Каждый день Август ходил в отдел кадров и спрашивал, не отказался ли кто, и в один прекрасный день, незадолго до начала курса, сотрудник помахал перед ним бумагой, уже заполненной на его имя и дававшей ему право учиться в автошколе, а в итоге и самостоятельно управлять грузовой машиной. Август не привык радоваться, ощущение было незнакомое. В последнее время он часто об этом думает.

Помнит Август и как Лило изменилась в лице, когда Габи однажды не разрешили приходить в общую столовую. Это временно, сказала она Габи, призвав в свидетели сестру Ильзу, которая отныне приносила Габи еду в постель. Ильза неловко кивнула, но Август слышал, как за дверью она чуть не со злостью сказала Лило: при таком-то РОЭ! Словно Лило виновата в Габином РОЭ. А Лило, вместо того чтобы пойти в столовую, вернулась к Габи и постаралась скормить ей как можно больше еды, ведь Габи начала отказываться от пищи. Лило могла быть очень мягкой, а потом вдруг очень грубой, Август сам слышал. Ей, Габи, не мешает хоть разок подумать о том, сколько людей сейчас были бы рады получить на обед такую порцию. Конечно, никому не понравится каждый день есть брюкву, надо просто представить себе, что это картошка с маслом и горошком или что там она любит. Рисовая каша на молоке, с сахаром, корицей и сливочным маслом, чуть ли не испуганно сказала Габи, а Лило: ну вот. Хотя бы так. И кормление продолжилось. Потом они немного попели, Габи спела свою любимую песню: “Мой папа — клоун замечатель-

ный — артист мой папа хоть куда". А когда Лило с тарелкой вышла из палаты, впору было подумать, она плачет, потом она нечаянно уронила тарелку на каменные ступеньки, и Август помог ей собрать черепки. Ты, похоже, всегда поблизости, сказала тогда Лило Августу, и он кивнул.

Она не сердилась, не прогоняла его, и женщины в женской палате уже посмеивались над ними обоими: Лило, мол, принцесса, а Август — ее паж. Август не знал, кто такой паж, но, когда Лило спросила его об этом, вспомнил сказку "Спящая красавица", которую как-то раз читала ему мама. Лицо мамы он уже почти забыл, однако вдруг отчетливо увидел перед собой ее руки, державшие книгу. Лило книга не требовалась, она рассказывала сказку наизусть, вечером, на сон грядущий, в детском уголке мужской палаты. Ничего лучше Август и вообразить не мог, только вот приходилось делить это чудеснейшее переживание с другими детьми, с Клаусом и Аннелизой, да и с Эде. И под конец Лило подходила к постели каждого из детей и желала доброй ночи всем, а не одному Августу. При том что он был уверен, она принадлежит ему. Ну как же он не понимает, укоряла Лило, ведь Клаус и Аннелиза, мать которых, госпожа Витковски, лежала в малой женской палате, куда по молчаливому уговору помещали самых тяжелых пациентов, тоже имеют право на колыбельную, а про Эде и говорить нечего, этот Эде даже имя свое не помнил, когда его вытащили из колонны беженцев, где никто его не знал. Или не хотел знать. Потому что, как говорила старшая сестра, Эде был ребенок дикий, от такого, кроме неприятностей, ждать нечего. Каши с ним не сваришь. Не было у него ни дня, ни места рождения, ни фамилии. Когда ему дали листок бумаги и карандаш, он накарябал: ЭДЕ, то есть, возможно, успел месяц-другой поучиться в школе. Он получил фамилию Финдлинг, Найденыш. Эде Финдлинг, вполне подходяще. С дефектом мальчонка, сказала старшая сестра, вообще-то ему надо бы совсем в другое место. Но Лило сказала, что с головой у Эде все в порядке. А дефект возник из-за пережитого, оказавшегося ему не по силам. Потому он все и забыл. Ни с того ни с сего Эде нападал на людей, дрался, царапался, плевался, двое мужчин только и могли его угомонить.

Вечерами, когда Лило пела колыбельную, он лежал тихо. Когда же она хотела пожелать ему доброй ночи, отворачивался. Август на дух Эде не выносил, однако о том, чтобы Лило предпочла Эде другим детям, не было и речи. Тут Август мог не волноваться. Хуже обстояло с Ханнелорочкой, во всех отношениях. Ханнелорочке было лет пять, не больше. Когда девочку нашли, на груди у нее висел мешочек с документами.

Там же лежало письмецо, написанное ее матерью и адресованное незнакомому доброму человеку, который отыщет Ханнелору, если с ее мамой что-то случится. Пусть он позаботится о ребенке, Господь не забудет его доброту.

Окрестности больших городов Августу не по душе. Огромные уродливые торговые центры с необозримыми парковками. Автосалоны, норовящие переплюнуть друг друга в рекламных слоганах. Рестораны быстрого питания, куда Август ни ногой. Большей частью он берет с собой бутерброды, правда сделанные не так заботливо, как при жизни Труды. Сейчас он еще не проголодался.

Надо сосредоточиться на пригородной автостраде, где движение год от года все интенсивнее, на стройках, которым конца нет, они только меняют местоположение. На пробках, которые из-за них возникают и затягивают рейс. Август хранит спокойствие. Он человек терпеливый. У тебя ангельское терпение, частенько говорила ему Труда. Он никогда не выходит из себя. И коллеги это ценят. Иногда, наверно, считают его немножко занудливым. Да скажи ты хоть что-нибудь, подталкивали они его поначалу, когда сидели все вместе в обеденный перерыв. Но что говорить-то? На жену жаловаться? Рассказывать о расставании с нею? Сетовать на ссоры с детьми? Детей они не имели, так вышло, это им с Трудой даже обсуждать не пришлось. Все у них было. А когда два года назад Труда умерла, он тем более ни с кем не мог говорить.

Ханнелорочка занимала самую маленькую палату, одна, и все принимали это как должное. Бурно и бесконечно обсуждая собственные болезни, результаты анализов, возможные сроки выписки, о Ханнелорочке они не упоминали никогда. Словно ее и не было. Только Лило, конечно же, составляла исключение. Августу вовсе не нравилось, когда Лило шла в палату Ханнелорочки, он знал, что она поет ей песни или читает вслух. Знал и что ему заходить туда нельзя. Так продолжалось, пока однажды старшая сестра не вызвала Лило в коридор, прямо посреди чудесной песни “Вышел месяц”, даже до конца допеть не позволила, велела выйти и выслушать, что визиты к Ханнелорочке надлежит сию же минуту прекратить. Разве Лило неизвестно, как тяжело больна эта девочка, как заразна. Неужели ей хочется подхватить новую инфекцию?

Нет, этого Лило не хотела. Но ведь нельзя же вот так просто бросить Ханнелорочку — что та подумает? Лило будет стоять возле двери, подальше от Ханнелорочкиной койки, где чахоточные бациллы, понятно, кишмя кишат. Именно так она и делала, что бы там ни говорила старшая сестра. Знаете, сказала Лило как-то под вечер, какая у Ханнелорочки

любимая присказка? “Ах, дружочек, три конфетки в кулечек”. Но у них-то и трех конфеток для нее не было. Когда Лило с ней прощалась, девочка говорила: “Бог с тобой, катись колбасой”. Мамаша у нее, видно, шутница была, сказала старшая сестра. Вскоре сестра Ильза отказалась брать у Ханнелорочки кровь, и сестра Эрика тоже заявила, что не в состоянии ввести иглу в эту тоненькую ручку. А значит, Лило не могла считать с пробирки очередное РОЭ Ханнелорочки, но, пожалуй, в этом уже не было нужды. Так Лило сказал Харри. Она расстроилась. Но гулять с Харри все равно ходила.

Дрезден. Август еще помнит этот город в развалинах. Помнит все этапы его восстановления и любит здесь бывать. Знает, как лучше всего проехать в центр, где припарковаться, высадив пассажиров у “Итальянской деревушки”, где им непременно захочется пообедать. Они приглашают и его, но он отказывается. Покупает в ларьке жареную сардельку и не спеша идет к церкви Девы Марии. Бывая в Дрездене, он всегда ходит к церкви Девы Марии. В свое время поверить не мог, что ее сумеют восстановить, и то, что теперь она почти завершена, берет его за душу. Он неверующий, в церковь они с Трудой никогда не ходили и не венчались, сотрудник загса был суховат, зато потом они выпили в хорошем ресторане по бокалу шампанского, впервые в жизни, и были в хорошем, почти праздничном настроении. А что эта церковь теперь поднимается из руин, Август воспринимает как утешение, хотя и не сумел бы сказать в чем. И позднее, когда он стоит на Брюльской террасе и смотрит на облачные громады над Эльбой, ему хорошо.

Отъезд вовремя, минута в минуту. Проезжая мимо треугольника Шпреевальда, Август всякий раз невольно думает о том, какие чудесные дни они с Трудой однажды провели в Шпреевальде. Из дома они уезжали нечасто, с какой стати еще и на отдыхе куда-то мотаться, да и Труда по натуре была скорее человеком оседлым. Тем ярче запечатлевались картины немногих путешествий. Большей частью они проводили отпуск у себя на балконе, который Труда с огромной любовью превратила в цветочный оазис. Когда оба под вечер сидели там, пили кофе с домашним пирогом и Август выказывал удовольствие, она порой говорила, что он вправду непритязателен. Он прожил хорошую жизнь, с этим никто не поспорит. Август не знает, изменился ли он с тех пор, как был ребенком, но точно помнит, что однажды Лило сказала ему: тебе, видать, вообще всегда мало.

Так и есть: что бы она ни делала — пела ли детям песни, рассказывала ли сказки, читала ли стихи, — Августу всегда было ма-

ло. Он упрашивал до тех пор, пока она не повторяла его любимое стихотворение и у него снова не пробегал мороз по коже на заключительной строчке: “В руках его мертвый младенец лежал”[1]. Аннелиза и Клаус больше любили стихотворение про ученика чародея, целый спектакль разыгрывали, и даже Эде участвовал, когда они изображали потоки воды. Но однажды вечером новое стихотворение превзошло все, что Лило декламировала до сих пор, Август до глубокой ночи повторял, что́ там происходило. Он не знал, кто такой тиран, но понял, что один друг был готов рискнуть жизнью ради другого. Зловещие строки, которые Август сразу же запомнил наизусть: “Останется друг мой порукой, солгу – насладись его мукой”[2]. Никогда еще он так не боялся, как за жизнь этого друга, никогда не испытывал такого счастья, как когда верность друга спасла ее. На следующий день он подошел к Лило и спросил: мы друзья? А она погладила его по голове и сказала: да.

И все равно ходила гулять с Харри, и Август страдал от подозрения, что и тот может быть ей другом. Неприветливой, дождливой, холодной осенью они бродили по запущенному парку и разговаривали. О чем Лило могла говорить с этим Харри, ведь тот с его волнистыми белокурыми волосами и горбатым носом определенно не был красавцем, вдобавок то и дело кривил рот, потому что надо всем насмехался, и не умел говорить, не размахивая руками. Лило неодобрительно, искоса смотрела на него, но слушала.

Август не помнит, чтобы той осенью хоть разок светило солнце, шквальный ветер все время швырял в оконные стекла потоки дождя, с треском обламывал гнилые сучья старых деревьев, оголившихся раньше срока, а в болотистых низинах вокруг замка стояли огромные лужи. Сущая беда, говорила старшая сестра, наказывать надо тех, кто послал легочных больных в такое место. Так она без обиняков говорила во время обхода и молодой докторше, но та только плечами пожимала. Куда властям прикажете девать больных?

Между прочим, радоваться надо, что госпожа докторша вообще навещала больных. Что не сидела весь день у себя в комнате на верхотуре, мучаясь похмельем после возлияний минувшей ночи. Сплошь слова, которые Август впервые услышал от старшей сестры и по поводу которых дети долго шушукались между собой. Сами они видели, как госпожа докторша рано утром блевала через балюстраду террасы, при-

1. И. В. Гёте. Лесной царь. Перевод В. Жуковского. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Ф. Шиллер. Порука. Перевод В. Левика.

мыкавшей к столовой, где она всю ночь пировала со своими приятелями, причем довольно шумно. Такого слова, как тактичность, она, по мнению старшей сестры, знать не знала. Регулярно приходили деревенский учитель, аптекарь из райцентра, несколько пропащих людей, занесенных сюда в конце войны. Где они доставали спиртное, которое потребляли в изобилии, одному Богу известно.

Кстати, уродиной она не была, эта госпожа докторша, с длинными темными волосами, стройной фигурой и зелеными глазами. Недаром мужчин тянуло к ней, как пчел к горшочку с медом. И вполне возможно, она теперь стремилась наверстать молодые годы, загубленные войной. Только вот с медициной у нее обстояло иначе. Она быстро пробегала через палаты, не могла запомнить имена пациентов, даже лежавших здесь давно, а уж в историях болезни тем более не разбиралась. Нервно листала карточки, когда старый больтенхагенский доктор о чем-нибудь спрашивал, а пациенты посмеивались, потому что старшая сестра, в точности знавшая все данные, молчала и даже не думала прийти ей на выручку. В конце концов доктор советовался с докторшей, делать ли пневмоторакс тому либо иному пациенту или нет. Позднее в палатах можно было бесконечно спорить на эту тему, ведь опытные пациенты, конечно же, давным-давно составили собственное представление о том, как кого надо лечить. Знали они и что означало, если доктор отказывался от пневмоторакса, хотя каверна у пациента увеличилась, ведь порой болезнь достигала такой стадии, когда ничего уже сделать невозможно. Лекарств-то не было, разве только на Западе, у американцев, как не было и жиров, единственного, что могло помочь. Кстати, фройляйн Шнелль из женской палаты утверждала, что барсучий жир якобы творит чудеса, но где его взять, этот барсучий жир? А из мужской палаты сообщали, что кое-кто выздоровел, так как пил собственную мочу.

Но кое-кто просто умирал. Об этом не объявляли, ни одна из сестер слова не говорила. Странная тишина растекалась вокруг, обычно такой не бывало. И всегда находились один-двое, что предвидели вот именно эту смерть, но даже они некоторое время молчали, хотя и не дольше одного дня. Пока гроб не выносили вон. Когда это произойдет, обитатели замка узнавали из так и не установленного источника. В указанный час все собирались у окон, выходивших на черный ход. Там уже стояла обитая черным двухколесная тележка, на которой гроб повезут в парк, в маленькую часовенку. Рядом с тележкой стояли те, кто ее повезет: дворник Карле и двоетрое пациентов из мужской палаты. Август заметил, что без

Харри тут никогда не обходилось. Но смотрели все только на гроб: как покойника вынесут из дома — головой или ногами вперед. Ведь если вперед ногами, то скоро будет следующий покойник, поспешит вдогонку, так сказать. Это уж точно.

Конечно, детям не надо бы видеть все это и слышать, их снова и снова прогоняли, но они всё видели и слышали и шушукались об этом. Август, который по желанию пенсионеров сделал остановку и теперь разминает ноги на опушке чахлого сосняка, видит все это перед собой, как в кино. А ведь сколько всего забылось, потому что и запоминать не стоило, думает он. Но все, связанное с Трудой, он хорошо помнит, словно было это только вчера. Как она сидела за кассой ночного магазина, всегда в белом халате. Как он после смены всегда шел туда за покупками. Как она стала узнавать его в лицо и здороваться. Как помогала ему складывать покупки в сумку, потому что он действовал очень неловко. Как однажды они вместе вышли из магазина и она еще немного прошла вместе с ним, поскольку оказалось, что им по дороге. И что в браке оба не состоят. Труда была годом старше его. Однажды она поднялась к нему, поскольку он понятия не имел, как приготовить блюдо, продукты для которого она ему продала. Вот, стало быть, и приготовила на двоих кёнигсбергские биточки, они вместе поужинали, биточки вышли на славу, пальчики оближешь, но потом — ничего. Только этого и недоставало, подумал Август, так он думает и сейчас.

Всё, едем дальше. Пенсионеры приободрились. Автобус подъезжает к окрестностям Бестензее, где родилась и выросла Труда. Пенсионерам опять не терпится спеть, “Анхен из Тарау” знают почти все, Август тоже. Он вдруг осознает, что со времен лечебницы, где дети пели вместе с Лило, почти никогда не пел. Взрослый мужчина не поет, если не выпивши. Труда на кухне иногда мурлыкала за работой, а порой и напевала, “Прекрасная садовница, зачем ты слезы льешь” или “Три лилии, три лилии на гроб свой посажу”, это Августу всегда нравилось, ведь он знал тогда, что Труде хорошо.

Когда в ноябре вынесли гроб с Габи, Лило под проливным дождем проводила его до часовни. А потом на весь день исчезла, как Август ее ни искал. Оставь ее нынче в покое, малец, мимоходом сказала ему старшая сестра, и Август забился в постель, а господин Григоляйт сказал: смерть — суровый судия.

Но эта смерть имела и хорошие последствия, хотя думать так непозволительно, Август уже знал. Лило прекратила прогулки с Харри, а если он подкарауливал ее в парке, поворачивалась и уходила, причем разрешала Августу ее сопровождать. Об этом судачили все, и Август, конечно, тоже узнал, что про-

изошло. В Чахотбурге устраивали испытание мужества: в первую ночь, когда очередной покойник лежал в часовне, самые храбрые в полуночный час пробирались туда и дотрагивались рукой до гроба. При этом должен был присутствовать хотя бы один свидетель, а наутро храбрец хвастался своим героизмом. Харри, который всегда из кожи вон лез, лишь бы выпендриться, сообщил своим ближайшим друзьям и Лило, что именно он следующей ночью дотронется до Габина гроба. Лило запретила, очень-очень сердито. Но не́ мог же Харри осрамиться перед своими друзьями — вот и сделал, как посулил, при свидетелях. Те позаботились, чтобы на другой день об этом узнали все пациенты Чахотбурга. Лило, говорят, ничего не сказала, но с Харри больше словом не обмолвилась и тем более не ходила с ним на прогулки. Для нее это было осквернение покоя усопших, сказал господин Григоляйт. А Харри он назвал бесчувственным.

Августов автобус катит по окраинным районам Берлина, где движение становится плотным и запутанным. Тут нужен кто помоложе, каждый раз думает он, теперь необходимо хорошенько сосредоточиться, хотя мало-помалу наваливается усталость. Промозглая погода, думает он, все кругом серое. Типично для Берлина. Но думает он так не всерьез, им с Трудой никогда не хотелось жить в другом городе, только в Берлине. Правда, он, по крайней мере так считала Труда, вообще-то крестьянин, которому место на селе. Он слушал это не без удовольствия, и сейчас ему вспоминается, что и Лило однажды назвала его “мой крестьянчик”. Он тогда принес ей несколько картофелин, которые подобрал на соседнем поле, и однажды вечером, когда кухня опустела, они тайком сварили их и съели. Пожалуй, ничего чудеснее Август вместе с Лило не переживал. За это она временами давала ему немножко свекольного сиропа, который ее отец — он только-только вернулся из плена и разыскал свою семью в сарае мекленбургской деревни — как-то раз принес ей в ведерке. Лило знала и рассказала Августу, как, бесконечно размешивая, варили такой сироп на кухне у крестьян, приютивших семью Лило после бегства с Востока. Каждый вечер она съедала чашку сиропа. Наконец-то прибавляет в весе, сказала старшая сестра. Эта сладкая штука может спасти ей жизнь.

А Ханнелорочка умерла, как нарочно, под Рождество. Лило навещала ее в последние дни, не слушая, что говорила старшая сестра. А та говорила, что у некоторых, похоже, есть ангел-хранитель, и Август не сомневался, что Лило как раз из таких. Когда вынесли гробик с Ханнелорочкой, все пациенты, которым разрешалось вставать, собрались в вестибюле и

спели “С небесных высей я гряду”. А господин Григоляйт сказал: Господь прибирает к себе тех, кого любит. Лило напустилась на него: Господь не разбойник. Осмелился ли кто в полночь пробраться в часовню, чтобы коснуться гроба Ханнелорочки, неизвестно. Но Август и теперь уверен, что никто из пациентов не был настолько бесчувствен, чтобы обидеть маленькую покойницу.

Август помнит, что в тот вечер, когда умерла Ханнелорочка, Лило не пела детям колыбельную. Молча сидела, как всегда, на его кровати, и он спросил ее, тихонько, чтобы другие не слышали: тебе грустно? — а Лило тихонько ответила: да. И Август почувствовал и чувствует до сих пор, что никогда не быть ему ближе к Лило, чем в ту минуту, и понял, что печаль и счастье могут смешиваться. Направляясь к Александерплац, он размышляет, случалось ли такое еще хоть раз в позднейшей его жизни. На ум ничего не приходит. Видать, он рано изведал все самое важное в жизни, благодаря той, к кому испытывал смутное чувство, для которого не имел слов. Еще и теперь, спустя столько лет, он не произнес бы это слово, даже мысленно. И называть себя “застенчивым” никогда бы не стал, не его это дело — размышлять о себе. Достаточно того, что Труда иногда смотрела на него по-особенному и он тогда понимал: она видит его насквозь. Помнится, однажды — когда спросила, не пожениться ли им, — она наделила его неким качеством. Сказала: по-моему, ты человек порядочный. И эта фраза оставалась в силе все годы их брака.

Однажды Август услышал, как один коллега сказал другому о нем: дескать, мужик умом не блещет. Он не обиделся. Ведь для него это не новость. Лило давным-давно сказала ему: Август, школьная наука не про тебя, — сказала после первых же уроков в школе. Дело в том, что в деревне, к которой относился замок, из-за массы беженцев не осталось свободных помещений, вот они и устроили классную комнату в замке, где молодой, кое-как подготовленный учитель занимался с детьми из деревни и из Чахотбурга. Звали учителя господин Бауэр, он и сам выглядел как школьник, думал Август, которому молодой учитель был симпатичен. К сожалению, и Лило, кажется, разделяла эту симпатию, во всяком случае, она почти всегда присутствовала на уроках и в случае чего помогала господину Бауэру. Август слышал, как она называла учителя по имени, Райнер, и это ему совсем не нравилось. Когда Лило узнала его имя? Может, и учитель тоже зовет Лило по имени?

Впрочем, Август не мог не признать, что помощь Лило на уроках зачастую вправду оказывалась кстати. Дети в большинстве были из беженских семей и давно забыли, что такое шко-

ла. Сущие разбойники, говорила старшая сестра, когда они с неистовым шумом топали то вверх, то вниз по лестнице замка и когда с террасы второго этажа, на которую выходила классная комната, швыряли вниз мокрые скомканные тетрадные страницы. Их ничуть не интересовало, каких трудов стоило добыть школьные тетради. Дикари, говорила старшая сестра, неисправимые дикари. Август, конечно, не участвовал в подобных выходках. Клаус и Аннелиза, тоже дети из Чахотбурга, опять-таки держались в сторонке, а вот Эде всякий раз совершенно терял голову, так что господину Бауэру и Лило едва удавалось его усмирить. Разумеется, в этом крайне слабом классе он был одним из слабейших. Но в отличие от Августа, который молчал, если не мог ответить на заданный вопрос, Эде изобретал наглые ответы и упорно на них настаивал. В один прекрасный день господин Бауэр раздал ученикам тетради с диктантом, который они писали несколько дней назад. Назвал результаты "весьма огорчительными" и, похоже, сам огорчился из-за этих результатов. В тетради у Августа были почти сплошь красные чернила, и Лило, отдавая ему тетрадь, только сокрушенно пожала плечами. Честно говоря, он почти ни одно простенькое слово не сумел написать правильно, и оценка "пять"[1] была, увы, вполне оправданна. Но Эде господин Бауэр, хочешь не хочешь, поставил "шестерку", а тот, увидев ее, от ярости разревелся, схватил тетрадку, выбежал на террасу и вскочил на низкую каменную балюстраду, угрожая прыгнуть вниз. В классе вдруг настала гулкая тишина, слышно было только, как Клаус сказал: и ведь прыгнет.

Август увидел, как господин Бауэр побелел, как Лило бросилась к двери на террасу, и услышал, как она принялась урезонивать Эде. Мол, оценка в тетради не настолько важна, чтобы из-за этого прыгать в окно. Эде закричал, что он вечно хуже всех, что все его на дух не переносят, что с него хватит. Я прыгну! — угрожающе крикнул он. Август видел, как Лило мелкими шажками приближается к Эде и все время говорит с ним, тоном, какой Август так любил. Неужели он не верит, что она хорошо к нему относится? Неужели не представляет себе, как она огорчится, если он сейчас прыгнет? А сколько замечательных вещей они могут сделать сообща.

Эде вроде бы слушал ее, но виду не подавал и то и дело выкрикивал: сейчас прыгну! — потом размахнулся и швырнул вниз тетрадь с диктантом. Ничего, мягко сказала Лило, я дам тебе новую тетрадь с правильными словами. — Сейчас прыгну!

1. Соответствует нашей единице.

Я знаю, ты хочешь прыгнуть, сказала Лило, но раз я тебя прошу, может, останешься с нами, ради меня? Она уже подошла совсем близко к Эде, так близко, что, сделав еще один шаг, оказалась рядом, обхватила его и стащила с балюстрады. Секунду она еще обнимала Эде, а потом просто взяла за плечо и отвела обратно в класс, на место. Август видел, как она сделала господину Бауэру знак, чтобы он ничего больше не говорил, тот понял и продолжил урок, будто ничего не случилось. И весь класс до конца урока сидел тихо-спокойно.

С тех пор как они въехали в город, снаружи становится все темнее, Августу приходится включить фары, а на встречной полосе он видит длинную вереницу двойных огней. С недавних пор он к этому времени устает, просит госпожу Рихтер плеснуть ему кофейку из термоса и пьет, что идет ему на пользу. Между тем они уже минуют основательно санированный Восточный вокзал. Август перекидывается словечком-другим с госпожой Рихтер, о пассажирах, на которых жаловаться не приходится, о погоде. Наверно, еще сегодня пойдет снег. Ноябрь как-никак, вполне можно ожидать. Они всегда и всего ожидают, говорит госпожа Рихтер, которая очень хорошо знает Августа. Он же в свою очередь знает о ее сложных отношениях с вероломным партнером, которого она все равно любит. Этого Август не понимает, но судить не берется, внимательно слушает, если госпоже Рихтер опять необходимо отвести душу. Нет у нее никого, кто умеет так слушать, как он.

Письменные навыки он так и не осилил, хотя Лило вечерами упражнялась с ним и с Эде в орфографии. С одной стороны, он радовался этим урокам, когда внимание Лило почти целиком обращалось на него, с другой — ему мешало присутствие Эде. Тот учиться не желал и успевал еле-еле, тогда как он, Август, все-таки скромно продвигался вперед, так что позднее, в настоящей школе, обычно писал диктанты на “четверку”. Зато читал хорошо, и Лило часто его хвалила. Конечно, с Клаусом и Аннелизой он равняться не мог, оба они были белокурые, голубоглазые, бойкие и всем нравились, господин Бауэр ставил им хорошие отметки, к тому же рядом с ними была их мать, лежала в малой женской палате, и находились-то они здесь, собственно, из-за матери и оттого, что никто не знал, куда еще можно бы их пристроить. Август слышал, как старшая сестра говорила об этом Лило, которая, похоже, знала, почему мать Клауса и Аннелизы лежит в малой женской палате, куда обычно помещали только тяжелых больных. Глупости, сказала старшая сестра, очень уж точно не рассортируешь, коек-то в обрез. Правда, делать матери Клауса и Аннелизы пневмоторакс старый больтенхагенский доктор все-таки отказался.

Август помнит, что в семейной жизни писаниной неизменно занималась Труда. Если я вдруг умру раньше тебя, порой говорила она, тебе придется объявить себя недееспособным. Сейчас ему стоит большого труда одолеть скудную переписку, какую он вынужден поддерживать. По счастью, один из соседей работает в центре занятости и в случае чего приходит на выручку. Вообще, когда требовалась помощь, он постоянно сталкивался с людьми, готовыми ее оказать, думает Август. Но список друзей, которых он сейчас мысленно перечисляет, невелик. "Пивных" вечеров, на которых встречались коллеги, он избегал, изредка они — он и Труда — участвовали в коллективных экскурсиях. Как-то раз проплыли по Дунаю из Вены в Пассау, и он был в восхищении от оборудования парохода.

Снег-то и впрямь пошел, ветер гонит мимо окон первые снежинки. Пассажиры в автобусе считают, что с этим святой Петр мог бы и подождать, пока они не доберутся до дома. Снегопад быстро густеет, оборачивается метелью, Август включает дворники на полную мощность, иначе они не справятся. Впрочем, ехать осталось всего несколько сотен метров.

Возле бюро путешествий на Александерплац — конечная остановка. Пассажиры, хочешь не хочешь, выходят в метель. Тем, кто плохо ходит, Август помогает с багажом. Кое-кто пытается сунуть ему чаевые, но он не берет, а вот словесные благодарности принимает. На прощание он и госпожа Рихтер машут друг другу рукой. Августу надо еще отогнать автобус в гараж у автобусной станции, он сдает машину механику, а тот расспрашивает о технических неполадках. Не было неполадок, отвечает он. О'кей, говорит коллега. Видимо, верит Августу на слово.

Старый "фольксваген" стоит на парковке рядом с автобусной станцией, весь в снегу. Август сперва освобождает его от мокрой шубы, потом садится за руль и встраивается в густой поток автомобилей, дорогу домой он знает наизусть, проедет с закрытыми глазами. Сегодня времени потребуется больше обычного, многие водители не могут приспособиться к скользкой мостовой, то и дело кого-нибудь заносит поперек дороги, снова и снова возникают мелкие заторы. В такую погоду да в час пик город грязен и враждебен.

Вот и замок с окрестностями, по выражению старшей сестры, наводил в такую погоду безнадежное уныние. Поневоле с ума сойдешь, говорила она. Неудивительно, когда люди вокруг мрут просто потому, что нет у них охоты жить в этаких потемках. В такую погоду, Август отчетливо помнит,

умерла и мать Клауса и Аннелизы, носильщики небрежно вынесли ее ногами вперед и пробирались к часовне сквозь метель, а в полночь, скорей всего, никто туда не ходил и гроб не трогал, погода-то канальская. По крайней мере, так твердил господин Григоляйт, утешая Клауса и Аннелизу. Время все раны лечит, сказал он, а уж в их-то юные годы вся жизнь еще впереди, да и не зря Господь даровал нам забвение. Только одно им надо знать: никогда их мама не уйдет в вечность, не попрощавшись со своими детьми. Будьте уверены, на третью ночь после ее смерти кое-что произойдет.

На третью ночь, в полуночный час, что-то трижды глухо ударило по изножью коек Клауса и Аннелизы. Господин Григоляйт был очень доволен. Вот теперь она попрощалась, сказал он. Теперь отпустите ее с миром.

Старшая сестра за голову схватилась, но промолчала, и Лило тоже промолчала, хотя рассердилась, Август безошибочно чувствовал. Неожиданно он осознает, что может перелистывать эти давние истории, как книгу с картинками, ничто не забыто, ни одна картинка не поблекла. При желании он все видит перед собой — замок, широкие полукружья лестниц, каждое отдельное помещение, расположение коек в палате, где лежала Лило. С тех пор как умерла Габи, там больше не пели, а после того, как Клауса и Аннелизу перевели в настоящий детский дом, и ему, и Эде стало совсем неинтересно слушать вечерами сказки и песни Лило. Да и ей это не доставляло удовольствия, Август видел. К весне выписали и Ингелору, она не выздоровела, но ее родители переехали в более отдаленный город и забрали ее с собой. А у Августа сердце так и екнуло, когда он услышал, как старшая сестра сказала Лило, что РОЭ у нее теперь совершенно нормальное, как у здоровой. Он смекнул, что́ это значит.

Вот наконец и Марцан, здесь Август живет больше двух десятков лет, ему нравится, он и не думает переезжать, не в пример многим соседям. Две комнаты, кухня, ванная, им с Трудой вполне хватало. Балкончик. И вид из кухонного окна на широкую равнину до опушки леса. Он знает, где можно припарковать машину. Знает в своем подъезде каждую ступеньку до третьего этажа, где живет.

На прощание Лило дала ему свой адрес. Он сказал ей, что она не должна его забывать. Конечно, ответила она и обняла его. Я тебя не забуду, Август. Тарахтящая санитарная машина, доставившая новых пациентов, увезла ее на станцию. Последнее, что он видел, была ее рука, махавшая из окна синим шарфом, который она всегда носила на шее. А Август думал, что теперь радость ушла из его жизни навсегда.

Он сует ключ в замок своей квартиры. Мало радости возвращаться в пустой дом. Ничего, привыкнешь, сказали ему, когда умерла Труда. Август не привык. Всякий раз ему приходится делать над собой усилие, чтобы по возвращении из рейса отворить дверь. Всякий раз он боится тишины, которая встретит его и которую не прогонят ни радио, ни телевизор.

Август позволяет себе короткую передышку. И по-прежнему не способен облечь свои чувства в слова. Испытывает что-то вроде благодарности за то, что в жизни у него кое-что было и, сумей он найти слова, он бы назвал это счастьем. Отворяет дверь и входит в квартиру.

Июль 2011 г.

Торстен Шульц

На роликах

Перевод Дарьи Андреевой

СНАЧАЛА все как обычно — как это всегда бывает каждое второе утро, в девять часов: Вернер Бетге отпирает дверь материной квартиры и заносит на кухню ящик яблочного сока. Как обычно, это мутноватый натуральный сок из биолавки, и как обычно, Вернер разувается, чтобы минут двадцать-тридцать посидеть с матерью в гостиной.

Но внезапно утро сворачивает с обычной колеи: едва он снимает ботинки, Лора Бетге кричит тонким, назойливым голосом:

— Вернер? Вернер?!

— А кто, по-твоему? В чем дело?

— Ты принес яблочный сок?

— А разве когда-нибудь не приносил?

— Натуральный?

— Какой же еще? Хочешь, бутылку покажу?

— Спасибо, Вернер, спасибо.

Она выезжает в кресле-каталке из гостиной в коридор.

— Мы возьмем его с собой. Весь ящик.

— С собой? Куда это?

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
© Дарья Андреева. Перевод, 2016

— Даже не разувайся. Мы сию минуту уезжаем.

Вкатившись в кухню, она вытаскивает из-под стола дорожную сумку. Достает из холодильника бутерброды с колбасой, завернутые в пергаментную бумагу, и запихивает их в одно из отделений.

— Ты что ли в кругосветное путешествие собралась?

— Если бы в кругосветное, провиантом пришлось бы запастись поосновательней.

Она приподнимается в кресле-каталке и вытаскивает из-под подушки, на которой сидит, розовое плиссированное платье.

— Вот. Можно и не гладить.

Укладывает платье поверх бутербродов и застегивает сумку.

Розовое плиссированное платье. В молодости она его часто носила, о чем много раз рассказывала Вернеру. А впоследствии иногда надевала на день рождения. Но и это было давно, лет тридцать назад, не меньше.

Тут у Вернера брезжит догадка: у матери помутилось в голове. В конце концов, ей восемьдесят один, и, хотя она ест здоровую пищу, не курит и не пьет, вполне возможно, рассудок ей потихоньку изменяет.

— На дворе март. А день рождения у тебя осенью.

— Да, Вернер, сегодня двадцать третье марта. День рождения у меня семнадцатого сентября. Думаешь, у меня Альцгеймер?

— Тогда скажи на милость: куда ты собралась?

Она кладет сумку себе на колени и выкатывается из кухни в коридор.

— Мы едем в Эрланген. Или ты забыл, что сегодня день рождения твоего отца?

Она распахивает дверь квартиры и мощным рывком переезжает через порог.

— Надеюсь, машину ты оставил у подъезда?

Вернер действительно оставил машину у подъезда, но вот об отцовском дне рождения начисто позабыл. Да и какое ему до этого дело? Они ни разу не виделись с тех пор, как отец ушел. То есть уже почти пятьдесят лет. Вернеру было восемь, и, поскольку он не желал помнить, когда у отца день рождения, вскоре дата забылась.

— Ты же не всерьез? Быть того не может, что ты это всерьез.

— Почему не всерьез? Совершенно всерьез. Спусти меня, пожалуйста, по лестнице.

Вернер настолько ошеломлен, что поневоле смеется. Но собственный смех его только злит. Обувшись, он подхваты-

вает кресло-каталку вместе с матерью и ее сумкой и поднимает все это перед собой, подперев снизу большим, круглым брюхом.

Он тащит Лору вниз по лестнице и говорит сам себе: не весила бы она сорок, а то и меньше сорока килограммов, была бы хоть немного потяжелее, а то и по-настоящему толстой, он мог бы сказать — нет уж, это мне не под силу. Впрочем, она все равно бы не успокоилась. Пришлось бы везти ее по лестнице, ступенька за ступенькой, а это еще хуже.

— Откуда ты знаешь, что он все еще живет в Эрлангене?

— Эх, Вернер, Вернер. Ведь отправлял же он нам с Запада продукты! А на посылках стоял адрес.

— Да, но ведь... Полжизни прошло.

— Твой отец, Вернер, всегда был флегматиком. Он ненавидит перемены. Он точно в Эрлангене. Там он — исключительный случай! — как-то раз перестал быть флегматиком.

Похоже, она даже мысли не допускает, что он может жить в другом месте, не там, куда переехал сорок девять лет назад. Ан-ден-Келлерн — так называется улица. Это название Вернер не забыл. Он никогда не прикасался к продуктам, которые приходили в посылках, все их содержимое — кофе, шоколад, кексы, что бы отец ни прислал — Лора продавала знакомым. А лет через пять посылки приходить перестали. Даже открыток от отца они не получали — ни из Эрлангена, ни откуда-нибудь еще.

— Не можем же мы просто взять и нагрянуть к нему.

— Почему это? Разве нам кто-то запрещает? Где написано, что так нельзя делать?

— Когда ты в последний раз ездила в такую даль? Может статься, тебе это не по силам. В твои-то годы.

Вернер ставит у подножия лестницы кресло-каталку, в котором сидит его мать. Он весь взмок и тяжело дышит.

— Я никогда еще не ездила так далеко, Вернер. Ни разу в жизни!

Она вдруг запинается. Ей что-то вспомнилось — что-то весомое.

— Вернер, сок! Ты забыл яблочный сок!

Она качает головой, вопреки рассудку, по-прежнему переживает за растяпу-сына.

Вернер приносит ящик. Он тянет время. Лора наверняка на него уже сердится. Но когда он возвращается, она говорит — похоже, ее забавляют собственные мысли, — говорит всего-навсего вот что:

— Леопольда тоже всегда приходилось подолгу дожидаться. Бог мой, какие же вы неповоротливые.

Вернера вновь захлестывает ярость. Как часто она повторяла: ты так на него похож. Вернеру было десять, одиннадцать, двенадцать лет, а Лора произносила это с едва скрываемой злобой. Вернер не знал, что возразить ей, и только изо всех сил старался не показывать, как его задевают материнские слова. И теперь не показывает. Он пересаживает Лору на переднее пассажирское сиденье, складывает кресло-каталку и убирает его вместе с сумкой в багажник.

Яблочный сок стоит у Лоры между ног, и за полчаса — они только-только покинули Берлин и устремились по автобану на юг — выпиты уже две бутылки. Она начинает ерзать, и Вернер прекрасно знает, что она сейчас скажет, и она действительно говорит:

— Вернер, мне очень нужно. Вернер, ну остановись же. Мне очень нужно, Вернер, сию минуту.

Он знает, что она просто описается, если он не остановится. Долго она терпеть не может.

— Погоди немного. Дотерпишь до ближайшей заправки — всего три километра?

— Нет, Вернер, сейчас же. Сейчас же, немедленно.

Он тормозит, включает аварийку и съезжает на обочину.

— Зачем ты вечно так много пьешь?..

Он делает над собой усилие, чтобы не сказать “хлещешь” или “глушишь”.

— Если я не буду много пить, то пересохну. В старости так у всех. Ты еще узнаешь это на своей шкуре, Вернер, еще узнаешь. Ну, помоги мне, в конце концов!

Он с трудом поднимает ее с сиденья и несет в поле.

— Хватит, хватит, — кричит она через четыре или пять метров. Он опускает ее на землю, она садится на корточки, стаскивает штаны и трусы — удивительно быстро и ловко для восьмидесятиоднолетней старухи, которая целыми днями сидит в кресле-каталке. И, издав вздох наслаждения, писает.

Вернер видит и слышит струю и отворачивается. Ему часто доводилось видеть, как она писает. Например, когда она считала, что одна в квартире, и оставляла нараспашку дверь в туалет. Возможно, впрочем, ей было попросту плевать, что он где-то рядом и видит ее. Или в дороге, когда она садилась на корточки за кустиком, который едва ее прикрывал, или — однажды и такое случилось — в подъезде, пока он сторожил входную дверь. Возможно, она даже хотела, чтобы он ее видел. Так или иначе, он словно зачарованный смотрел на нее и только потом отводил взгляд. И всегда она твердит про пересохну и про старость. Хотя она всю жизнь много пила и много писала. Сколько Вернер себя помнил.

Она подтирается бумажным платочком и натягивает трусы и штаны.

— Ну вот.

Вот и все, что она говорит. Вернер несет ее обратно к машине, и они едут дальше. Когда она хватается за следующую бутылку, он говорит себе, и уже далеко не в первый раз: женщину, которая всюду и всегда писает, муж неминуемо бросит. Этого никто терпеть не станет. Ни один здравомыслящий мужчина этого не потерпит. И его снова разбирает смех. Смех едкий, мрачный. Нет, ну как он собирается с восьмидесятиоднолетней матерью ехать через всю Германию? Она впервые пускается в такое путешествие. Да и он тоже.

— Почему ты так странно смеешься? Ты смеешься, как Леопольд. Он тоже иногда так смеялся. А потом появилась эта женщина. Переехала в дом напротив, пятый этаж, помнишь? И он перестал так странно смеяться. Все пялился в окно и ждал, когда она спустится со своими роликами и будет кататься, будто прима-балерина, вверх по Вихертштрассе, вниз по Вихертштрассе. Она парúт, говорил он, просто парúт. Потом она уехала. И он тоже зачастил то туда, то сюда. А ведь всегда был флегматиком и домоседом. Приходил из своей конторы и плюх на диван, а тут вдруг сплошные разъезды. Пропадал где-то ночами, исчезал на целые выходные, а однажды поздно вечером заявил мне, что переезжает в Эрланген. И уехал всего с двумя чемоданами, в воскресенье рано утром, еще и семи не было, ты еще спал. Все, что он не взял с собой, я повыкидывала. Все. Через три года построили Стену. Помню, как я думала: пускай строят, пускай, можно было бы и повыше. И продукты, которые он нам посылал, я все распродавала. Чудесненько распродавала!

Теперь смеется она. Смеется злорадно, хотя на самом деле это потуги на злорадство. Вернер, конечно, помнит, еще как помнит. Ту женщину звали Лена, Лена Гротенфорбергер. Ну и фамилия, что это за фамилия такая, говорила Лора, но Вернеру фамилия нравилась, уж точно лучше, чем Бетге, думал он. Но еще больше ему нравилось, как эта женщина каталась на роликах вверх-вниз по Вихертштрассе. Он искал в "Дудене" слова, чтобы описать ее красоту. Гибкая, изящная, грациозная, выписывал он на листочек. Словно перышко, парящее над землей.

Когда отец исчез, ни слова не сказав на прощание, Вернер возненавидел эту женщину. А когда стали приходить продуктовые посылки, возненавидел и отца. Потом все старался забыть его, забыть и никогда не вспоминать. А гораздо позднее, когда ему уже перевалило за сорок, а жены так и не было, не было да-

же постоянных отношений, только мимолетные неудачные интрижки, и секса-то не хотелось, — честно говоря, секса ему не хотелось никогда, ни с женщиной, ни с мужчиной, и на стройке, где он работал, над ним подсмеивались, считая его существом среднего пола — даже не голубым, а именно среднего пола, — он возненавидел и Лору. Когда в сорок пять лет он лишился работы, а спустя несколько недель Лору ни с того ни с сего разбил паралич, приковавший ее к инвалидному креслу, он ощутил какую-то чудну́ю радость: словно то, что он потерял работу, и стало причиной ее паралича. Словно он имел над ней некую власть. А поскольку водителем экскаватора он больше не смог устроиться, да и никем другим тоже, понятное дело, что Лорин паралич тоже не проходил.

Лора делает большой глоток яблочного сока и говорит:

— Эрланген — разве не дурацкое название? Это ударение на первый слог — разве не по-дурацки звучит?

Вернер никогда не слыхал, чтобы она рассуждала об ударении, или о слогах, или о чем-то подобном, но не выражает удивления. Лора пьет и тоже молчит. Словно все самое важное уже сказано и больше ни о поездке, ни о чем другом не стоит рассуждать. Она впадает в полудрему и просыпается, когда они уже подъезжают к Лейпцигу.

— Дальше прямо, — говорит она. — Хермсдорфская развязка, затем Хоф. Проедем Хоф. Проедем Байройт. Повернем на Бамберг и на Эрланген. Я все выучила. Видишь, Вернер?

— Да, — отвечает Вернер, но Лора продолжает объяснять ему дорогу, каждые пятнадцать-шестнадцать километров принимается его поучать, и он уже ничего не понимает, помнит только, что Эрланген где-то на юге Германии. Между тем она пьет одну бутылку за другой, и вот ящик уже опустел, и Вернер дивится, что при таком количестве жидкости писать она просилась всего четыре раза. После четвертого раза, недалеко от Эрлангена, Вернер помогает ей снять серые штаны и серую блузку. Несколько секунд она сидит в белом белье на пассажирском сиденье, беспомощно сложив руки на груди.

— Шевелись, будь добр. Шевелись.

Все случается очень стремительно: Вернер натягивает на нее розовое плиссированное платье, и внезапно ее лицо озаряет улыбка, она улыбается, словно ребенок, которому надарили подарков. Платье ей в самый раз, и Лора с гордостью заявляет:

— Я не толстею. Хоть и сижу в инвалидном кресле, но не толстею.

Презрительный взгляд на толстое пузо Вернера — и ее лицо снова озаряет гордая улыбка.

Они съезжают с автобана, Лора и тут показывает дорогу. Уже через три минуты они пересекают улицу Ан-ден-Келлерн, и Вернер видит, что тут и вправду много пивнушек[1] — вот они, одна за другой, раньше это как-то не приходило ему в голову, хотя он сам каждый вечер пропускает кружку-другую. Лора говорит, качая головой:

— Пивом Леопольд никогда не баловался. Он вообще не переносил алкоголь. Флегматик, канцелярская крыса, сиднем сидел день за днем, зарывшись в бумаги, пока не появилась эта Гротенфорбергер, которая свела его с ума. Боже мой, да где же этот дом номер три? Не поменяли же они нумерацию.

Дом номер три оказывается в самом конце улицы: темно-желтое обшарпанное здание, кругом — старые деревья и разросшиеся кусты. К крыльцу ведет узкая каменная лесенка, а сам дом — два этажа и остроконечная крыша, поросшая мхом. Вернер останавливается, и Лора опускает стекло. Все ее тело напряжено. Она делает глубокий вздох, чтобы сбросить напряжение.

— Какой воздух, просто великолепный. Чистый и свежий. Как в те времена на Вихерштрассе, когда машин почти не было, улицы стояли пустые, а теперь-то на роликах особо не покатаешься. Ну что, Вернер, приехали.

Вернеру удивительно, что он ничуть не взволнован, ни капельки, не то что раньше. Возможно, мысль, что он впервые за сорок девять лет увидит отца, оглушила его, поэтому он ничего не чувствует. Защитная реакция организма, да, похоже на то.

Вернер достает из багажника кресло-каталку, раскладывает его и усаживает Лору.

— Сумка, Вернер, сумка.

Он передает ей сумку, в которую она тут же вцепляется обеими руками, чтобы хоть немного унять дрожь в теле. И вновь Вернер тащит ее, подперев пузом, двадцать ступенек наверх, считает каждую ступеньку, но остается спокоен, пугающе спокоен.

— Позвони, Вернер, — велит Лора, едва он опускает ее на пол, и звучит это так, словно она говорит: Вернер, иди в бой. Вернер нажимает на звонок, один раз долго, другой раз коротко, так он звонит всегда и всюду. Только после этого его взгляд падает на табличку на двери, там значится Бетге,

1. Keller (*нем.*) — погреб, подвал, пивная. (*Прим. ред.*)

шрифтом Зюттерлина[1] на позолоченной пластинке: Леопольд и Лена.

Вернер слышит шаги. Шаги становятся громче, затем дверь распахивается — на пороге стоит его отец. Хотя он исхудал, скрючился, щеки впали, Вернер мгновенно замечает сходство, разительное сходство: широко расставленные глаза, кустистые брови, кудрявая, всклокоченная шевелюра.

Отец смотрит на Лору, затем на Вернера, затем снова на Лору. По его лицу пробегает усмешка, в которой сквозит и ехидство, и облегчение.

— Лора, Лора. Я знал, что ты приедешь. Я всегда ждал, что однажды ты появишься на пороге. А это — неужели... неужели это Вернер?

— Вернер ли это? — теперь усмехается и Лора, в ее усмешке ехидство отчетливое, довольное. — А то сам не видишь?

— Как же, как же, — извиняется Леопольд. — Конечно, вижу.

Лора говорит:

— Сперва прими-ка поздравления. Восемьдесят три, не всякий доживает.

— Ты посчитала? Спасибо, Лора, спасибо.

— С какой стати мне не посчитать? У меня что, Альцгеймер?

— Лора, Лора, боже мой, ты, как в былые времена, за словом в карман не лезешь.

Вернера удивляет нескрываемое восхищение, которое звучит в его голосе. Возможно, в Эрлангене люди не столь находчивы, и Леопольд скучал по этому все минувшие годы.

— Знаешь что, Леопольд, мы ехали почти семь часов. Прекрасное путешествие, надо сказать. Но все-таки нам хотелось бы войти.

Леопольд кивает, медленно, неспешно. Словно сперва ему нужно обдумать это пожелание. Тщательно взвесить множество "за" и "против". Чудно́, размышляет Вернер, что такой флегматичный, а такой тощий. Тем временем Лора подгоняет Леопольда:

— Может быть, ты нам скажешь, сколько часов тебе нужно, чтобы решить, впустишь ты нас или нет?

— Ох, конечно, Лора, конечно. Заходите, заходите.

1. Шрифт Зюттерлина — вид немецкого готического курсива, созданный художником-графиком Людвигом Зюттерлином в 1911 г. Преподавался в немецких школах в 1935—1941 гг., впоследствии был отменен. (*Здесь и далее, кроме оговоренного случая, – прим. перев.*)

Он отступает в сторону, чтобы Лора мощным рывком смогла перекатиться через порог в коридор. Вернер входит за ней.

Коридор длинный, узкий и темный. Стены увешаны репродукциями Цилле[1]: берлинский пляж, дети на заднем дворе, толстухи и толстяки на Александерплац... Лора едет на кухню и осматривается, словно хочет здесь поселиться, а для начала купить мебель и все переделать на свой вкус. Открыв сумку, она говорит:

— Если ты нам дашь чего-нибудь попить, мы отдадим тебе подарок.

— Ах да, прошу прощения.

Леопольд достает из холодильника бутылку минеральной воды, но не успевает ее открыть, как Лора спрашивает:

— А яблочного сока у тебя нет?

Леопольд виновато качает головой. Лора — с великодушным снисхождением:

— Ну ладно. Тогда шампанского. И Вернеру тоже.

Шампанского у Леопольда тоже нет. Выражая сожаление, он так втягивает голову в плечи, что кажется, будто он кого-то убил, да еще и умышленно. Лора:

— Тогда неудивительно, что у тебя нет гостей. А где же Лена? Умерла?

У Вернера на мгновение перехватывает дыхание. Он, конечно, ко многим материнским фокусам привык, но такой прямолинейности не ожидал. Единственное, что его успокаивает, — она совсем перестала дрожать. А Леопольд спрашивает — спрашивает очень спокойно:

— А к тебе, Лора? К тебе по-прежнему приходят гости, когда у тебя день рождения?

И Лора — мигом, словно именно этого вопроса и ожидала:

— Нет. Ни единого гостя. Все умерли. А кто не умер, все равно не придет.

Вернера подмывает ее поправить, ведь существует он — единственный гость, который в дни ее рождения ест жирные пироги и пьет худосочный кофе. Но его не отпускает чувство, что он не играет рядом с ними никакой мало-мальски значимой роли, что он всего-навсего шофер, который привез мать к этому скрюченному, иссохшему старику — своему отцу. Ты так на него похож, ты так на него похож. Слова Лоры, в которых звенит едва сдерживаемая злоба, звучат у Вернера в ушах. Он предпочел бы уйти, но они и этого, скорее всего, не заметят.

1. Генрих Цилле (1858—1929) — немецкий художник и график. Изображал непарадную жизнь Берлина, рабочих и бедняков.

— Лена, — говорит Леопольд, — Лена в спальне.

— Неужели? До сих пор спит? Посередь дня? В твой день рождения?

— Нет, наверное, уже проснулась. Хочешь взглянуть?

Лора мгновение колеблется, прежде чем с подчеркнутой, преувеличенной естественностью сказать:

— Конечно, Леопольд. Конечно.

— Конечно, — эхом отзывается Леопольд. Словно человек, который привык вечно покоряться судьбе.

Тем энергичнее он хватается за кресло-каталку и толкает его в спальню. Лора вцепляется в сумку, когда Леопольд открывает дверь и ввозит кресло в комнату. Вот она лежит — Лена, Лена Бетге, прежде Гротенфорбергер. Она лежит в постели, укрытая по самую шею, взгляд направлен в окно, где вечернее солнце светит сквозь верхушки деревьев. Лицо у нее маленькое и худое, кости просвечивают сквозь тонкую кожу, а глаза широко распахнуты и налиты кровью. Вернер таращится на это лицо и не может поверить, что перед ним та самая женщина, которая каталась на роликах по Вихертштрассе.

Лора прижимает руки ко рту.

— Господи, какой ужас, — шепчет она и отворачивается.

— Можешь говорить громче, — отзывается Леопольд. — Она ничего не слышит. Ее слух уже умер. Уже на том свете, понимаешь? — он подходит к Лене и легонько поглаживает ее по лбу кончиками пальцев. — Скоро отлетит и душа. Понимаешь, Лора?

Он проводит рукой по покрывалу, а затем обращается к Лене, спокойно и ласково говорит ей:

— Ах, Лена, у тебя снова мокрые пеленки. Это потому, что ты пьешь так много. Но больше у тебя ничего не осталось: только свет да питье. А еще я, я остался. Скоро твоя душа отлетит, Лена. Скоро она будет далеко-далеко.

Вернер не может отвести глаз от лица этой женщины, и внезапно слышит, что Лора плачет. Плач скоро переходит в рыдания, отчаянные, неукротимые рыдания, но Вернер по-прежнему не может отвести глаз от лица этой женщины.

— Леопольд... знаешь... знаешь... — Лора выдавливает из себя слова, с трудом выдавливает каждое слово. — Я... я надеялась, что... что у нее все плохо. Я на это надеялась... правда надеялась, Леопольд, понимаешь? Но не верила, сама в это не верила. И уж точно не думала, что... что все вот так...

Лора захлебывается рыданиями и не может больше говорить. Уронив голову на сумку, она громко ревет — Вернер никогда не слышал, чтобы она так ревела. И все равно он по-прежнему не может отвести глаз от лица этой женщины.

Леопольд увозит Лору из комнаты, а Вернер все еще таращится на лицо Лены. Его чарует этот помертвевший лик, в котором, несмотря ни на что, таится прежняя красота. И тут глаза Лены приходят в движение, взгляд вперивается в Вернера, и Вернеру кажется, будто она ему улыбается.

— Тогда, давно, — слышит Вернер собственный голос, — это было потрясающе. Я никогда этого не забуду.

Лена вновь переводит взгляд на окно, но Вернер уверен, что она его поняла. С улыбкой он выходит из комнаты.

Лора ждет у распахнутой двери.

— Поехали, Вернер, поехали.

— До свидания, Вернер, всего хорошего, — говорит Леопольд, словно между ними произошел долгий, эмоциональный разговор.

— До свидания, — отвечает Вернер, взгромождая кресло-каталку с Лорой и ее сумкой себе на живот.

И снова он считает ступеньки каменной лестницы, их двадцать, и ни одна не позволяет ему оглянуться хоть на полсекунды. А затем они снова едут, и Лора говорит:

— Нам нужен яблочный сок, Вернер, нам непременно нужен яблочный сок.

Через несколько минут они уже находят биолавку. Вернер сдает пустые бутылки, покупает новый ящик мутноватого натурального сока и ставит его возле пассажирского сиденья. А затем, едва они выезжают на автобан, Лора засыпает. Просыпается только после Лейпцига.

— О боже, Вернер, подарок.

Это первое, что она произносит.

Она достает подарок из сумки, разворачивает его: маленький коричневый берлинский медведь в капитанской фуражке.

— Их покупают туристы, — говорит она. — Но он мне так нравится, такой хорошенький, — она кладет подарок обратно в сумку. — Хочешь бутерброд с колбасой, Вернер?

— Нет, спасибо, — отвечает Вернер, а Лора говорит:

— Ну и ладно. Я тоже не хочу.

Она закрывает глаза и снова засыпает. Спит и спит, и Вернер спрашивает себя: а что, если она больше не проснется, не проснется никогда? Что, если она мертва? По-настоящему мертва. Он гонит эту мысль. Не то чтобы он ее стыдится, но какой смысл об этом думать?

Только на Вихертштрассе Лора просыпается.

— О боже, Вернер, я же совсем ничего не пила.

Это первое, что она произносит.

— Впрочем, какая разница, завтра будет новый день.

— Да, — откликается Вернер, и ему вспоминается, как Лена каталась по улице вверх и вниз. Словно перышко, записывал он на листочке, которое парит над землей.

Он паркуется перед подъездом, и больше всего ему хочется оставить Лору в машине и просто уйти. Он знает, что никогда так не сделает, а Лора говорит с подытоживающей интонацией:

— Так, Вернер, теперь отнеси меня наверх, и тогда ты наконец-то освободишься.

Вислава Шимборская

Нобелевская премия

FUNDACJA
"ZA WOLNOŚĆ
WASZĄ I NASZĄ"

Стихи

Переводы с польского

Вступление Игоря Белова

Международный конкурс переводчиков поэзии Вислявы Шимборской, проведенный в прошлом году вроцлавским фондом "За вашу и нашу свободу" при поддержке Польского института книги, стал логичным продолжением конкурсов русских переводчиков Чеслава Милоша (2011) и Тадеуша Ружевича (2013). В этот раз, правда, и языковая палитра, и, как следствие, география конкурса оказались расширены — между собой состязались переводчики польской поэзии на русский, украинский и белорусский языки. Всего для участия в конкурсе были отобраны 228 работ, поступивших из России, Польши, Украины, Беларуси, США, Молдовы, Испа-

© Игорь Белов. Вступление, 2016
© Владимир Окунь. Перевод, 2016
© Александр Ситницкий и Елена Калявина. Перевод, 2016
© Валерий Тихонов. Перевод, 2016
© Алексей Михеев. Перевод, 2016
© Анастасия Векшина. Перевод, 2016
© Евгения Зимина. Перевод, 2016
© Борис Косенков. Перевод, 2016
© Вера Виногорова. Перевод, 2016
© Александр Пивинский. Перевод, 2016
© Екатерина Полянская. Перевод, 2016
© Георгий Васильев. Перевод, 2016

нии и других стран. Более интернациональным оказался и состав жюри, которое возглавил известный переводчик, президент Польского ПЕН-клуба Адам Поморский. Беларусь в жюри представляли Лявон Барщевский и Андрей Хаданович, Украину — Микола Рябчук и Олександр Бойченко, а Россию — Ксения Старосельская и автор этих строк.

Творчество Вислявы Шимборской (1923—2012), лауреата Нобелевской премии 1996 года, одной из крупнейших и самобытнейших польских поэтесс, хорошо знакомо читателю "ИЛ". Предположу, однако, что данная публикация наиболее интересных работ русских переводчиков Шимборской поможет лучше понять ее стихи: не только составить мнение об уровне (подчас довольно высоком!) современных переводчиков польской поэзии, но и еще раз задуматься об особенностях поэтики Шимборской, которые иногда существенно осложняли переводчикам их и без того нелегкую, но исключительно увлекательную работу.

Действительно, стихи Вислявы Шимборской парадоксальным образом представляют особую сложность при их переводе на родственные восточно-славянские языки. Нужно изрядно потрудиться, чтобы найти в родном языке соответствующие идиомы, а также придать точным формулировкам легкость и изящество. Как всегда бывает с переводами польской поэзии на русский, в этих стихах обнаруживается немало "подводных камней", неожиданных сюрпризов со стороны "ложных друзей переводчика", сложностей ритмического рисунка... Однако Шимборская, на мой взгляд, создает переводчику еще и дополнительные трудности.

В первую очередь, это связано с особым ритмом ее стихотворений. Русский читатель (а иногда и переводчик) зачастую воспринимает стихи Шимборской как верлибры, хотя поэтесса пользовалась в основном модернизированным белым стихом. Ухватить и передать ритм часто невероятно сложно, тем более что во многих текстах польской нобелиатки то появляется, то исчезает трудноуловимая внутренняя рифма. Справиться с такими текстами можно, только обладая тонким лингвистическим слухом, хорошо чувствуя музыку стиха.

Многие замечают, что язык Шимборской прост (хотя это крайне обманчивая простота!), а вот мысли очень глубоки и сложны, исповедальны, что, естественно, требует от переводчика определенных интеллектуальных усилий и умения вслед за автором искать и находить ответы на сложные вопросы о месте и роли человека во Вселенной. Насколько сложен и неоднозначен ритм стихов, настолько же сложна их философско-нравственная проблематика, в основе которой — сомнение. Не будем также забывать, что переводчик поэзии всегда отчасти соперник переводимого поэта. Так что в случае с Шимборской переводчик, ко всему прочему, должен хотя бы немного уметь раскрывать универсальное через повседневное, выстраивать, при необходимости, диалог внутри поэтического текста, да еще и придумывать лаконичные и емкие метафоры.

"Фирменным" же знаком поэзии Шимборской по праву считается знаменитая, почти непередаваемая польская ирония, с которой так трудно

справиться даже опытному переводчику. Пафоса (имитировать который несложно, поскольку это почти не требует ни интеллектуальных, ни технических усилий) у Шимборской почти нет, а вот иронией (зачастую горькой) проникнуты очень многие ее стихи. Даже Нобелевский комитет в обоснование своего решения отметил, что главная в мире литературная награда вручена Шимборской "за поэзию, которая с иронической точностью раскрывает законы биологии и действие истории в человеческом бытии". Превосходная формулировка — "ироническая точность". Но как передать эту филигранную, элегантную "ироническую точность" в переводе? Адам Поморский, например, полагает, что ключ к пониманию поэзии Шимборской нужно искать в ее переводах французской поэзии. Их ироничный рационализм поможет читателю и переводчику лучше почувствовать специфику иронии автора. Ведь если этой специфики не уловить — все усилия могут пропасть даром. И замечательно, что некоторые участники конкурса со своей нелегкой задачей все-таки справились, проявив, помимо технических навыков, большой вкус и такт.

Конкурс переводов Вислявы Шимборской стал не только прекрасной переводческой лабораторией для десятков талантливых литераторов, но и своего рода ответом творческих людей тем политикам, которые сделали все для разобщения народов, близких друг другу в языковом, культурном и историческом смысле. "Поэзия — это общий язык мира", — заметил в свое время американский поэт Аллен Гинзберг. Отрадно, что редакция "ИЛ", публикуя лучшие работы участников конкурса переводов Шимборской, способствует тем самым поиску этого общего языка.

Луковица

Дело другое луковица.
Нет у нее нутра.
Вся насквозь она луковица
до лукомного ядра.
Лукоподобная сверху,
лукичеватая сбоку,
могла бы в себя смотреться
без страха и упрека.

В нас отчужденность, ярость,
едва прикрытая кожей,
геенна в нас гниенья,
анафема анатомии,
а в луковице луковица,
не кишечник скукоженный.
Вот она, многажды голая,
до глубин итомуподобия.

Нет в луковице разлада,
заложен творцом повтор.
Все просто: в одной вторая,
меньшая в большей, так надо,
а далее, в новом круге,
чревата третья четвертой.
Центростремительность фуги.
Эхо, сведенное в хор.

Луковица, как здóрово:
где сыщешь такой живот!
Весь обернувшись нимбами,
во славе ныне грядет.
В нас — нервы, хрящи и вены,
сало и всякие сальности.
И не дано нам изведать
идиотизм идеальности.

Перевод Владимира Окуня

Монолог для Кассандры

Это я, Кассандра.
А вот он город мой под пеплом.
А вот мой посох и пророческие ленты.
Вот голова моя, вместилище сомнений.

Я торжествую, я права.
И сполох правоты моей ударил в небо.
Лишь тем пророкам, коим веры нет,
видны такие дали —
тем, кто за дело так ретиво взялся,
что все смогло исполниться так скоро,
как будто их и вовсе не бывало.

Я помню ясно, как, меня завидя,
на полуслове замолкали люди.
Смех замирал.
И расплетались руки.
И дети к матери бежали.
Я и не знала их имен недолговечных.
А эта песенка о листике зеленом —
никто ее не допевал при мне.

Любила их.
Но свысока любила.
Превыше жизни.
Из грядущего. Где вечно пусто,
откуда легче легкого увидеть смерть.
Жалею я, что голос мой был тверд.
Взгляните на себя со звезд, кричала,
взгляните на себя со звезд.
Те слушали и опускали взоры.

Жили в жизни.
Пронизаны великим ветром.
Обречены.
В телах, уже истлевших от рождения.
Но в них сырая теплилась надежда,
питая искрой крохотное пламя.
Им было ведомо, что означает миг,
о, хоть один, какой-нибудь
из прежних...

Вышло по-моему.
Но ничего из этого не вышло.
И вот мой пеплос, жаром опаленный.
И вот моя пророческая ветошь.
Вот искаженное лицо мое.
Лицо не знавшее, что быть могло прекрасным.

Перевод Александра Ситницкого и
Елены Калявиной

Конец и начало

После каждой войны
кому-то приходится
наводить порядок —
разруха сама не исчезнет.

Кто-то должен от слома
расчистить дороги,
чтоб проехать могли
машины, полные трупов.

Кто-то должен копаться
в гнили и пепле,

диванных пружинах,
осколках стекла
и окровавленных тряпках.

Кто-то должен
подпереть брусьями стены,
кто-то — застеклить окна
и навесить двери на петли.

Это длится годами
и не выглядит фотогенично,
да и фотокорреспонденты
уже снимают другие войны.

Восстанавливать нужно
мосты и вокзалы.
Засучив рукава,
пахать до седьмого пота.
Кто-то с метлой в руках
вспоминает порой, как было,
кто-то ему согласно
не оторванной головой кивает.
Но возле них вскоре
начнут крутиться
те, кому от этого скучно.

Временами кто-то
выкапывает из ямы
проржавевшие аргументы
и относит их на помойку.

Те, что знали,
в чем была суть,
волей-неволей уступят место
тем, кто знает мало.
Потом тем, кто знает еще меньше.
В конце концов — тем, кто ничего не знает.

В траве, которой поросли
причины и следствия,
кому-то придется лежать
с колоском в зубах
и пялиться на облака.

Перевод Валерия Тихонова

Для меня самый важный в трагедии акт — шестой:
те, кто в схватках погиб, воскресают,
костюмы и парики поправляют,
нож из груди вынимают,
с шеи петлю убирают,
в один ряд с живыми встают
лицом к публике.

Поклоны вместе и соло:
белая рука на смертельной ране,
реверанс самоубийцы,
кивок отрубленной головы.

Поклоны парные:
ярость бок о бок с кротостью,
жертва улыбается палачу,
бунтарь, не смущаясь, шагает рядом с тираном.

Попирание вечности носком золотой туфельки.
Разгон нравоучений полями шляпы.
Неуклонная готовность завтра начать все снова.

Гуськом выходят умершие много раньше,
в третьем, четвертом актах и в перерывах.
Чудесным образом возвращаются пропавшие без вести.

Их терпеливое ожидание за кулисами,
в тех же одеждах,
в том же гриме,
впечатляет меня больше, чем пафос трагедии.

Но особо волнует момент,
когда в просвете уже почти упавшего занавеса
одна рука спешит подобрать букет,
а другая поднимает брошенный меч.
Именно тогда третья, невидимая,
исполняет свой Долг:
сжимает мне горло.

Перевод Алексея Михеева

Кошмарный сон поэта

Представь себе, что мне сейчас приснилось.
На первый взгляд, как будто бы все так же.
Вода, огонь, земля под ногами, воздух,
верх, низ, круг, треугольник,
право и лево.
Погода сносная, красивые пейзажи
и немало существ, наделенных речью.
Но речь у них не та, что человечья.

Все строится в категоричном наклонении.
Между словом и вещью нет зазора.
Нечего добавлять или менять местами.

Время всегда конкретно-часовое.
Прошлому с будущим негде развернуться.
Для воспоминаний — одна прошедшая секунда,
для предположений — другая,
та, что вот-вот начнется.

Слов сколько нужно. Никогда не больше,
а это значит, что нет и поэзии,
нет религии и нет философии.
Такие вольности там не предусмотрены.

Нет ничего, что можно только представить
или увидеть с закрытыми глазами.

Поиски — только того, что есть где-то поблизости.
Вопросы — только такие, на которые можно
ответить.

Они очень бы удивились,
если умели бы удивляться,
что существуют причины для удивления.

Слово “тоска”, признанное аморальным,
не рискнуло бы в словаре появиться.

Мир предстает понятным
даже в глубоком мраке.
Отпускается каждому по доступной цене.
Отходя от кассы, никто не требует сдачи.

Из чувств — удовольствие. И никаких кавычек.
Жизнь в кандалах языка. И гуденье галактик.

Согласись, ничего ужаснее
не может случиться с поэтом.
А потом — ничего прекраснее
скорого пробужденья.

Перевод Анастасии Векшиной

Лесное моралите

Входит в лес
и там как будто исчезает:
досконально его знает,
кто из птиц зимует, а кто улетает.

Здесь он не в клетках, а в ветреных ветках,
в тенях и оттенках,
в зеленых беседках,
в тиши, что шуршит в уши
и рушится, если нарушишь.

Все здесь рифмуется гладко,
будто бы в детских загадках.
С кустами да листами
ведет он речи сладко.

Рожденье урожая увидит, распознает
взаимные связки, должочки, подсказки,
стежек сплетенья, тени сомненья,
а в закутках — исключенья.

Знает, где пусто, где густо,
где дерево, где коряги,
что́ там, на кручах, в тучах,
что нету врага в овраге.

Какие мураши шуршат в тиши елок-иголок,
чует скок, поскок, отскок — прыг в бок,
знает, какая лесина — осина, ясень да береза.
Только смерть тут говорит
по-простому, прозой.

Знает, что́ тут бегом, шажком,
краем тропки прыжком
промелькнуло, махнуло, исчезло умело:
то ли виденье, то ль привиденье.

Знает, где готика — в хвое
и где барокко — с листвою,
знает: тут чижик, там стрижик,
а здесь — зяблики парой,
когда у сруба дуба
дуб новый сменит старый.

А затем повернется, вернется
назад тропой знакомой лесной,
да уж не той, что утром, другой.
И там, где народ, злость его берет,
ведь нет для него плоше тех, кто на всех непохожи.

Перевод Евгении Зиминой

Есть те, кто...

Есть те, кто живет расчетливее других.
И в них самих, и вокруг — всегда порядок.
Ко всему у них есть подход, на все у них есть ответ.

Они мигом угадывают, кто кого, кто с кем,
с какой целью, каким путем.

Они пришлепывают печатью непреложные истины,
они швыряют в измельчитель неподходящие факты,
они прячут незнакомых людей
в заранее приготовленные папки.

Размышляют они ровно столько, сколько следует,
и ни минуты дольше,
ибо в лишней минуте таится сомнение.

А когда их освободят от бытия,
они покидают свой пост
через предписанные двери.

Иногда завидую им...
К счастью, это проходит.

Перевод Бориса Косенкова

Изумление

Почему сверх меры одной особе?
Именно мне? Чем я особенна?
Почему во вторник, в доме — не в гнезде?
В коже обычной? С лицом, а не с листьями?
И раз только — личностью?
Почему на Земле? При малой звезде?
По стольких эрах небытия?
За все времена, за всяческих ящеров?
Не состоявшихся вымерших пращуров?
Здесь и теперь? В духе и плоти я?
Сама с собою и у себя? Почему
не рядом, не на сто миль дальше,
и не вчера, и не сто лет тому
сижу и пытливо гляжу в темноту?
Вот так же, морду внезапно подняв,
смотрит пытливо мой пес на меня.

Перевод Веры Виногоровой

Ода в честь

Жил себе был и придумал ноль.
Где-то в одной из стран. Под звездой,
возможно, сегодня померкшей. В годы,
нельзя поручиться, какие. Без имени
хотя бы чужого. Не оставив после
своего ноля никакой крылатой фразы
о жизни, что дается для... Ни легенды,
что, дескать, однажды к сорванной розе
ноль дописал и роза предстала букетом.
Что перед смертью уехал в пустыню
на верблюде стогорбом. Что уснул там
в тени пальмы первенства. Что проснется,
когда уже все пересчитано будет
вплоть до песчинки. Что ж это за человек.
Он ускользнул от внимания в щель
между фактом и вымыслом. Стойкий
ко всякой судьбе. Сбрасывающий
любой, какой ни придай ему, облик.
Тишина над ним срослась без шрама от голоса.
Его отсутствие приобрело вид горизонта.
Ноль пишется наедине.

Перевод Александра Пивинского

Пытки

Ничего не меняется.
Тело подвержено боли,
должно есть, дышать воздухом, спать,
кровь струится под тонкою кожей,
есть запас зубов и ногтей,
кости хрупки, суставы вполне растяжимы.
В пытках все это учитывается.

Ничего не меняется.
Тело дрожит, как дрожало
до основания Рима и по основании,
в двадцатом веке до и после рожденья Христа,
пытки остались те же, только Земля стала меньше
и если что происходит, то словно за стенкой.

Ничего не меняется.
Прибыло только людей.
К провинностям старым
просто добавились новые —
настоящие, выдуманные, сиюминутные, никакие.
Только вот крик,
которым тело за них отвечает,
был, есть и будет криком невинности
согласно извечной шкале и реестру.

Ничего не меняется.
Разве только манеры, церемонии, танцы.
Взмах рук, прикрывающих голову,
остался, однако, все тем же.
Тело извивается, вырывается, бьется,
падает, сбитое с ног, корчится,
синеет, пухнет, истекает слюной, кровоточит.

Ничего не меняется.
Кроме течения рек,
линий лесов, побережий, пустынь, ледников.
Среди этих пейзажей мается —
такая маленькая — душа,
исчезает и возвращается,

то она ближе, то дальше,
сама себе чуждая, неуловимая,
не всегда уверенная в собственном существовании,

в то время как тело есть, есть и есть,
и некуда ему деться.

Перевод Екатерины Полянской

К *вопросу о статистике*

Из ста человек,

знающих все лучше других, —
пятьдесят два;

неуверенных в каждом шаге —
почти все остальные;

готовых прийти на помощь,
если это не займет много времени, —
целых сорок девять;

добрых при любых обстоятельствах,
потому что не умеют иначе, —
четыре, но может и пять;

склонных восхищаться, не завидуя, —
восемнадцать;

живущих в постоянном страхе
перед кем-то или чем-то —
семьдесят семь;

способных быть счастливыми —
двадцать, чуть больше;

безобидных в одиночку,
звереющих в толпе —
больше половины, наверно;

жестоких,
если потребуют обстоятельства, —
этого лучше не знать
даже приблизительно;

крепких задним умом —
немного больше,
чем крепких передним;

ничего не берущих от жизни, помимо вещей, —
сорок,
хотя хотела бы ошибаться;

съежившихся, изболевшихся
и без фонарика в темноте —
восемьдесят три
рано или поздно;

заслуживающих сочувствия —
девяносто девять;

Смертных —
сто из ста,
цифра, которая до сих пор не подвергалась
изменению.

Перевод Георгия Васильева

Клаудио Магрис
Три монолога

Перевод с итальянского и вступление Валерия Николаева

Клаудио Магрис родился в 1939 году в Триесте, космополитическом городе-порте, стоящем на перекрестке итальянской, славянской и немецкой культур. Здесь же он продолжает жить и сегодня, с 1978 года являясь профессором местного университета (кафедра германской и австрийской литературы). Кроме того, он приглашаемый лектор и почетный доктор ряда ведущих университетов Европы и мира. Магрис — член многих итальянских и зарубежных академий, Кавалер Большого креста Итальянской Республики, Кавалер Ордена искусств и словесности Французской Республики, Кавалер ордена искусств и словесности Испании.

В 1994—1996 годах Магрис — сенатор Итальянской Республики. И после ухода из Сената, сохраняя независимость взглядов и суждений, он продолжает активно выступать в защиту общечеловеческих ценностей, культуры, демократии и уважения к человеческой личности, пользуясь заслуженным авторитетом как в Италии, так и за ее пределами. Отсюда понятно его серьезное отношение к журналистике: его глубокие аналитические эссе и статьи по самой разнообразной тематике часто появляются в национальной и зарубежной печати.

Но главное в творчестве Магриса все же — литература, и в последние годы он — основной претендент от Италии на Нобелевскую премию по литературе. Хотя наиболее престижными литературными премиями — национальными и зарубежными, он не обделен, достаточно назвать такие, как премия принца Астурийского за вклад в литературу, Государственная премия Австрии по литературе, премия мира немецкой ассоциации книготорговли, Европейская премия Шарля Вейонна за эссеистику и прочие.

Все литературное творчество Магриса можно разделить на три ключевых потока: эссеистику, переводы (прежде всего произведений немецких и австрийских писателей) и художественную прозу.

Отдал он дань и театру, написав несколько полномасштабных пьес и театральных монологов. Три из них, взятые из сборника пьес "Театр", изданного в 2010 году, мы и предлагаем вниманию читателей журнала.

© Claudio Magris, used by permission of The Wylie Agency (UK) Limited
© Валерий Николаев. Перевод, вступление, 2016

Г*олоса*

ТАК, номер 27–65–04. Номер 32–64–29, может быть, еще интереснее, хотя почему может быть, бесспорно интереснее, даже сравнивать не с чем эту ироничную, ласкающую слух модуляцию, глубокую, как снежный покров, мягкий и теплый, словно воздушное одеяло, в которое так и тянет зарыться с головой, как это делают ездовые собаки и чувствуют себя там, в тепле, превосходно... Но каждому овощу свое время. С голосами важно, чтобы были подходящие обстоятельства и подходящий момент, потому что, если моя абонентка на том конце провода, будь она суперкрасавица, откроет рот в неподходящий момент – пиши пропало. Как если бы в остерии в то время, когда за соседним столом играют на аккордеоне и поют непристойные песенки, вдруг зазвучала бы виолончель.

Итак, сейчас время номера 27–65–04. Ага, вот... три гудка... затем музыка... и I'm happy again singing and dancing in the rain. I'm dancing and singing in the rain... Это номер 27–65–04. К сожалению, меня нет дома. Если желаете, можете оставить мне сообщение после гудка. Спасибо, "чао".

С какой стати "чао"?.. Вчера она еще говорила: "Я позвоню вам, как только вернусь домой"... А сейчас, нате вам, "чао"... Наглое панибратство, мне это никак не понравится, ладно бы оно предназначалось исключительно моей персоне, но едва я подумаю, что всякий... может, случайно... ошибись он номером... Звучит высокомерно и вызывающе.

Я прямо вижу, как она произносит эту фразу, вытянув шею, белую, пухлую, в которую так и хочется впиться... но что я говорю... этим своим голосом она пытается зацапать тебя, словно медведица, гигантская белая медведица, ну уж нет, со мной этот номер не пройдет, спасибо, я не доставлю ей такого удовольствия. Я прекрасно знаю, как избежать этого, и раньше, чем ее лапа с огромными когтями... бр-р-р... вцепится в меня, я бросаю телефонную трубку, и клетка остается пустой... после сигнала "бип" она ничего не услышит.

Интересно знать, почему она обновила запись, что пришло ей в голову, что заставило внезапно поменять слова, убрать глагол и добавить "чао"?.. И когда? Скорее всего, между шестью вечера и той минутой, когда я позвонил... следовательно, она сделала это поздно вечером, раздевшись и ложась в постель... душистый голос, голос обнаженной женщины... "Чао" – звучит маняще и, возможно, доносится уже из-под одеяла. Спустя столько времени я заслужил это. Это вам не

"вы" в устах полицейского, такое злобное, безликое и равнодушное.

Но я должен поторопиться, поскольку пришло время номера 56–72–44. Я едва успеваю и рискую опоздать, все может кончиться тем, что она уже будет дома и ответит сама, как в прошлый раз. Вот уж не повезло! Она, должно быть, только что вошла и еще не успела отключить автоответчик, после моего звонка он включился, и в то время, как я уже вслушивался в ее интонацию, пойманную записью, слегка сдержанную и печальную, неожиданно, пару секунд спустя, поверх записи зазвучал ее голос. Как это резануло мое ухо, когда спокойное, размеренное течение голоса, было прервано ее поспешным, бестактным и грубым вторжением!..

"Кто говорит?" Это ничем не напоминало настоящий человеческий голос. Это больше походило на короткий рык, фырканье или вскрик существа, которому наступили на ногу. Разве такое можно назвать настоящим голосом!

Настоящие, подлинные голоса наполнены смыслом, их ощущаешь как единственно возможные — они именно те, что зафиксированы пленкой, так же, как настоящие, — только те, что записаны на бумаге, одинокие и умиротворенные в собственном жилище. Там, снаружи, за окном, пустынное небо бледнеет, как медленно бледнеет лицо, солнце исчезло, кровь вся вытекла, ее больше нет, а в вышине, над колодцем двора, небо, подобное беломраморному лику или белой бумаге, на которой прекрасной каллиграфией начертаны слова, черные и синие, подлинные слова, безмолвные, осмысленные, ничем не похожие на те, что злословят, продираясь сквозь людскую толчею и нагромождение вещей. То же самое и с подлинными голосами, записанными автоответчиком, они звучат, словно музыка, беспримесная и свободная.

Я провожу долгие, нескончаемые вечера, вслушиваясь в эти истинные голоса, не позволяя себе целиком поддаться их чарам, чтобы не потерять контроль над временем и не дать застигнуть себя врасплох голосам фальшивым. К счастью, я способен вовремя распознать их, эти фальшивые голоса.

Как это было, когда я, наконец, познакомился с Лаурой. Я обратил на нее внимание в офисе, на третьем этаже, где располагается отдел поджогов. Она шла отметить карточку на выход. Высокая, немного нескладная, со своей слегка развинченной странной походкой. Голова склонена к плечу, волосы иссиня черные, глаза тоже черные, взгляд напряженный и волнующий, страстный, в нем одновременно и трепет, и вызов, неукротимая отвага ребенка, одинокого в ночи...

Я пошел за ней следом, чтобы прочитать на карточке ее имя и фамилию. Лаура — имя нежное и тревожное, тень ветки с листьями, руки, обнимающие тебя за шею, взор из-под полуопущенных ресниц...

Потом я нашел ее номер в телефонном справочнике и позвонил ей. Ответил автоответчик, голос сосредоточенный и безапелляционный, трибунал, где ты выслушиваешь приговор и радуешься ему. После "бип" я, разумеется, ничего не произнес. Я еще не был готов к разговору как таковому. Да, в офисе или на орущей улице я ворчу, шепчу, сам ору, отхаркиваюсь и откашливаюсь, но это же нельзя назвать разговором.

Я сделал то, что и должен был сделать, я просто положил трубку. На следующий день я увидел ее в офисном баре на втором этаже, рядом с дирекцией отдела жизнеобеспечения. И мне необычайно повезло. Я благополучно отделался. Достаточно было полминуты, и, кто знает, что бы случилось, вернее всего, я был бы глубоко разочарован, в то время, как я подходил к ней, судорожно ища слова, с какими мог бы обратиться к ней, она повернулась к бармену и произнесла развязным пронзительным тоном: "Одну коку". И когда я смотрел на нее, объятый ужасом, оскорбленный до глубины души этой ее фразой, она, схватив банку, добавила "О'кей". Распахнув рот, она произвела на свет это скопище непристойных гласных, напоминавших дыхание человека, не пользующегося зубной щеткой и пастой.

Она еще сидела там со своей кока-колой, в своем безмерном убожестве, а я одним прыжком очутился у телефона в углу бара. Жетон упал в автомат со звоном реванша. Подъемный мост опустился, рыцарь вступил на поле боя, чтобы принять вызов... я набрал ее номер. На другом конце была Лаура, ее настоящий голос, накатывающийся волной, чарующий, оповещающий о том, что ее нет дома, и предлагающий оставить свое сообщение.

В то же самое время я видел ее перед собой, в нескольких метрах, и слышал ее резкий, вульгарный, фальшивый голос, каким она общалась со своим коллегой. Мне стало жалко этого молодого человека, бессмысленно пытавшегося демонстрировать ей свое остроумие, потому что он имел дело всего лишь с симулякром, тогда как я общался с истинной Лаурой, с ее настоящим голосом, с ее бессмертной душой, неподвластной риску охриплости, простуды, астмы, усталости.

Настоящей ценой обладают лишь подлинные голоса. Скажу больше, только они и являют собой сущность. Тела представляются мне чересчур суетными, и, даже если они занимают много места, они всего лишь тени, которые исчезают,

едва заходит солнце. Достаточно понаблюдать за выходящими из бизнес-центра. Весь этот офисный планктон, толпящийся у центрального выхода и давящийся в дверях, напоминает не людей, а неизвестно кого, и едва они вываливаются наружу, мгновенно рассеиваются, как обрывки бумаги, унесенные ветром, исчезают за углами домов, и улицы вновь пустеют. Их тела будто испаряются, особенно женские, тех словно вообще не существует, если ты решишь заключить одно из них в объятья, в руках останется лишь воздух, как если бы ты желал обнять груди кинодив на афишах. Огромные и крепкие как дыни, эти груди вытекают у тебя сквозь пальцы, и довольно слабого дождя, чтобы афиши отклеились и упали, ноги, груди и задницы, порвавшиеся на куски, разнесло ветром по округе, только их и видели, сплошное надувательство. Всякий раз, когда я дотрагивался рукой до этих женщин, я ощущал вместо соблазнительных выпуклостей одну только плоскую гладкую поверхность бумажного рекламного плаката. Никаких тел, фикция, как в Луна-парке или в кино, когда надеваешь трехмерные очки и тебе кажется, что ты видишь вещи в их объеме, но, как только снимешь очки, понимаешь, что все, что ты видел, было иллюзией.

Свои очки я снял почти сразу же, давным-давно. Я, скорее всего, единственный, кто бродит по миру без них. К счастью, все те, у кого они до сих пор на глазах, не замечают этого.

Голоса повсюду. Они слышатся то отчетливо, то невнятно, они доносятся со всех сторон, набрасываются на тебя, иногда вдруг прячутся, притворяясь, что вообще исчезли, и внезапно вновь возникают откуда-то, проникая не в уши, а прямо в мозг. Спасаясь от них, ты сворачиваешь за угол, но и там все кричит, вопит, шипит. Как-то раз я, как всякий воспитанный человек, решил бросить скомканную бумажку в мусорный бак, поднял крышку и услышал смешки, хихиканье, повизгивание, хрюканье и шуршание, переполнявшие бак. Я опустил крышку и пошел прочь. Я уже неплохо знаю, что к чему в этом мире, поэтому меня трудно выбить из колеи подобными выходками. Это сродни попытке испугать автомобильными пробками человека, привыкшего к огромному количеству автомобилей на наших улицах, хотя, надо признать, в час пик пробки, действительно, производят сильное впечатление.

Но вернемся к голосам. Мы ни в коем случае не должны попадаться на их удочку, все они не настоящие. Не может быть, чтобы люди разговаривали таким образом. Возьмем Лауру, ну не может нормальный человек разговаривать так, как это делает сейчас она, сидя здесь, в баре. Таким голосам

нельзя верить, такие голоса лишь порождают отвращение к женщинам, к окружающему нас миру, как будто это их цель — отвратить нас от настоящей жизни и принудить жить в бардаке и нечистотах. Нельзя поддаваться им. Если мы уступим им в самой малости, если позволим лишить нас удовольствия радоваться настоящим женщинам, настоящим голосам и миру в целом, мы превратимся в рабов и соучастников рабства.

Мир реален, безграничен, многогранен и полон естественных голосов и естественных женщин. У меня их было много, и женщин, и голосов настоящих женщин, а не тех размалеванных манекенов, которых видишь и слышишь на улицах.

Это были разные женщины и разные голоса. Красивые, резкие, нежные, дерзкие, робкие... Только, Бога ради, не подумайте, что я хвастаюсь. Для настоящего мужчины это не повод задирать нос. Список Дон Жуана отвратителен. Каждый голос уникален и неповторим, он заслуживает гораздо большего, чем стать строчкой дурацкого каталога, который составляет самец-охотник. Скромность — вот чему учат нас голоса. И правда, если у меня и есть, чем гордиться, так это скромностью и терпением. И еще методичностью.

Первым делом... хотя это настолько просто, что даже не стоит об этом говорить... первым делом нужно раздобыть номер телефона. Разумеется, не спрашивая его у объекта вашего интереса. После чего надо изучить распорядок дня женщины, как по будним дням, так и по выходным, когда она уходит из дома, когда возвращается, в котором часу обедает. Потому что здорово расстраивает, если ты звонишь, чтобы услышать ее голос на автоответчике, а в трубке — грубый противный натуральный голос. Это словно войти в уборную и увидеть любимую женщину сидящей на унитазе. Зрелище не из приятных, согласитесь.

Но и знать распорядок дня только ее одной — мало. А если она живет с кем-нибудь, и ты, желая послушать ее голос, нарываешься на чей-то другой? Приходится молча класть трубку, а это невежливо. Вдруг трубку снимал ее муж или приятель, он наверняка начнет ревновать, как всякий банальный мужчина, а это некрасиво — огорчать его. Лично я отношусь к женщинам без ревности, меня не интересует, с кем они живут, как не интересуют люди, которые окружают их в метро, тем более что никто из них никогда не прислушивается к этим женщинам так, как я, эти женщины исключены из их внутренней жизни. Когда мне отвечает один из этих несчастных сожителей, мне кажется, неловко молчать в трубку, в то время как он спрашивает: “Кто говорит?”, ведь я могу показаться ему назойливым маньяком.

Молчать, когда послышался ее голос, голос одной из них, это совсем иное дело. Когда запись заканчивается, я еще некоторое время слушаю тишину, которая за ней следует. А что я мог бы сказать, даже если бы захотел? Когда солнце заходит за эти серые здания и на мгновение их окна вспыхивают то тут, то там, как свечки на рождественской елке, или когда звучит "Песня" Шуберта, разве хочется говорить? Склоняешь голову и молчишь.

Хуже всего... это к тому, что ты должен быть абсолютно уверен, что дома никого нет... когда женщина, вернувшись, забывает выключить автоответчик, как, кстати, произошло вчера. Я позвонил, начала отвечать настоящая она, я слушал, счастливый, стараясь не упустить ни малейшего оттенка голоса, как вдруг: щелк! И встряла какая-то другая, и я услышал злое и недовольное: "Кто это?". Со мной такое случалось дважды, в частности, с номером 28–37–90. Это был реальный шок, как если бы зевнули во время занятия любовью. А ведь у нее был прекрасный голос... далекий, погруженный в себя... доносящийся словно из-за моря. Я проводил прекраснейшие часы в моей жизни, вслушиваясь в него... но однажды эта всегда новая интимная мелодия была осквернена. Видимо, что-то вынудило ее неожиданно вернуться домой, поскольку она абсолютная педантка и рабыня собственных правил и привычек, и в трубке раздалось хамское: "Але-е-е?". Больше я ей не звонил. Когда истории приходит конец, она заканчивается.

Я не ограничиваюсь одним звонком, зачем проявлять излишнюю строгость к себе и отказывать себе в удовольствии? Я звоню, слушаю, кладу трубку, перезваниваю. И всякий раз обнаруживаю какой-нибудь новый, едва уловимый, нюанс, незаметный для других, но не для такого влюбленного в это занятие, как я... более протяженная легкая пауза, сдержанная нежность, какое-то словцо, эхом отдающееся в сердце чуть дольше, решительность или капризность... Каждый раз что-то да иначе. Послушаем снова 27–65–04. "I'm happy again singing and dancing in the rain... I'm dancing and singing in the rain... это номер 27–65–04. К сожалению, меня нет дома. Если желаете, можете оставить свое сообщение после гудка. Спасибо, чао". Вот, на этот раз ма-а-а-ленькая ложь. Из всей фразы сейчас правдиво прозвучало только "чао". Да-да, я почти физически ощущаю, с каким самодовольством она произносит эту фразу, полулежа на кровати, нога легонько поигрывает покрывалом. Сразу понятно, что ей до лампочки, как она только что прозвучала. Только не надо мне говорить, что запись всегда одна и та же, я и без вас знаю, но это... это как рассматривать фотографию. Она тоже всегда одна и

та же, но каждый раз в ней обнаруживается что-то новое... на этот раз ты вдруг замечаешь грусть в изгибе улыбающихся губ, да, улыбающихся, как прежде, ведь фотография та же самая, но ты как впервые смотришь на нее и угадываешь в этой улыбке оттенок печали, отчетливую тень горечи.

Так бывает с любым объектом, запечатленным фотоаппаратом, в нем тоже что-то изменяется в то время, как ты его разглядываешь. Однажды в офисе со мной провел интересный тест психолог, приторно любезный, но благожелательный. Не в пример другому, напыщенному идиоту, с его прозрачными тошнотворными леденцами. Этот психолог показал мне рисунок и попросил не спеша внимательно вглядеться в него. Очень скоро я узрел в рисунке черный кубок на белом фоне, а затем, неожиданно, вместо кубка — два лица, два профиля, которые уставились друг на друга в злобной ухмылке, в объекте что-то проявилось и изменилось, и этот эффект преображения был молниеносен. Психолог мне еще сказал, что именно из-за этого эффекта подобные объекты называются бистабильными.

То же самое происходит, когда смотришь в зимнее небо, еще прозрачное, от света на западе щемит сердце, деревья в контражуре черные-черные, ты смотришь в него, застывшее в своей неподвижности и однообразии, свет его неугасим, ибо рожден самим воздухом — и вдруг, внезапно, в один миг, становится темно. Что-то изменилось в небе, в деревьях, в их ветвях; они все еще на месте, но уже больше не те же самые.

Вот и голос, голос женщины, как это неподвижное, прозрачное небо, ему никогда не низвергнуться на вас, не достичь ваших глубин.

Номер 32–64–29 я набираю трижды каждый день, за исключением воскресенья и праздников. Утром, как только она уходит из дома в половине девятого, в одиннадцать и ближе к вечеру. И всякий раз я чувствую, что тону в глубинах этого голоса, как в реке, погружаясь в ее дно, как в перину, где слова растворяются в шелесте ночной воды и нежной тьме ювенального моря.

На миг, скорее на промельк мига, мне кажется, что я смутно припоминаю очень-очень далекие времена, когда я был рыбой, никогда не видевшей суши, и должны были пройти тысячи тысячелетий, прежде чем на берегах появятся рыбаки, или даже когда я был еще не рыбой, а предтечей рыбы, и плавал в мягчайшей темной морской воде, и слышал голос женщины, которая и была тем самым морем, в котором я плавал, и голос этот был самой водой и был всем. Твердого дна я, погружаясь все глубже и глубже, так никогда и не достигал.

В голосе номера 32–64–29 было много оттенков: искренность, бесстыдство, которое сначала возбуждает и манит, а потом резко отталкивает, а то и заканчивается пощечиной, как, впрочем, нередко случается у женщин. Но внезапно замечаешь, что в нем присутствует и нежность, и великодушие, и милосердие, которое всегда есть в настоящей женщине по отношению к мужчине, ведь для нее он так и остается ребенком. И все это только там, в телефонной трубке. Когда внимаешь этим вокальным месседжам, обращенным ко всем и каждому, всеобщим и всеобъемлющим, выходящим за пределы частных проблем, становится понятно, что такое настоящая женщина – Мария с ребенком у груди. А все, кого мы видим вокруг, – это куклы, кокетливые или плаксивые, расчетливые или безрассудные, при виде которых руки опускаются.

Вот и 72–28–16, как ни позвони – другая. Развязная, кроткая, вспыльчивая, снисходительная. Я знаю ее лучше, чем она себя, потому что она себя не слышит по телефону. Она записала послание, но она не знает, что намешено в ее голосе: грусть, тоска, небрежение, суетность. К тому же у нее вроде мании – неизвестно почему часто менять текст сообщения. По правде говоря, внешние изменения меня мало волнуют, они незначительны по сравнению с тем, что проявляется в словах сообщения неосознанно, импульсивно, скрытно, с этими паузами, которые неожиданно делаются все глубже, как темный провал почвы, как бездна, в которую ты, оступившись, падаешь, вниз-вниз-вниз, на самое дно мрака, в колодец горла, в тьму каверны... с этой дрожью, что вибрирует время от времени в слове, в молчании, и все вокруг замирает, и мир, огромный, неподвижный, зависает в пустоте...

Как бы то ни было, мой долг – уделять частичку внимания и этим банальным изменениям формы. Вчера, например, она говорила: “Меня нет дома, оставьте ваше сообщение, а если речь о чем-то срочном, наберите 35–27–86”. Слова впроброс, словно она не скрывает своего нежелания непосредственно общаться. Сегодня утром, наоборот, она была неторопliва, произносила слова почти по слогам, надутыми, как для поцелуя, губами: “Это номер 72–28–16. Перезвоните мне позже или назовите свое имя”.

Я выслушал три раза подряд это деспотичное и бесстыдное приглашение. Иногда музыка звучала перед ним, иногда после, а иногда ее не было вообще.

Зачем постоянно менять текст? Для чего все эти усилия: стирать старый, придумывать новый, записывать его, и опять все по кругу? Может, она каждый раз обращается к раз-

личным собеседникам, неизвестным ей, но разным, а это требует постоянного изменения тона? Но как она позволяет себе заставлять меня так страдать! А вдруг ей и правда позвонит какой-нибудь маньяк? Наша история длится уже несколько лет, и первый попавшийся не имеет права вторгаться в наши отношения, это несправедливо, я не позволю, чтобы ее у меня увели.

Любой то и дело норовит отнять у меня все... нож мясника отрезает кусок за куском от мясной туши, и матери, стоя в очереди, чтобы купить свою порцию для своего ребенка, дышат запахом крови. Как можно думать о рождественском обеде среди этих висящих оголенных туш? Со мной то же самое, когда я звоню по телефону, мне отвечают все реже и реже, и каждый раз как будто отрезают кусок меня, и он исчезает в вакууме. Да пусть они позволяют приставать к ним на улице, если им нравится, меня эта пошлость совершенно не трогает, но уж не претендуйте на то, чтобы я звонил вам, когда вас нет дома! Я научился мстить им, платя той же монетой. Недостатка в женщинах у меня нет, и, если какая-то меня предает, я моментально звоню другой.

Я даже составил таблицу с подробным расписанием дня их всех. Так, по номеру 48–27–81 можно звонить только во второй половине дня, потому что она начинает работать с 14:00. С номером 25–36–12 дело сложнее, смены у нее чередуются: понедельник, вторник, среда – утро, в остальные дни – вечер, в субботу звонить рискованно, хотя она обычно уходит за покупками. Однажды она оказалась дома, и я моментально бросил трубку.

Поделом мне, нельзя быть таким безоглядно самоуверенным, беда, когда механически становишься рабом своих привычек и не принимаешь в расчет то, что именно в этот момент твое желание позвонить ей может совпасть с ее желанием, чтобы ей позвонили. Любить – значит принимать человека таким, какой он есть, с его желаниями, ничего не воспринимать как должное, деликатно приспосабливаться к настроению того, кого любишь.

А вот 39–15–29 меня просто достала безалаберная девица без фиксированного графика дня, никогда не знаешь, что тебя ждет. Я устал следить за ее графиком и вычеркнул ее из списка. Без нее дел хватает. Если с 27–65–04, 57–24–41, 32–64–29 и 72–28–16 проблем нет, поскольку они живут одни, то в некоторых других случаях я должен еще иметь в виду расписания их мужей или бойфрендов. А с 69–57–23 еще и с распорядком жизни ее матери, глухой старухи, которая каждый раз орет в трубку. И потом, это несправедливо – то, что

я все время должен подстраиваться под них, я ведь тоже имею право делать, что хочу, звонить, когда приспичит, разве можно приказывать желанию!

Иногда на меня накатывает набрать 48–27–81 посреди ночи, а я терпеть не могу звонить ночью. Ужин, лежащий в моем желудке, подступает к горлу, рот и сердце наполняются кислотой, не лучшее состояние, чтобы приволакиваться за кем-то. Я предпочел бы сидеть у окна, часами наблюдая за бельем, которое вывесили сушиться, и оно бьется на ветру, в то время как стены двора медленно изменяют свой цвет.

Под стать ей и 27–65–04, та еще воображала. Постоянно навязывает время, в какое я вынужден ей звонить, всегда неудобное для меня, но как можно не подчиниться ей, с тех пор как однажды, услышав это ее "чао", я пропал.

Так что я звоню ей, даже если мне этого не хочется. А иногда, напротив, я ощущаю безудержное желание позвонить ей, позвонить им всем. Такое случается со мной по утрам, после бессонной ночи. Бессонница — это пытка, к утру оконные стекла становятся белыми, как пена, растекающаяся по поверхности черной воды, если бы я только мог позвонить им всем в эту минуту, но они, теплые и расслабленные, еще нежатся в постели под затхлыми одеялами, и автоответчики еще не включены, и я смогу услышать лишь опухшие от сна голоса, свиное похрюкивание, а это испортило бы мне настроение на весь день. И мне остается крутиться в кровати и ждать, когда для них пробьет час идти на работу, в школу или за покупками, и надеяться, что к этому времени жажда звонить не иссякнет. Сначала я весь напряжен и возбужден, потом поднимаю трубку просто так, по привычке, я верен своим привычкам, и, если никто из них не отвечает, мне даже лучше.

Еще и потому, что позже, в офисе, я сам должен отвечать на звонки, переводить их на другие номера, давать информацию, принимать сообщения, левая рука поднимает одну трубку, в то время как правой я держу другую, в которую уже говорю, потом звонит третий телефон, я прижимаю эту трубку плечом к уху, тут же звонят новые, это ужасно, голоса грохочут со всех сторон, каждый думает, что он единственный, и требует внимания только к нему одному, голоса наглые, алчные, пронзительные, вальяжные... и у меня внутри что-то взрывается...

Даже если бы все мои голоса, те самые, подлинные, позвонили мне одновременно, это была бы катастрофа, как если бы, лежа в гареме с обвившимися вокруг тебя красавицами, ты еще не успел начать делать то, что должен, как уже

вынужден прекратить, потому что одномоментно затрезвонили все телефоны. Хорошо чувствовать себя в гареме может только евнух.

И ночью, когда я кручусь в постели, в ушах все еще эти звонки, копья, пронзающие мозг, сверло дантиста, я встаю и проглатываю две-три таблетки, но это не помогает, звон не унимается.

Вот поэтому я звоню только на автоответчики: я не могу позволить себе звонить непосредственно им, обращаться с ними так же, как мир обращается со мной. Я с пиететом отношусь к женщинам, я уважаю даже тех, кто мне не нравится; я никогда не позволил бы себе вторгаться в их жизнь, звонок — это изнасилование, осквернение и выход за рамки нормы, это неприемлемо. Насильников я бы приговаривал к смертной казни, меня не убеждают их обещания, что они больше ничего подобного не сделают, я им не верю, от вожделения трудно избавиться, если бы такое было возможно, они могли бы утолять свое желание собственноручно в ближайшем туалете. Это неприятно, но все-таки лучше, чем насиловать других и звонить, когда тебя не ждут, удивляя женщин нежданным появлением в их жизни...

Как-то ночью, когда я вертелся в постели, зажав уши подушками, а вокруг меня все заливалось трелями, звенело и вопило, я понял, что с нами, должно быть, случилось что-то страшное, а мы этого не заметили. Это не было сном, нет, ладно бы я спал, тогда это значило бы, что, по крайней мере, я сплю, и даже кошмарный сон — глаза-то у меня тогда закрыты — все же лучше, чем бодрствовать и смотреть на все широко открытыми глазами.

Тогда я понял, что мир — это чудовищная телефонная станция, являющаяся центром управления всем на свете. Боже, ты покинул нас, а твое место занял кто-то иной, хозяин тьмы и шума... зло шумно и громогласно, ибо святые молятся в тишине, они не беспокоят никого и никому не звонят. А оттуда кто-то звонит без передышки, звонит, чтобы командовать, пытать, доводить до исступления, мешать дышать, обонять, трогать, пробовать, любить...

Но я не разрешил себе поддаться панике, я нашел способ защитить себя. Я перерезал телефонные провода, сначала дома, а потом в офисе. Чтобы позвонить моим голосам, достаточно спуститься в бар напротив. Но я опоздал. Кто-то, когда мне удалось, наконец, заснуть, не помню даже, когда это было, очевидно, вскрыл мне голову и подсоединил телефонный провод напрямую к моему мозгу, я до сих пор могу нащупать шрамы, вот тут, под волосами. В офисе на следующий

день провода были снова подключены, все снова работало и звенело.

Мне нравится, когда звоню я, а не когда звонят мне. Я исполнен уважения к женщинам, я это уже говорил, но я — мужчина, и когда беру на себя инициативу, то этим я вовсе не перечеркиваю моего уважительного отношения к ним. Я умею выжидать, ловить момент, это часть опыта. Мастер своего дела не позволит себе вести себя, как мальчишка, но во всех случаях звонящим хочу быть я. Ах, как это было бы прекрасно, если бы никто никогда не звонил по телефону и меня окружала бы безмолвная, безмятежная Вселенная... И лишь я, один я, набираю номера...

К тому же я заметил, что в последнее время там, на другом конце провода, начинает что-то происходить: повсюду западни, ловушки, капканы. Недавно я позвонил по номеру 28—15—31, где всегда отвечал ласковый, бархатный голос... Я позвонил ей в девять утра, в правильное время, и действительно ее уже не было дома. Но то, что мне ответило, не было голосом. Это было нечто другое, металлическое, бесполое, безликое: "ОТВЕ-ЧАЕТ-НО-МЕР-ДВАД-ЦАТЬ-ВО-СЕМЬ-ПЯТ-НАД-ЦАТЬ-ТРИД-ЦАТЬ-ОДИН-ПРО-ШУ-ЗВО-НИТЬ-МНЕ-ПОСЛЕ-ДВУХ-ЧА-СОВ-ПО-ПОЛУД-НИ..."

Я узнал, что это называется répondeur, когда голос не записывается на пленку или какой-то другой носитель, а набирается цифровыми кнопками, и получается вот такое непотребство... Нет, то, что сейчас слышалось в трубке, совсем не походило на голос... железный скрежет, дыхание, которое собирается и разбирается, будто детали конструктора, ледяная кукла, подпирающая балюстраду зимнего общественного парка, от одного взгляда на эту куклу пробирает озноб. Даже стекло моего всегда закрытого окна заледенело, не знаю уж, каким образом с ним такое случилось, кто его таким сделал. А ведь когда-то оно точно было другим, было лето, всегда было лето, окно было открыто, и я мог высунуться из него, облокотившись о подоконник.

Еще одно свойство того захватчика с телефонной станции — безграничная зависть ко всему прекрасному, чем я обладаю. Он делает все, чтобы уничтожить меня, строя все эти козни и хитрости... Если бы кто знал, сколько их было на моем пути, сколько ран я получил и какие усилия предпринимал для своего спасения. Как в той грязной луже, я тонул в ней, погибал, я уже почти погиб, потеряв себя в этом потопе, в этом стремительно несшемся по улицам и над крышами домов весеннем паводке, чьи полноводные потоки переворачивали и сносили все на своем пути. Они несли меня в никуда,

но я не сдался, я притворился мертвым, и, когда вода схлынула, я был жив, я приоткрыл глаза и даже подмигнул одним глазом чистому, освободившемуся от грязной воды небу, этому глупому солнцу, висевшему надо мной, будто мяч, оставшийся на отмели после отлива.

Они не оставляют меня в покое, продолжая устраивать мне пакости, все новые и новые. Они даже убрали трамвайную остановку перед моим домом, так что теперь мне приходится ходить в офис пешком. Зимой холодно, от снега ботинки и носки сначала намокают, а потом заледеневают. Они ежедневно меняют остановки, и автобусы останавливаются, где попало, так что бессмысленно изучать их маршруты, лучше вдумчиво вникнуть в логику их действий, чтобы понять, куда они могут проложить маршрут в следующий раз, чтобы оказаться в нужном месте в тот самый момент, когда, как они полагают, ты будешь ждать автобуса на остановке, которую они только что отменили.

Однажды они явились целой бригадой, эти мерзавцы, делая вид, что откапывают лопнувшую дренажную трубу, они вынудили меня пойти длинным путем, под предлогом, что по короткому нет прохода. Я было собирался набить им морду, но сообразил, что именно этого они и добиваются, и не поддался на провокацию. Я улыбнулся им, поклонился и даже назвал их “почтеннейшие”, чтобы притупить их бдительность; они смеялись, они думали, что я ничего не понял, а когда до них дошло, что я раскрыл их мошенничество, было поздно, я был уже вне досягаемости.

Я сделал солидный крюк, очень солидный, удаляясь все дальше и дальше от офиса, держа его в центре безмерного круга, безграничного снежного круга, а они устроили засаду и ждали меня там, в этом самом центре, но я продолжал нарезать круги, огромные круги, все огромней и огромней, я обступал их, я окружал их, я владел ситуацией. В общем, им так и не удалось положить меня на лопатки.

Со мной были мои любимые голоса, они помогали мне, они держали меня на поверхности.

Кто не испытал ничего подобного, не знает, как любовь помогает одолеть трудности. Женщина, которая рядом с тобой, заметив, что ты охвачен тревогой, находит для тебя единственно верный тон, сопровождая его успокаивающей улыбкой, на какую способна только она, и этого достаточно.

Наконец до них дошло, что, до тех пор пока мои женщины со мной, я неуязвим и они ничего не могут со мной поделать. Тогда они принялись отнимать моих женщин у меня, одну за одной.

И потому сейчас я слышу в ответ только этот нечеловеческий... неголос... это говорящее железо, которому, прикрыв это паскудство ширмой, они присвоили красивое, на языке обольщения, французское имя répondeur. Я не желаю слышать в трубке этот плоский скрежет, я хочу слышать голоса женщин, пусть самых вульгарных, но реальных, однако всё, поезд ушел, даже "чао" этой 27–65–04 исчезло, вытесненное бездушным металлическим карканьем. Я знал, что рано или поздно любовь проходит, всему на свете когда-то приходит конец, я не претендую на вечность, но все закончилось слишком быстро и внезапно, хотя даже самый последний неудачник должен иметь право на звонок по телефону.

И тогда я решился на саботаж, я отказался звонить тем, кто прикрылся этим фальшивым высокопарным французским словом. Я начал с номера 27–65–04. Я знал, когда ее нет дома, и попытался проникнуть в ее квартиру, чтобы сломать этот адский механизм, разрушить коварные чары, я хотел освободить плененную принцессу и вновь обрести ее голос. Когда я забрался на ее балкон, меня заметила консьержка, она наверняка была их сообщница, она позвонила им, они были кругом, готовые к моему визиту, я должен был предвидеть эту ловушку.

Они набросились на меня, но я схватил камень и стал колотить им налево и направо, открылся проход, я проскользнул в него и укрылся в лесном шалаше. Мне тоже досталось, и порядком, кое-где болит, и я весь в крови, думаю, это моя кровь... Лес глухой, вряд ли они найдут меня, пусть считают, что меня уже схватили, так лучше. А ночью я проберусь к одной из телефонных будок, что стоят на шоссе, и попробую набрать другие номера, может быть, остался еще где-нибудь настоящий голос, это архиважно для меня... Я не сдамся.

Быть уже бывшими

Посвящается Луке Доминелли

ИТАК, Джерри мертв, ничего не поделаешь, и теперь это уже не проблема, ни для него, ни для других, ни для меня, человека, который любил его и продолжает любить, ибо слово "любить" не спрягается... Бог мой, в этом смысле, да, конечно, нам еще этого не хватало... у любви своя грамматика, в ней нет времен, а есть только глагольные формы наклонения, точнее, всего одна: бесконечное настоящее, если любишь – это навсегда, а все остальное побоку. Это относится

ко всякой любви, какая бы она ни была. Неправда, что она проходит, ничего она не проходит, и часто именно в этом большое несчастье, ты носишь любовь в себе, как жизнь, которая есть не что иное, как судьба, с той лишь разницей, что любовь угасает медленнее, чем жизнь, она в тебе, подобная свету звезд, кому какое дело, мертвы они или живы, светят — и все тут, и даже днем ты знаешь, что они светят, хотя их и не видно.

Так что мы больше не услышим его гитару, и с этим тоже ничего не поделаешь, можно обойтись и без этого, можно обойтись вообще без всего. Но, Боже, как он играл! А когда рука у него перестала действовать, он захлопнул за собой дверь — и все, и покинул всех нас. Вольному воля.

Рано или поздно такое должно произойти, и совсем неважно, по какой причине, и кто знает, дамы и господа, сколько из нас, живущих сегодня вечером, не проснется завтра утром, или через месяц, уж точно не все, это статистика, наверняка кто-то из тех, кто сейчас просит подвинуться стоящего перед ним соседа, чтобы не мешал ему видеть сцену, посетил парикмахера в последний раз, но что поделать, годом раньше, годом позже, какая разница, мне не жаль тех, кто ушел, я не завидую тем, кто продолжит жить дальше, и меня нисколько не волнует, к какой группе принадлежу я.

Аминь, Джерри, аминь всем и всему. Как я уже говорил, я не оспариваю его решение, если кто-то хочет выйти из автобуса, пусть выходит, если он предпочитает сделать это, выпрыгнув на ходу, не доезжая остановки, — его право. Кому-то может все надоесть, он может устать, кто-то не желает больше выносить все это дальше или еще по какой не известной мне причине — его право. Но когда я увидел его впавшим в депрессию из-за того, что он больше не может играть, как раньше, я сказал ему, просто чтобы подбодрить его, что он был великий музыкант, и он ответил, что ему мало того, что он *был*. Он хотел *быть* — неважно кем, музыкантом, влюбленным, кем угодно, но *быть*.

Именно в тот момент, дамы и господа, я понял, какая великая удача вообще родиться на свет, и что это случилось со мной, и какая удача иметь дядю, или деда, или любого другого родственника из Братиславы, или Львова, или Калочи[1], или из какой-нибудь другой дыры этой несуразной Центральной Европы, которая на самом деле есть ад, настоящее отхожее место, достаточно окунуться в ее удушливую атмосферу, почувствовать ее вонь, что одна и та же от Вены до Черно-

1. Город в Венгрии. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

виц, но, по крайней мере, там никто не навязывает тебе *быть*, наоборот.

Ах, если бы Джерри, когда рука у него перестала действовать, понял, какое это великое счастье *быть уже бывшим*... когда ты свободен, езжай, куда хочешь, когда тебе великодушно дозволено больше не *быть*, не брать в руки гитару в качестве обязанности, ты свободен покинуть казарму жизни!

Но, видимо, ему это было не дано, потому что он не родился и не жил в том паннонийском[1], затхлом и плотном, как ватное одеяло, воздухе, не сиживал в той дымной остерии, в которой тебя отвратительно кормят и еще хуже поят, но ты прекрасно чувствуешь себя, когда снаружи льет как из ведра и дуют ветры — а снаружи, в жизни, дожди идут всегда, и ветры злы и безжалостны. Да любой бакалейщик из Нитры или Вараждина[2] мог бы научить всех живущих на Пятой авеню — за исключением тех, кто перебрался туда из той же Нитры, или из Вараждина, или из любой другой паннонийской грязной дыры, — счастью *быть уже бывшими*.

Да, на одной стороне эта сладостная скромная легкость *быть уже бывшими*, этот промежуток жизни, заключенный в неопределенные и гибкие временные рамки, где все легко как пух, а на другой — тяжко, убого и жуткая самонадеянная необходимость продолжать *быть*!

Речь не о каком прошлом, Боже упаси, и, тем более, не о ностальгии, она глупа и вредна, в самом слове "ностальгия" — боль возвращения. Прошлое ужасно, мы, сегодняшние, — варвары, грубые насильники, но наши деды и прадеды были еще хуже, жестокие и свирепые дикари. Вот уж точно, не хотел бы я жить в их время.

Нет, я имею в виду то, что сказал и чего хотел всегда: *быть уже бывшим*, уже хотя бы для того, чтобы избавиться от обязательной военной службы. Сознание своей малости иногда спасительно, оно защищает от обязанности участвовать, рисковать собственной шкурой. Состояние *быть* вредно, от него одно беспокойство. Делай это, делай то, работай, борись, побеждай, влюбляйся, будь счастлив, ты должен быть счастлив, это твой долг перед жизнью — быть счастливым, если ты несчастлив — какой срам!

Но даже если ты примешь все правила игры, будешь стараться выглядеть молодцом, добропорядочным счастлив-

1. Паннония — древнее название земель, большей частью входящих в современную Венгрию.
2. Нитра — город в Западной Словакии. Вараждин — город в Хорватии.

цем, что предписывает долг, как этого добиться? Ты погряз в обязанностях, неожиданно, как карниз крыши тебе на голову, валится любовь, жуткий удар, а то и хуже, ты бредешь вдоль стен, уворачиваясь от обезумевших автомобилей, но стены побиты, из них торчат острые камни и осколки стекла, которые обдирают тебе кожу до крови, ты в постели с кем-то, и вдруг понимаешь, какой могла бы и должна была бы быть настоящая жизнь, и становится невыносимо больно, и ты подбираешь разбросанную по полу одежду, одеваешься и уходишь, к счастью, рядом есть бар, а в нем то, что тебе надо, — кофе или пиво.

Да, выпить пива, например, это тоже способ *быть уже бывшим.* Ты сидишь, смотришь, как выдыхается пена в кружке, каждую секунду по пузырьку, сердце стучит, с каждым последующим стуком — отдых и обещание отдыха усталому сердцу, и все у тебя позади. Я помню, как бабушка, когда мы ходили навещать ее в Суботицу[1], закрывала сукном углы мебели и отодвигала подальше железный стол, чтобы мы, дети, не поранились, когда носились по дому как угорелые, сталкиваясь друг с другом, и еще завешивала электрические розетки.

Быть уже бывшим — это и есть жить в том месте, где нет углов, где ты не обдерешь коленей и не сможешь зажечь лампу, свет которой вреден твоим глазам, все стабильно, все вне игры, никаких неприятных неожиданностей. Вот, дамы и господа, это то наследие, которое мы получили от Центральной Европы. Сейф, пустой, но с замком, который обескураживает взломщиков, возжелавших положить внутрь Бог знает что. Пустой, в нем ничего, что брало бы за сердце и цепляло душу, когда-то там была жизнь, надежная, укрытая от всех невзгод и потрясений, теперь это высохший венок, который ты вешал на стену в праздники, банкнота в рамочке за стеклом, давно вышедшая из употребления и потому не боящаяся никакой инфляции. Даже в романе самое прекрасное — это эпилог, по крайней мере, для автора. Все уже произошло, описано, проблемы решены, герои достигли счастья и довольства или умерли, что одно и то же, при всех условиях с ними больше ничего не может случиться. Роман окончен, писатель перечитывает эпилог, может быть, добавляет запятую и ничем не рискует. Любой эпилог — счастливый, уже оттого, что это эпилог.

Ты выходишь на балкон, легкий ветерок пробегает по гераням и фиалкам, как если бы это были твои мысли, капля до-

1. Суботица — город в Сербии.

ждя стекает по лицу, если дождь сильный, тебе нравится слушать грохот струй по навесу, когда дождь прекращается, ты идешь прогуляться, обмениваешься парой слов с соседом, встреченным на лестнице, ни ему, ни тебе неважно, что говорить, просто приятно на мгновение остановиться, в окно на лестничной площадке ты видишь на горизонте полоску моря, которое вдруг сверкнет в лучах выглянувшего из-за облаков солнца. “На следующей неделе мы едем во Флоренцию”, — сообщает сосед. “Да что вы! Прекрасная идея. Мы там уже были”. И таким образом экономятся усилия на поездку, очереди, жару, давку, поиски ресторана.

Прогулка по промытому дождем вечернему воздуху, и домой. Нет нужды переутомляться, иначе не утихнет возбуждение и не удастся уснуть. А бессонница, уж поверьте мне, дамы и господа, — вещь ужасная, от нее просто так не отвяжешься, она давит, душит, отравляет, бессонница — это высшая форма *быть*, *быть* = бессонница, поэтому нужно спать, сон — начальная стадия того состояния, которое я называю *быть уже бывшими*, и это словно вздох облегчения, что уже немало...

Наверняка вы меня поймете...

Посвящается Франческо и Паоло

НЕТ, я не ушла, синьор Президент, как видите, я здесь. Еще раз благодарю за особое разрешение, действительно особое, я отдаю себе в этом отчет, не подумайте, что я не благодарна вам. Он тоже был потрясен, он не рассчитывал, что удастся добиться результата, когда попросил разрешить ему прийти в Дом, чтобы забрать меня отсюда.

Конечно, я волновалась, что не смогла выразить вам мою признательность, так что кто-то... в здешнем слабом свете я плохо рассмотрела кто, тут плохо видно, тень исчезает прежде, чем можно разглядеть лицо, тем более что здесь все мы на одно лицо, все похожи друг на друга, это логично в таком месте, как это... кто-то наверняка подумал, что это он в последний момент захотел вернуться, чтобы еще раз поблагодарить вас за ваше разрешение и что из-за этого я... Если потом все случилось так, как случилось, не виноват никто, то есть это только моя вина, хотя неважно, кто и что каждый делает здесь, в этих стенах. По крайней мере, так думают те, кто находится снаружи, для кого мы абсолютно ничего не значим.

Но для него это что-то да значило и еще как значило, если он решился прийти сюда, а не капитулировать, как другие, перед строгим регламентом Дома, который запрещает... в их и наших интересах... принимать гостей и ставить под угрозу собственный покой и общественное спокойствие, только представить, как мы, не дай Бог, выходим отсюда и оказываемся в том аду, в том хаосе трафика, грубой толпы или, что еще хуже, в хаосе капризов погоды, от которых здесь мы, по меньшей мере, защищены.

Он меня действительно любит, он влюблен в меня, как в первый день, он стал сильно выпивать, потому что не находил себе места без меня, когда мое здоровье резко ухудшилось, он заставил меня попроситься сюда, в этот Дом, красивый, комфортабельный, хорошо оборудованный, ничего не скажешь, он плакал, он кричал, он был убит своим поступком, перестал бриться и даже менять себе белье.

Он приставал с рассказами о своем несчастье и одиночестве к любому, кого встречал, ему мало было чувствовать меня рядом, окруженной его заботой, там ей лучше, чем дома или в клинике, говорил он, это бесспорно, но мне-то одному, что делать, я брожу по пустым комнатам, как чужой, посторонний в собственном доме, если открываю ящик, то обязательно не тот, который нужен, я разогреваю вчерашний кофе, отвратительный на вкус, а постель... постель без нее пуста... Меня трясет, когда я вижу на том месте, где спала она, легкий контур ее тела, я знаю, это невозможно, с тех пор простыни менялись неоднократно, но это так, да, она здесь, повторял он, но эта воздушная пустота рядом со мной... то, что ее нет возле моего бока... без нее я не могу отыскать ни одной книги, это она держала их в порядке и знала, где стоит каждая... нет, вам этого не понять...

И скоро даже ближайшие друзья, завидев его, сворачивали в сторону, всех уже достала эта его неуемная меланхолия, это его биение в грудь, эти его обвинения неизвестно кого и непонятно, в какой вине... Естественно, говорили они, мы все ведем себя подобным образом, когда кому-то плохо, разве мы можем поступать иначе, эти Дома, они для того и существуют, для наших близких, для их блага, когда они заболевают, потому что когда они заболевают... и неизвестно еще, не болен ли я сам, когда эта проклятая инфекция повсюду, хотя меня и не кусала ядовитая змея, но все равно бросает то в жар, то в холод и слабость во всем теле... мы не знаем, как помочь им и что сделать для них...

Для этого и есть Дом. Надо смириться с этим, и даже получать удовольствие, и оставаться в мире со своей совестью,

когда мы сопровождаем их туда и передаем в руки работающего там персонала, отлично знающего свое дело.

Но он не унимался, сердцу не прикажешь, говорил он, мое рвется на куски, и, если ему скажешь, не рвись, оно все равно рвется, и он чуть не плакал, ах, мне так невыносимо от мысли, что она там, в тех условиях, в тех комнатах или комнатушках, в тех ульях, среди других, высохших, как мумии, грязных, да, я знаю, что их там сразу же моют, что все там всегда содержится в порядке, даже сад, но когда я думаю, что она среди всех остальных, такая красивая, такая деликатная, мечтательница... — да, он видит меня такой, он, мой драгоценный муж, мой мужчина... — с этим ее нежным лицом и не тронутой годами улыбкой, там ей наверняка лучше, добавлял он, у нее есть все что нужно, я это понимаю, но я-то, но мне-то как быть без нее, она — счастливица, а я несчастен, пожалейте несчастного влюбленного...

Если вы думаете, что я преувеличиваю, говорил он друзьям, это значит, у вас нет ни сердца, ни сострадания, у вас нет поэзии в душе, чтобы суметь когда-нибудь понять мои муки, мои терзания и боль поэта...

И он принимался писать в своих тетрадях, которые я так хорошо знаю, он писал мое имя, потом что-нибудь еще, и снова мое имя, и еще что-то, а после вырывал страницу и выбрасывал ее, потому что понимал, что у него не выходит ничего путного.

В чем-чем, а в этом он разбирался, это у него в крови, он сразу замечал, когда из-под его пера выходила банальность, он всегда прощал себе все, он позволял себе блефовать в отношениях с женщинами, как человек крайне эмоциональный и уязвимый, пытаясь добиться от всех понимания и сочувствия... Но со словами нет, здесь он не давал себе спуску, здесь он сразу чувствовал, когда дело не шло, и не пытался хитрить с собой.

В сущности, только когда мы были вместе, он обретал спокойствие и уверенность, это относилось и к тому, что он писал, он все читал мне и смотрел в мои глаза, точнее, говорил он, я смотрю на твой рот, сначала губы слегка надуты, но вот они медленно приоткрываются в мимолетной улыбке, нет, еще нет, но вот...

Я, разумеется, безжалостно кромсала написанное, он, избыточный и неумеренный, каким был всегда, щедро вываливал новые, полные, горсти слов, я очищала их от шелухи, выбрасывала ее прочь, а когда ощущала необходимость, то и само ядро, и большую часть мякоти тоже.

Сам он на такое был неспособен, жадный и невоздержанный во всем, всегда один кусок и один бокал лишний, но, ко-

гда я сажала его на диету, удаляя с тарелки все лишние куски, он знал, что если на тарелке оставалось что-то, чему я позволяла остаться, то это было действительно нечто стоящее. С тобой, говорил он, рядом с тобой, я знаю, кто я, и знаю, что я вовсе неплох.

В том, что он избалован всеми этими лавровыми венками и разнообразными литературными премиями, моя заслуга, это моя рука вычищала излишки жира и сентиментальной каши... если бы вы знали, сколько негодного было отправлено мною в корзину, не исключаю, что среди порванных мной страниц исчезло что-то приличное, кто знает, ничего страшного, стерпим, будет ему уроком.

Что бы я ни делала, он молчал... он всегда соглашался со мной, обладая отличным нюхом на такие вещи, он признавал мой нюх, и даже если замечал мои редкие ошибки... но я почти никогда не ошибалась... продолжал помалкивать, не рискуя ссориться со мной, ну одной строчкой больше, одной меньше. Я была его Музой, а перед Музой склоняют голову, разве не так? Поэт преданно повторяет то, что она ему диктует, и этим зарабатывает свой лавровый венок, после чего несет венок домой, и его Муза кладет лавр в жаркое, которое готовит ему, исполненная великой любви, с лавровым листом жаркое получается более душистым.

Он, путаясь в лаврах на голове и в жарком, даже дома, за столом, повторял то, что говорила ему я. Боже, каким он был болтуном! К сказанному мной он добавлял свое, а я позволяла ему выходить на первый план, особенно при гостях, больше того, я гордилась этой его болтовней, такой живой, такой сверкающей, которой мне так сильно не хватает здесь, в этом Доме, где все молчат или шепчутся, словно в церкви, я гордилась тем, как он повторяет, приукрашивая, преувеличивая и раздувая, то, что говорила ему я.

Даже если он принимался высмеивать кое-что, чтобы произвести впечатление на компанию, я позволяла ему это, я хорошо знала, что, когда касалось главного... главного для него... он прекращал курить и играть в карты с другими бездельниками, швырять деньгами, завязывал с политикой, по вечерам возвращался домой рано, молчал, когда я вымарывала у него строку, четверостишие или целое стихотворение, например, когда три года назад я выбросила все стихи, посвященные одной сопливой девице.

Я гордилась тем, что им все восхищаются, и мне было наплевать на то, что никто не знает, что это моя заслуга, что это я держу его в ежовых рукавицах и в творческом тонусе. И сейчас меня охватывает ярость оттого, что, жалуясь всем на

свои страдания и муки, он позволяет себе все те непристойные поступки, от которых я его постепенно очистила, как от ниток на пиджаке или волос в носу... да, это я, за то время, что мы вместе, привела его дела в порядок и изменила его целиком, до кончиков пальцев на ногах, так, что никто его больше не узнавал, я уверена, что и у него при виде собственной обновленной физиономии в зеркале отвисала челюсть.

От меня потребовались неимоверные усилия, но этот баловень, вместо того чтобы быть мне признательным... ничего не попишешь, такова женская доля. Я не первая и не последняя... А сейчас снова грязь под ногтями, многодневная щетина, полночи без сна, потом в кровати до полудня, всегда расхристанный... в общем, делает, что хочет, как беспризорный мальчишка.

Ах, если бы я только вышла отсюда, мне хватило бы пары дней...

Я знаю, знаю, порой моя опека его сильно угнетала... а меня, думаете, нет? Но и ему тоже было известно, что, несмотря на все это, только в его объятьях я становилась настоящей женщиной, а он в моих — мужчиной, не самовлюбленным нарциссом, а настоящим мужчиной, таким, кто выбрал правильный путь и не боится того, что на этом пути с ним может случиться. Правда, с тех пор как я здесь, до меня доходят слухи, что он стал невыносим, плаксив и зануден, у всякого просит помощи, никого не слушает, а домогается, чтобы его выслушивали и восхищались тем, как он смиренно несет свой крест.

Если б я только могла...

Интересно, как он поступает сейчас, когда я больше не печатаю его стихи на машинке. Я делаю слишком много ошибок, говорил он, и не замечаю их, это стыдно, но так ему было даже удобно, печатать приходилось мне, а он брал в руки газету или шел пропустить стаканчик вина.

Сейчас, когда меня нет рядом, заметил ли?.. Те женщины, которые приходят слушать его всякий раз, когда он читает что-нибудь свое на публике или устраивает обсуждение, балуют ли они его, рвутся ли дотронуться до него, эти дуры боготворят каждого, кто умеет сочинить несколько строк в рифму, и думают, искренне обманываясь, что за этим соединением слов скрывается, бог знает, какое огромное сердце... Они тянут его в разные стороны, и все кончится тем, что одной достанется пола его пиджака, а другой — рукав. Они суют ему в нос его книги для автографа, заваливают восторженными письмами, на которые он с не меньшим восторгом отвечает.

Несколько раз он просил меня ответить им от его имени, я развлекалась, делая это, приводя их в еще больший восторг и держа их этим на коротком поводке, иногда я перепечатывала его ответы на пишущей машинке или на компьютере, с трудом разбирая его нечитаемые каракули, этот его почерк неврастеника. Влюбленного и упрямого, как законченный неврастеник. Это хорошо, когда тебя любит неврастеник, это придает тебе чувство уверенности. Тогда ты можешь быть спокойна, зная, что это у него не пройдет, не пройдет его навязчивая идея, не подвластная ударам судьбы. Не думаю, что он так сильно любил бы меня, не будь он таким неврастеником.

Вы, господин Президент, получили достаточное представление о его упрямстве и педантизме, которые могут довести до белого каления. Вы видели его заявление, в каком он излагает просьбу забрать меня отсюда, все необходимые штемпеля и печати на месте, а после вашего первого отказа читали его протест, к которому прилагались новые бумаги и где подробно оспаривалась приведенная вами аргументация, и все это при продуманном дозировании мудростей бюрократического крючкотворства, маниакального юридического формализма, внезапного полета фантазии и страстных посылов, и все для того, чтобы потрясти членов Административного совета Дома, поскольку лично вы, господин Президент, оставались глухи к красивым фразам, мольбам и просьбам, способным заставить разрыдаться даже мертвого.

Вы, господин Президент, знаете лучше многих человеческое сердце. С незапамятных времен, целую вечность вы видите, как оно то триумфально вздымается, восторженно подрагивая и с энтузиазмом распахиваясь, когда ему это ничего не стоит, то закрывается и черствеет, когда речь заходит о том, чтобы платить по счетам, всегда слепо доверчивое, готовое страдать из-за собственной гиперчувствительности и скорбно смягчаться при виде страданий других, кого они невольно ранили. И такое тоже случается, такова жизнь. Конечно, грустно видеть, как вянут цветы, которые попирает жестокая судьба, но... Если суммировать все это, то он тоже был не слишком щепетилен по отношению к некоторым околдованным им барышням. И если он походя срывал иногда цветы удовольствия, то делал это в полной уверенности, что, в сущности, барышни должны были бы гордиться тем, что им довелось украсить гирлянду поэта.

Что? Простите, я вас плохо слышу, господин Президент. И совсем не вижу вас в этих потемках... понимаю-понимаю, это не из-за скаредности заведения, просто почти все спят, я

вовсе не возмущаюсь, этого только не хватало, это было бы неблагодарно с моей стороны, после того как вы дали ваше совершенно невероятное разрешение, истинная милость, и если я им не воспользовалась, так это только моя вина.

Наоборот, этот приглушенный, едва видимый свет мне нравится, мне кажется, что я на дне моря, где все неподвижно застыло, даже время. Мы любили нырять с ним вместе в темно-синюю воду, глубокую у самого берега нашего острова, может быть, только там, в глубине, в эти застывшие мгновения, долгие, как века, мы и были по-настоящему счастливы. И теперь здесь, в этих стенах, в этом почти абсолютном мраке...

То есть я хочу сказать, что я вас не вижу, господин Президент, и, не зная, где вы, видимо, смотрю в неверном направлении, потому что некоторые ваши слова ускользают от меня...

Ах, я спрашиваю себя, если со мной он вел себя так же, если бы я тоже была одним из его бедных цветов, нежных и увядших, позволила бы я себя выбросить?..

Ни за что, не сомневайтесь. Я — нет. Иначе бы он не взялся за это непосильное дело — прорваться сюда, добиться-таки Вашего разрешения, даже подумать страшно, что он совершил, я действительно никогда не слышала, чтобы такое кому-то удалось, а он сделал это ради меня, ради меня, которая была для него не сорванным цветком, а, как он говорил, пламенем, которое согревает душу, нет, обжигает ее, словно выдержанное терпкое вино, которым пытаешься утолить жажду, но после каждого глотка она становится лишь сильнее, словно иссушающим летом...

Я научила его всему, научила долго оставаться во мне, до и после, или ожидать, когда я разрешу ему войти в меня... и всему прочему. Когда мы занимались любовью, он был подобен морю, огромной волне, поднятой прибоем и обрушенной на берег, без меня он так и остался бы не мужчиной, а мальчишкой, одним из тех, для кого совершить любовный акт — все равно что высморкаться. Да, это я научила его всему. А не только любви.

Ей тоже, разумеется, но и всему остальному. Мужеству, верности, способности без боязни смотреть в темноту, быть мужчиной, а не самодовольным графоманом, который бахвалится тем, что отлично владеет пером, но которого ни в грош не ставят.

Он входил в меня, как меч, сладкий и могучий, господин, и раб, и партнер, и все остальное — крыло сокола, рассекающее небо, запахи, мой, его, сырой земли, листьев в вихре ветра. С этим мечом в себе я больше ничего не боялась, и он то-

же... в объятьях моих рук и бедер он забывал о своих страхах, а их у него было полно, он просто сбрасывал их с себя, как делал это с одеждой, когда мы, обезумев, падали в постель.

Если б вы знали, как меня раздражают те, кто всего боится, кто впадает в панику из-за нескольких складок под грудью, или на животе, или из-за таракана на столе, а то и из-за сквозняка, людям всегда есть, из-за чего дергаться, а все потому, что они неправильно занимаются любовью, иначе все их мании моментально прошли бы, я же не впала в истерику из-за этой напавшей на меня проклятой заразы, хотя только одному Богу известно, как меня это огорчило, но разве можно впадать в истерику при виде каждого безобидного ужа у себя под ногами, пусть даже за тобой приходят эти мусора в черных мундирах и бросают тебя в свои черные машины, да так, чтобы тебе было больно, как поступают все тюремщики и хозяева этого мира.

И если меня сейчас трясет, как от озноба, это естественно, это понятно, достаточно было подумать обо всем этом...

Простите, Президент, я не собиралась так откровенничать и еще меньше я хотела бы показаться дурно воспитанной. Меня неоднократно предупреждали, чтобы я никогда не заводила разговора о таких вещах. Тем более, с вами, потому что это было бы наглостью, неприличным поступком.

Я тоже думала, что вы очень суровый человек, пуританин, из тех, кто обязательно покарал бы Адама и Еву за то, что они занимались любовью в том саду, в котором только от вида всех прекрасных цветов с открытыми венчиками их должно было охватить желание, какого не испытали даже мы тем летом на берегу моря...

Короче говоря, вас можно принять за человека, который не допускает даже мысли о каких-то отношениях между мужчиной и женщиной. Ложь, я уверенно утверждаю это, пусть вам и наплевать на все наветы и гадости, которые распространяют о вас. С тех пор как я здесь, в этом огромном Доме... я до сих пор с ним как следует и не познакомилась, я даже не видела и малой его части... мне кажется, что вы не такой, вам, уверена, понравилось бы, если бы двое...

И уж точно вы не стали бы вмешиваться. Тогда как по другим поводам, наоборот, если кто-то ссорится, симулирует, причиняет другому боль, тут, разумеется, сразу же тому, кто не утихомирится, розги. Вы вовсе не боитесь, что здесь кому-то придет в голову полезть под юбку или в штаны, при этом жутком мраке, жутком холоде и полном отсутствии свежего воздуха мы все нездоровы, впрочем, будь мы другими, нас бы здесь не было, так что у нас не возникает большого желания

потрах... получить плотское удовольствие. Поэтому руководство Дома не слишком-то присматривает за нами и позволяет случаться некоторым невинным забавам.

По крайней мере, мне так кажется, потому что мы этого никогда не обсуждаем.

Я вот подумала, я ведь никогда не видела вас. Признаюсь, меня это немного удивляет. Может, вы ходите среди нас, переодевшись, я даже уверена, что это так, вы же не пациент, как все мы, и не можете рисковать тем, что вас могут узнать.

Страшно представить себе это! На вас набрасываются с мольбами, благодарностями, проклятиями, умоляют о помощи, оскорбляют, просят прощения, упрекают, обрушивают на вас свои несчастья, жалобы и проблемы, накопившиеся Бог знает с какого времени, чтобы вы, такой авторитетный и наводящий на всех страх, могли бы легко их разрешить. Но, с другой стороны, здесь, внутри, в Доме, вы могли бы и явить нам свое лицо, хотя бы только для того, чтобы приободрить нас, вот он я, здесь, с вами, не волнуйтесь, все будет хорошо.

Как-никак, вы Президент Фонда, на чьи деньги содержится Дом, первый и до сего времени единственный, кто пошел здесь навстречу моему возлюбленному и мне... А вы даже не показываетесь, никто в этом Доме вас никогда не видел. Может, и правда, из-за света, такого приглушенного и размытого, что его, сдается, вообще не включали, я понимаю, так предписано, но, извините, мне лично это не нравится, это не эстетично, иногда кажется, что ты попал на какую-то странную дискотеку, где ничего не разобрать из-за темноты и орущей на всю громкость музыки, хотя здесь все сидят молча или разговаривают так тихо, что тоже ничего не разберешь.

Но если забыть про свет, то такого уж большого различия между тем, что внутри Дома и что снаружи, нет, как думают многие, или как пишется в рекламных буклетах, которые подсовывают вам во всех филиалах Дома, его многочисленных представительских офисах и агентствах. Не стоит верить торговым агентам, понятное дело, собирать медяк к медяку — их профессия, надо кормить семьи, и они из кожи вон лезут, демонстрируя рекламные проспекты, фотографии и картинки, на которых великолепные пляжи, безоблачные небеса, дешевый билет в рай, удобства и забота гарантированы, как и скидки для семейных, можете сами убедиться, госпожа, там, в Доме, все иначе, там настоящая жизнь, а не то, что эта, испоганенная лживым, насквозь прогнившим обществом. Адам и Ева нагрешили, где могли, а об их детях и внуках и говорить не приходится, мир испорчен и болен, садитесь в машину, она тоже предоставляется фирмой, все

включено в стоимость, и поезжайте, вы не пожалеете, вы себе даже представить не можете, как вам в Доме будет хорошо, насколько там все по-другому.

И правда, я почти не заметила, как оказалась где-то в другом месте. Улицы, например, совсем как наши, почти никакой разницы. Так же ходят мрачные люди, во взглядах подозрительность и враждебность, толкаются, исчезают в проулках. Петляя, течет река, то шире, то уже, сдавленная берегами, даже если берегов и не видно, словно их нет.

Вода сверкнет на мгновенье в луче света и исчезает в тени низко нависшей тучи, тебя охватывает неясная тревога, она не причиняет тебе вреда, но переворачивает душу, вода мягка, как туман, так же, как мягка толпа, которая тебя сжимает, тела будто из жидкой глины, которая растекается в твоих ладонях и испаряется прежде, чем ты их стиснешь.

Течение быстрое, деревья склоняют свои ветви к самой воде, они бьют тебя по лицу, но это всего лишь легкая ласка только что распустившихся листьев, чье-то лицо проплывает перед тобой с неопределенной улыбкой и тут же исчезает в податливой толпе, фигура из дыма. Больно сжимается сердце. Любовь моя, защити меня...

То воскресенье в городе, где ты служил солдатом... сегодня, вчера, тысячу лет назад... здесь нам запрещено иметь часы и календари, их отбирают при заезде, у нас здесь всё сейчас и всегда... боже, ты был солдатом, носил мундир. Благодаря тем книгам, которые ты написал до армии, тебя сразу назначили писарем ротной канцелярии, и даже то, что ты делал кучу ошибок, тебе не помешало, речь ведь шла не о твоих канцонах, пишущая машинка нравится тебе сама по себе, твои пальцы на клавишах, они как удары судьбы, бегущей по бумаге буквами и цифрами. Ты всегда любил писать, неважно что, просто писать и все, ценным было само телодвижение, жест поэта, королевский жест, ты — верховный главнокомандующий над скромными гласными и согласными, по твоей команде они выскакивают и выстраиваются в ряды, вперед, марш, направо, не ломать строй!

Смять лист и бросить его в корзину — там, в казарме, ты этого не мог себе позволить, там каждый лист был пронумерован и был значим, ты вкладывал его в нужную папку, предварительно зарегистрировав в канцелярской книге. Казалось бы, ты должен был оставаться таким и вне стен казармы, и когда закончишь военную службу. Каждое твое слово, каждая фраза, каждая страница осмыслена и нужна, как в тех регистрационных книгах, сильная и красивая песнь жизни.

Но нет, все наоборот, твои песни, сбросив мундир, вдохнув в увольнении воздух свободы, смешивались с гомоном и ором улиц, и бесполезно было повышать голос, тогда становилось еще хуже и только усиливало общий шум... воздушный вихрь срывает страницы со стола и разносит их, Бог знает куда...

...И сейчас, когда там, за стенами Дома, ты в муках выкрикиваешь мое имя или прозвище, одно из тех, какими ты любил называть меня и какие звучат в моих ушах... моя Эвридика, говорил ты, моя... даже и сейчас, когда ты зовешь и оплакиваешь потерянную любовь, в рифму с течением воды и шелестом листвы, или верлибром, заставляющим вздрогнуть, как от внезапного резкого клаксона автомобиля, и Бог весть чем все это кончится...

Да, в казарме ты содержал бумаги в порядке, даже фельдфебель был доволен тобой и потому охотно давал тебе увольнительную, когда я приезжала навестить тебя. Как в то воскресенье... улицы были полны народу, все толкались и кричали, иногда в толпе мы теряли друг друга...

Робкие, воспламененные желанием, сгорая от стыда, мы ищем комнату, забыв об окружающем нас мире, обо всем на свете, ищем хоть какое-то пристанище для нас, только для нас двоих, пусть маленькое и тесное, лишь бы обняться, прижаться друг к другу, заняться любовью на полу, на стуле, возле кувшина с водой, в комнате мерзкой старой сводни, один час, сказала она с похабной ухмылкой, она понимала, как эта вопящая, взрослая, враждебная жизнь угрожает нашей юности... нет, это не твои стихи, любовь моя, вероятно, ты даже их не знал, я вспомнила их и прочитала тебе, там, в толпе, и ты принялся повторять их, у тебя всегда был безусловный нюх на подлинное, и потом ты их напевал, и твоя лира не раз возвращалась к ним.

И пусть их написал не я и не ты, они все равно твои, утверждал ты, канцона говорит за всех, и за тебя тоже, хотя ты никогда не сумела бы написать это. Ты знал, что поэзия всегда принадлежит не только поэту, а всем людям, это как любовь, не поэт создает стих, утверждал ты, это строки, неожиданно зазвучавшие в его голове, делают его поэтом, может быть, таким образом ты утешал сам себя, бедная тростниковая дудочка, в которую не по ее заслугам дует Бог, как и во все другие дудочки, благозвучные они или нет.

И в самом деле, какое значение имеет, чья это песня, если она звучит для тебя, для нас, разве это важно, из какого источника течет вода, которая утоляет твою жажду, становясь твоей, попадая тебе в рот? Можно отыскать немало и моих слов в твоих песнях, в твоих рифмах, самых знаменитых и обожае-

мых всеми, и я чувствую себя счастливой, потому что это ты их произносишь и, значит, любишь меня еще сильнее...

Мы взлетели по лестнице, чтобы не терять ни одной драгоценной минуты и даже секунды уже оплаченного часа, мне было жалко эту ухмыляющуюся мерзкую старую сводню, уверенную в том, что эти двое, как все другие парочки, после нескольких любовных конвульсий, испятнав простыню, спустятся по той же лестнице чужими, равнодушными друг к другу и, спешно распростившись, исчезнут каждый за своим углом.

Глупая, убогая старуха, но, видимо, к этому все всегда и сводилось, — мелкая банкнота в ее потную ладонь, быстрый секс, пара поз за пределами нормы, у каждого есть такие, сердце это не затрагивает, оно, скорее всего, при этом отсутствует, оно здесь неуместно, весь мир — это гостиница на час, никакой зарубки на сердце, никакого прощай... Хотя даже в самом механистичном, привычном, в самом грязном пороке есть та острая боль любви, даже в чужих и отстраненных глазах пусть на миг, но мелькает желание того, чего нет... Катарсис, счастье, блаженное опустошение, невыносимая полнота мгновенного сосуществования...

Когда уже стало ясно, что мне придется переехать в этот Дом, ты проводил у моей постели часы, я видела свое отражение в твоих глазах, я была так красива, я как будто читала в них желание обладать самой собой, я знала, что на самом деле я бледна и жалка, ослабленная отравляющим меня ядом, но в твоих глазах я оставалась бронзовой от морского загара, как тогда, когда мы бродили по нашему маленькому острову... мы добирались до него вплавь и выходили на берег под вопли недовольных чаек, обнаженные и лучезарные, как боги.

Ты сидел на краю кровати, я взяла тебя за руку и заставила ее ласкать меня под одеялом, твоя рука проникла в меня, рыбак опустился в морскую пещеру, ставшую влажной, наполнившейся соком, я направляла тебя в ее бездну, без боязни, в отличие от тебя, я никогда не испытывала страха в любви, каждый раз томя тебя на краю пропасти, чтобы затем позволить низвергнуться в меня, проникнуть в мой бездонный мрак, и, когда ты спускался в темную ночь моего лона, ты обретал там первозданность и силу. Это подобно ощущению, говорил ты, какое испытываешь в том морском гроте нашего острова — погружаешься во мрак и вдруг обнаруживаешь себя вновь залитым чудесным голубым светом.

И в этот последний раз ты все не решался проникнуть в меня, твоя рука под одеялом была неуверенной, но моя направляла и подталкивала ее там, внутри меня. Я чувствовала, как с каждым мигом твоего погружения ты поднимался из

глубины твоего страха, как ты вновь обретал мужество и уверенность, твоя рука, такая осторожная вначале, становилась все смелее и сильнее, это ночное переживание на пороге бесконечной ночи, которая опускалась на нас, было безгранично, я наслаждалась твоей рукой, как, быть может, никогда прежде. Отправляйся в море, сказала я тебе мгновенье спустя, в ту нашу бухту, такую синюю, что казалась черной... после того как мы занимались любовью там, на острове, мы всегда бросались в море... иди туда и сделай это и за меня, каждая минута твоего счастья, она и моя тоже, и ты вернешься ко мне еще более уверенным и зрелым. Без того, что ты сделал под одеялом в тот раз, последний, перед тем, как яд в моих венах взял верх надо мной, ты, я думаю, не нашел бы в себе мужества прийти сюда, спуститься в этот ад в поисках меня, в этот Дом, в бездну настоящего мрака.

И первое, о чем я подумала, господин Президент, узнав о вашем поразительном разрешении, никогда не предоставлявшемся никому другому, я подумала, что мы снова вместе с ним отправимся на море.

Каким же молодцом он оказался, думала я с гордостью, и чем он смог тронуть даже вас, господин Президент, вас, такого сурового и одновременно справедливого и милосердного, вас, человека, который видит всех насквозь и не позволяет никому обмануть себя, как многие там, за стенами Дома, готовые, открыв душу, быть обманутыми каждым желающим. Скажу больше, если бы я узнала о его дерзкой, безумной, грандиозной затее заявиться сюда, в Дом, к вам, с неслыханной наглой просьбой, я пришла бы в ужас, представив себе, как вас должен был взбесить его вызывающий поступок.

Я хорошо знаю моего мужа, даже слабое покалывание у него в животе воспринимается им как трагедия. Меня это раздражало, но со мной он редко жаловался на такое, я быстро пресекала его капризы. А сейчас, как мне говорят, он снова позволяет себе подобные выходки... Правда, немногие могут почувствовать, сколько настоящей боли, любви и страсти в его излияниях. Они не поэты, и им не дано понять, кто есть истинный поэт. Но вы, Президент, наверняка, поэт в глубине души, и большой поэт, как те великие античные поэты, что остались безымянными...

Как бы то ни было, если вы позволили ему прийти сюда и забрать меня, это должно означать, что вы прочли его сердце лучше, чем я, потому что даже я порой...

Я сразу же пошла за ним, мысль о море окрылила меня, я шла быстрым шагом в полумраке, бегом одолевала лестницы, пересекала лестничные площадки и длинные коридоры, за-

валенные сумками, чемоданами и узлами, всеми теми вещами, которые мы приносим сюда с собой и которые, согласно правилам, должны сдать персоналу.

Что потом происходит со всем этим багажом, никто не знает, учитывая, что возвращать его семьям запрещено. Скорее всего, он так и остается в этих стенах, забытый, гниющий по углам, пока не рассыплется в прах, иначе со временем он заполонил бы весь Дом.

Я шла, я бежала, я оступалась, попадая в какие-то грязные лужи, я спешила, я гналась за ним, сгорая от нетерпения заговорить с ним, посмотреть в его глаза. Но этого нельзя было делать, и я отчетливо понимала почему. Если бы остальные узнали об этом потрясающем визите, то больше никогда никому не позволили бы... говорят, это случилось только однажды, давным-давно... но это одна из тех историй, какие рассказывают детям, чтобы заставить их вести себя хорошо, чтобы они поверили в то, что нет ничего невозможного, и этим успокоить их и сделать более доверчивыми, но я уже сказала, что это случилось много-много лет назад, так много, что этого, кажется, и вовсе не было или, может быть, было, но настолько давно, что остается лишь терпеливо надеяться, что это может повториться и с ними, очень-очень терпеливо надеяться, потому что, прежде чем это снова произойдет, должно пройти много времени, а значит, пока нечего суетиться и волноваться.

Если бы остальные узнали, что он явился сюда, в Дом, собственной персоной ради меня, если бы нас увидели вместе, они возбудились бы до крайней степени. Боже мой, что бы тут началось! Вроде бы они не страшные, то есть мы не страшны ни для кого, такие жалкие и изможденные, платья на вешалках, висящих в ряд. Но нас... думаю, что сейчас я могу сказать это... нас так много, нас такое бессчетное количество, что некоторый ужас мы все-таки можем нагнать на других... рой насекомых, затеняющий небо...

Поэтому я бежала, рассекая податливую толпу молча, не раскрывая рта. Другие вереницами тянулись передо мной, словно тени прохожих на набережных, четко вырисовываясь в лучах заката, бумажные фигурки, сгибаемые ветром. Я проникала сквозь них, задыхаясь, стараясь не слишком броситься в глаза, отвечая на редкие слабые приветственные улыбки, которые порой замечала на лицах. Туман рассеивался, комки липкой грязи бесшумно плющились под ногами, мой муж двигался далеко впереди меня, с прямой и такой молодой спиной, словно годы были не властны над ним.

Порой он исчезал за поворотом коридора или за отвесным спуском, ступая по тем странным ярко-красным цветам,

которые Администрация рассыпала по всему Дому, а потом сгребала в груды, и они напоминали пылающие и постепенно гаснущие угли костра.

Удивительно, думала я в эту минуту, но совершенно не чувствуется запаха тлена, а ведь он наверняка исходит от этих увядающих мясистых лепестков, может, я уже принюхалась? В это мгновение он снова показался, поднялся, пошатываясь, после того как поскользнулся в ручье с ржавой водой. Он двигался вперед с явным усилием, тогда как я почти летела по извилистым коридорам и крутым изломам пола, покрытым грязью, я догнала бы его в одно мгновение, если бы не сдерживала себя, я помнила, что нас не должны видеть вместе эти белые глаза вокруг нас... наши глаза становятся белыми, потому что мы едва ли не все время проводим почти в полной темноте, притом что не теряем способности отличить одну тень от другой.

Меня совсем не пугала мысль, что я скоро снова окажусь там, снаружи, где все намного труднее и безжалостнее, чем здесь, в этом Доме. Если бы я была одна, то да, я бы испугалась, и я ни за что не покинула бы этот мир, в который рвалась и о котором молила, когда болезнь, более ядовитая, чем змея, отнимала у меня последние силы. Он тоже там, снаружи, оставшись один, несомненно испытывал страх, может быть, именно по этой причине он и явился забрать меня отсюда. Не для того, чтобы спасти меня, хотя я была уверена в этом, он давал мне понять в своих канцонах, полных обманчивых надежд, но настолько завораживающих, что я последовала бы за ним, лишь только для того, чтобы слышать их снова и снова.

Нет, он явился не для того, чтобы спасти меня, а для того, чтобы спастись самому. Как мне петь свои канцоны на чужой земле, спрашивал он. Я была родником его вдохновения, истоком его жизни, больше того, я была его потерянной землей. Он пришел вернуть себе свою землю, откуда оказался изгнан.

Он пришел за мной, чтобы снова почувствовать себя защищенным от жестоких ударов, которые сыпались на него со всех сторон и которые я всякий раз отводила, ядовитые стрелы, предназначавшиеся ему, встречали на пути мою грудь, нежную в его руках и твердую, будто круглый щит, принимая на себя и останавливая эти стрелы, впитывая их яд, прежде чем яд достигнет его. Однако стрел становилось все больше и больше, и в конце концов их яд отравил меня. Но в его объятьях я была так счастлива и так бесстрашна, что не придавала значения тому, куда попала стрела, в меня или в него, ведь мы двое были единое целое.

Без него я тоже была никто, как и он без меня, просто двое, бабенка и мужичонка, которые робко оглядываются по сторонам, стараясь произвести хорошее впечатление.

Я не боялась секущего злого ветра, который скоро опять задует мне в лицо. И не пугалась сложностей, которые обрушатся на меня по возвращении домой.

В мое отсутствие какие-то интрижки у него наверняка были и, может быть, даже что-то серьезное, потому что обладая такой щедрой душой, он не мог не влюбляться, хотя вряд ли он в этом признается, чтобы не навлечь на себя неприятностей. Но я его давно простила... хотя что я говорю? Только тот легко прощает, кто не любит, тот, кто любит, — неумолим и не прощает никогда.

Со мной он не осмелился бы хитрить, как хитрил с самим собой, рассказывая о великодушных бабенках, которые хотели всего лишь облегчить его непреходящую боль, и о тех нескольких случаях, когда он, буквально не отдавая себе отчета... Нет, я его, конечно, не простила, и теперь бежала за ним, да, и для того тоже, чтобы высказать ему напрямик все, что я по этому поводу думаю, и заставить его заплатить за предательство, не знаю как, но все равно заплатить.

Мне очень хотелось видеть, наберется ли он смелости оправдываться... я с первых дней заметила за ним эту его манию считать, что он всегда прав, и наглость возражать, когда я его уличала, либо зная, либо чувствуя, что у него рыльце в пушку, я всегда это чувствовала... оправдываясь, он прибегал к намекам, что и я не безгрешна...

Боже, как меня ранило его высокомерие, его претензия на право повышать на меня голос, переворачивая все с ног на голову, издеваясь надо мной, как он раздражал меня своими капризами, желанием распахнуть объятья, двери и карманы первому встречному, не думая о семье. В этой ситуации я всячески показывала, что мне наплевать на него, и очень скоро его мозги приходили в порядок.

Меня не волновали те бабы, которые наверняка ублажали его в мое отсутствие. Мне правда от этого не было ни горячо, ни холодно. Я знала, что он первый же начнет смеяться, сравнивая их со мной, это была его мания — сравнивать других женщин со мной, настоящая идея фикс. В этих сравнениях я всегда выигрывала, и, осознав это, он быстро оставлял их, не успев как следует распалиться.

То, что моему мужу это свойственно, мне известно, но мне также отлично известно, как отбить у него охоту изменять мне, если я его вдруг застукаю. Он отлично знает, кто командует в нашей постели.

Но, как мне говорят, снова задул этот вольный цыганский ветер, открытый всем страстям... да, высокая поэзия, да, гуманность, чувство человеческое и божественное, я знаю эти песни, и одновременно привычка курить в постели... забывать день рождения собственной матери, хотя помнить дни рождения своей старой няньки и школьных подружек, все это выводило меня из себя, и мне захотелось увидеть, сможет ли он начать все сначала...

Я бежала за ним, протискиваясь сквозь толпу, которая обтекала меня и рассеивалась, словно стая птиц, взлетающая, когда потрясешь деревцо, на ветвях которого она присела отдохнуть. Наша дорога был длинной, очень длинной, но не бесконечной, Дом огромен, но и у него есть пределы, хотя снаружи кажется, что их нет, и скоро, одолев мостки над рвами и каналами, что опоясывали Дом, спустившись в лифтах, пронизывающих его бесчисленные этажи, я, наконец, очутилась перед дверями, охраняемыми электронными псами, которые уже получили приказ из Администрации выпустить нас, и я бы вышла, и мы смогли бы посмотреть в глаза друг другу, его взгляд, мой взгляд, годы, улетевшие прочь, как те ночные птицы, которые взлетали по дороге...

Он был совсем рядом, на расстоянии руки или даже ближе... Дом закончился, хотя казалось, его коридоры, лестницы, туннели, подвалы, холлы, потолки нескончаемы, и я знала, что скоро, неважно когда, через месяцы, годы, но я выйду отсюда и окажусь в его объятьях, его губы прильнут к моим, я почувствую его руки на моих отвыкших от них грудях, на моем забывшем его лоне, к которому возвращалась уснувшая было память, и ключ из пересохшего источника вновь готов был забить.

Я физически ощутила его ночную руку в моей, как это было в прежних светлых и глубоких водах сна, так непохожих на эти илистые и булькающие топи, которые не давали нам спать. Дом — это королевство бессонницы, едва один из нас засыпал, хотя такого почти никогда не бывало, дежурный надзиратель моментально будил его. Говорили, что таким доходягам, как мы, спать вредно, мы не должны позволять себе уйти в сон, это опасно, так же, как заснуть в снегу.

А нам всем так хотелось спать, и я была счастлива от мысли, что скоро смогу заснуть, заснуть рядом с ним, заняться любовью на кровати, на земле, а потом лежать рядом, обнявшись, сплетенными телами... я помню, как мы смеялись, когда он поцеловал мою ступню, а я в отместку хотела поцеловать его плечо, которое в этом сплетении ног и рук оказалось моим...

Снова уснуть вместе, он все еще во мне, я чувствовала его содрогания, все замедляющиеся в то время, как мы проваливаемся в сон, любовь — это сон, в котором она длится и сладко затихает, никогда не угасая по-настоящему, иначе это только скачка, трение, оргазм и тотчас желание вскочить, одеться и бежать по своим делам. Я уверена, что именно так у него происходило с другими женщинами, и только со мной он засыпал в этой восхитительной истоме.

Его губы, его рот, звук его голоса... Было столько всего, что сказать друг другу, что обсудить после такой долгой разлуки. Мне казалось, что я уже слышу его слова... когда он открывает рот, он уже не в силах остановиться, он говорит и говорит, порой мне хотелось, чтобы он замолчал, хоть ненадолго, хотя бы в постели. И еще я решила сказать ему, что у каждого из нас должна быть своя спальня, потому что иногда по ночам он сильно храпит... и вообще иногда хочется побыть одной.

Сказав “а”, говори “б”, раз уж он пробился сюда, за мной, что потребовало непомерной отваги и дерзости, а это мне как раз нравится в нем, как и способность к безумным выходкам, в чем ему нет равных... и раз уж он пробился сюда, то одно маленькое усилие с моей стороны, и он купит для нас квартиру поприличнее и побольше, в самом центре, с прекрасным видом из окна, с гаражом, чтобы не было всех этих заморочек с парковкой, которые всегда выпадают на мою долю, потому что, если за рулем он, все кончается тем, что он въезжает в чужую машину.

Если для этого потребуются деньги, он знает, как делать их: оставив свои капризы, он засучивает рукава, садится за стол и пишет то, что ему заказали, вместо того чтобы проводить жизнь в сладком ничегонеделанье и пустопорожней болтовне. Ах, эта его страсть поговорить... Но она сродни занятию любовью, и мне не терпится послушать его, узнать, что он сделал, сказал, написал... Например, закончил ли, наконец, ту самую канцону, которая не давала ему покоя, потому что он никак не мог найти нужную тональность. Она — все для меня, говорил он, спеть ее, и можно отложить лиру и больше не возвращаться к ней, ибо эта канцона, едва прозвучит, осветит все темные углы и откроет все тайны... Там, за этими дверями, говорил он, кивая на железную дверь этого Дома, когда мы разглядывали ее издали во время прогулки в этих краях, можно взглянуть в глаза Вечности. Отсюда, снаружи, мы можем лишь видеть, как в сверкающих фрагментах этих дверей отражаются искаженные образы, когда мы подходим ближе или отходим дальше, они то искривляются, то утолщаются,

то истончаются, а то и дробятся, мы видим только эти мимолетные карикатурные силуэты, а не образы, их истинная сущность скрыта за этими бронзовыми зеркалами.

А я, дорогая моя, говорил он мне, не могу больше петь о миражах, отражающихся в зеркалах, об этих иллюзорных видениях, мое пение должно донести до людей истину: что же объединяет и что разделяет мир, любой ценой. И ценой жизни тоже, хотелось спросить мне, жизни твоей или моей, или же ценой потери дара речи, что для тебя было бы хуже смерти?

И тогда, господин Президент, мое сердце пронзила боль, острая, как вспышка света, как молния, разорвавшая темноту и мою душу, потому что я поняла, о чем он сейчас меня спросит, и поняла, что все кончено, путь перекрыт, мост упал, пропасть непреодолима.

Мне показалось, что я уже слышу, как он просит рассказать ему о Доме и о вас, господин Президент, о Фонде, обо всех нас и о том, какая она, жизнь, здесь, в этих стенах, и как на самом деле обстоит дело с Вечностью.

Потому что он тоже, господин Президент, как все, как и я, прежде чем оказаться здесь, уверовал в то, что, однажды попав в этот Дом, оказываешься, наконец, лицом к лицу с Истиной, ничем не замутненной и не завуалированной, не отраженной и не деформированной, не замаскированной и не загримированной, какой она видится там, за этими стенами. Воспеванию тайны жизни и смерти, говорил он, тайны того, кто мы, откуда пришли и куда идем, есть жесткий предел, перо ломается о бронзу дверей, скрывающих наши судьбы, и нам, стоящим перед дверьми, остается лишь попусту фантазировать — вот бы проникнуть внутрь и остаться там, а ручка служит лишь для того, чтобы грызть ее кончик, потому что только великая и ужасная Истина достойна того, чтобы быть воспетой, во всяком случае, им... он этого не говорил, но он явно так думал... и думал, что узнать эту Истину можно только проникнув за дверь.

Там, за стенами Дома, господин Президент, ее страстно желает знать каждый, даже тот, кто делает вид, что ему она безразлична, каждый готов отдать за это знание все что угодно. Он желал этого больше других, потому что он — поэт, а поэзия, как он говорит, должна открывать двери в иной мир, срывать покровы с тайны жизни, касаться морского дна, в складке которого сокрыта жемчужина.

Вот я и подумала, не пришел ли он забрать меня, имея в виду главную цель: чтобы я рассказала ему о том, что прячется за этими дверьми, чтобы он смог схватить свою лиру и вознести к небу такую канцону, которая не звучала никогда прежде и в которой пелось бы о том, чего не знает никто.

Я прямо вижу его, как он прижимается ко мне, в нетерпении ожидая моих слов, вижу лихорадочный блеск его зеленых глаз... Ну как я могла сказать ему, что... вы все уже поняли, господин Президент. Как я могла сказать ему, что здесь, в этих стенах, за исключением этого полумрака, все остальное — точно то же, как и за ними. Что мы позади зеркала, но и его задняя сторона — то же самое зеркало, подобное многим другим.

Что и здесь сущности притворяются и мимикрируют, как медузы.

Нас здесь, внутри, так же много, как и там, снаружи, и даже больше, отчего еще труднее узнать друг друга. Я говорила с некоторыми, и никто из них не знает, откуда они, нет, они помнят город, родителей, порой даже дедов, хотя их память все слабеет, но о том, что они ищут в этих стенах, они молчат... а тайна начала и конца им так же неизвестна.

Порой мы обзаводимся тут друзьями, иногда позволяем себе легкий флирт, а то и кое-что посерьезнее, влюбленность или даже любовь, пусть здесь быстро перестаешь замечать разницу между тем и другим, от того и от другого одинаковый осадок и ощущение недоразумения. И скоро уже не понимаешь, стоило ли влюбляться, а в остальном все то же, что в семье — ссоры, обиды, досада.

В самом деле, с какой стати мы должны знать что-то больше тех, кто за стенами Дома, больше нас самих, если мы оказываемся снаружи? И почему мы должны видеть вас здесь, господин Президент?

Предположим, как мы все здесь и предполагаем, есть некто, кто руководит этим безнадежным предприятием, но кто он, как он это делает и как выглядит, зачем нам это знать?

Ни болезни, ни напасти, благодаря которым мы очутились в этих коридорах, в этой мрачной юдоли, ни короткие приступы, пронзающие сердце и мозг, ни ядовитая отрава, ни газовый кран не являются связующим звеном в этом нескончаемом лабиринте, который есть Прежде и Потом, Никогда и Всегда, Ты и Я...

Мы — в зазеркалье, и оно такое же зеркало, в котором мы видим лишь бледное лицо, не зная точно, кому оно принадлежит. Если кто-то ломает ногу, это еще не повод, чтобы ему явился лик Президента, можешь хоть голову себе разбить, это не поможет. Течет река, течет кровь, рушится плотина, вода переливается через ее обломки и заливает поля, пловец глотает воду, тонет, вновь всплывает и продолжает плыть, ничего не различая ни в слепящем солнце полдня, ни в черноте ночи.

Кто-то может заметить, что я, находясь здесь, внутри, не знаю, какой мой муж сегодня. Да если бы этот прорицатель мог вообразить, насколько я знаю своего мужа, его бы удар хватил. Я бы без труда нарисовала ему портрет конченного человека, нытика, поэта, лишившегося стержня, уверенного: все, что случилось, — космический заговор против него, с целью сбросить его с небес на землю и осудить на молчание. Потому что, расскажи он другим, что здесь, внутри, все точно то же, что снаружи, его разорвали бы на части, и первыми были бы его сгорающие от страсти поклонницы, почитающие его как гуру, а если бы он промолчал, то почувствовал бы себя трусом. Но главное — это безграничное разочарование: продраться сюда, к нам, на самое дно, и обнаружить, что все нечеловеческие усилия были напрасны, за этими дверями нет ничего нового.

Я так и вижу его, замученного, растерянного, объятого ужасом, разъяренного, обиженного, глубоко разочарованного во мне, испортившей ему всю жизнь... а затем дни и ночи вместе, я у него под боком, его взгляд сквозь меня, злодейки, обрушившей его подиум... я так и вижу испуг на его лице при одной только мысли, что я разболтаю всем это, вижу его смятение оттого, что, по его мнению, я одурачила его, его, героя, который отправился познавать неизведанный мир и вынужден был вернуться с пустыми руками.

Я вдруг почувствовала, как я смертельно устала, у меня больше нет сил... опять начинать все сначала. Готовить еду, стирать, заниматься любовью, ходить в театры, приглашать кого-то на ужин, благодарить за цветы, разговаривать, как всегда, ошибаться и недопонимать, спать, просыпаться, переодеваться... Нет, это невозможно, я не могу заставить себя вернуться в прошлое, у меня не получится.

Конечно, я могла бы махнуть рукой на свою усталость, сжать зубы и потащить свою жизнь дальше. Женщины умеют делать это, они так всегда делают, даже когда уже не понимают для чего и для кого. И даже мысль, что он снова всегда будет рядом, больше не греет. А вот то, что мне надо будет молчать, когда он захочет, чтобы я молчала, или менять тему разговора, когда он захочет, чтобы я поменяла... он ведь такой впечатлительный, такой ранимый...

Вот почему, господин Президент, я и осталась... Нет, не потому, что он пришел за мной из-за великой любви, как о том болтают, не в силах больше переносить свое одиночество, терпеть и ждать, это не есть великая любовь, это малая любовь. И не потому, что, если бы даже я вернулась с ним, к нему, он не смог бы больше сочинять те мелодичные, рвущие

душу канцоны, в которых говорилось бы о страданиях от потери любимой, вообще от любой потери, канцоны, которые облетели бы весь мир, звучали бы из всех музыкальных автоматов и проигрывателей, обожаемые теми, кто продолжал бы обожать его, лишь бы он пел свои песни, в которых боль разлуки со мной, ветер, заставляющий звучать струны его лиры, делающей из него поэта только потому, что меня нет рядом, и его гложет чувство вины за это...

Меня мало трогают глупые сплетни. Нет, господин Президент, вовсе не из-за этих банальностей я повернула назад, и он потерял меня. Это ложь завистливых коллег, желающих выставить его эгоистичным нарциссом, лишив благосклонности публики, не исключаю, что эти слухи распространяют те самые дружки, с которыми он советовался, отправлять меня в этот Дом или нет, что распаляло неистовство его безумных поклонниц, ревновавших ко мне с бешеной силой.

Нет, господин Президент, все дело исключительно во мне. Он хотел узнать Истину, а я воспрепятствовала ему в этом.

Если бы вы знали, чего мне это стоило. Да, это правда, я безмерно устала, но я уже смирилась с этим состоянием и даже испытывала что-то вроде чувства симпатии к нашему Дому, к ритму его жизни. Конечно, я была бы рада выйти отсюда хоть не надолго, мы оба были бы рады увидеть летний свет, провести хотя бы еще одно лето на том островке, где мы оба... нет, пусть даже я одна, даже без него, я была бы счастлива прогуляться в тех местах.

Но, выйдя вместе с ним и отвечая на его неизбежные расспросы, я разрушила бы все. Разве я не права? Скорее я позволила бы укусить себя змее в сто раз более ядовитой, чем моя тривиальная болезнь...

И я не сомневаюсь, что вы поймете, господин Президент, почему, когда мы уже были на выходе, я окликнула его звонким и уверенным голосом, какой был у меня в молодости, и он... я знала, что он сделает это... он обернулся, и у меня засосало под ложечкой, я почувствовала себя легкой... такой легкой... бумажная фигурка на ветру, тень которой то растягивается, то сжимается и смешивается с другими вечерними тенями, он смотрел на меня, окаменев, все еще не веря в худшее, а я таяла в его зрачках, потому что уже видела, как он мучительно, но очевидно возвращается к жизни, еще ничего не понимая, но уже способный утешиться и, может быть, даже стать счастливым...

Сейчас он дома, у нас дома, спит безмятежным сном.

Конечно, он немного утомлен, но...

Ханна Кралль
Из книги “К востоку от Арбата”

Перевод с польского К. Старосельской

Вступление Мариуша Щигела

Как Ханна Кралль путала следы

Осуществилась моя мечта: через сорок два года после первого издания и тридцать один год после последнего вновь выходит в свет “К востоку от Арбата”[1].

Эта книга напоминает, что Ханна Кралль промышляла контрабандой. И что контрабанду она доставляла из Советского Союза!

Ибо ее репортажи иначе, чем контрабандой, не назовешь.

Итак, мы попадаем в эпоху, когда лучший друг Польской Народной Республики — Союз Советских Социалистических Республик. О нем можно писать только хорошо — или ничего. Образ союзника в польских средствах массовой информации, в литературе и кинофильмах под контролем, подлежит цензуре и строго дозирован. За этим следят две организации: Центральный комитет Польской объединенной рабочей партии и Главное управление по контролю за прессой, публикациями и зрелищами (как говорили, без разрешения цензуры нельзя было изготовить даже метку для трусов).

Представим себе, как в 1960 году после выхода двух первых томов “Словаря польского языка” его автор, один из выдающихся польских гуманистов профессор Витольд Дорошевский вместе со своими сотрудниками предстает перед Комиссией по делам культуры ЦК ПОРП по обвинению в

© Hanna Krall, 2014
© Mariusz Szczygieł, 2014
© К. Старосельская. Перевод, 2016

Редакция благодарит Ханну Кралль и Мариуша Щигела за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации своих текстов.

1. Сборник опубликован в Польше в 2014 г. (*Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, – прим. перев.*)

клерикализме и антисоветчине. Клерикализм проявился, в частности, в статье "бог", ибо там приведена пословица "кто рано встает, тому Бог подает", а также в статье "дать" ("не дай Бог"). Антисоветчина же обнаружилась в статье "гость". Авторы словаря упомянули выражение "Незваный гость хуже татарина" — на это (как им было сказано) может обидеться Татарская Автономная Советская Социалистическая республика...

В статье "чудо"[1] были найдены и клерикализм, и антисоветчина. Чиновники потребовали убрать цитату: "О, Матерь Божия, ты в Ченстохове с нами, / Твой чудотворный лик сияет в Острой Браме / И Новогрудок свой ты бережешь от бедствий, / И чудом жизнь мою ты сохранила в детстве..."[2] — поскольку "получается, чудо произошло на территории СССР, а это недопустимо".

Витольду Дорошевскому, автору "Основ польской грамматики", университетскому профессору с тридцатилетним стажем, пришлось на полном серьезе опровергать обвинения партийных функционеров. У обычно превосходно владевшего собой профессора дрожал голос. В наказание запланированный тираж словаря — двадцать тысяч экземпляров — был уменьшен до четырнадцати тысяч.

Пришедшее из-за восточной границы слово "ленинизм" имело личного охранника — помощника первого секретаря ЦК ПОРП Владислава Гомулку, который проследил, чтобы статьи "ленинизм" и "ленинский" в словаре содержали не меньше строк, чем "лемур" и "ленник". (Строк изначально было девятнадцать, после 1989 года — уже только шесть.)

С таким вот обостренным вниманием властей ко всему, связанному с Советским Союзом, вынуждена была справляться тридцатилетняя тогда Ханна Кралль, взявшаяся освещать жизнь Страны Советов. В то время репортеру, писавшему об СССР, грозила опасность двоякого рода. Рассказывая правду, он мог навлечь на себя гнев властей, а текст все равно не был бы напечатан. Пишущего же неправду подняли бы на смех, а то и перестали читать или даже "удостоили звания" прислужника Москвы.

А вот загадка для молодых читателей.

У Ханны Кралль есть фраза о том, как можно доехать до сибирской деревни Вершина: "Автобус ходит ежедневно за исключением тех дней, когда идет дождь, когда снегопад, когда весенняя и осенняя распутица или когда по дороге не проехать — из-за дождя, грязи и снежных заносов".

1. По-польски "чудо" – "cud", поэтому соответствующая словарная статья находится в первом томе словаря.
2. А. Мицкевич "Пан Тадеуш" (перевод С. Мар). Новогрудок – сейчас город в Гродненской области Белоруссии, в прошлом – один из главных политических и культурных центров Великого княжества Литовского. В опубликованном в 1960 г. первом томе "Словаря польского языка" этой цитаты нет.

Критики отмечали эту фразу как образец мастерства автора и гениально сконструированную информацию. Что же в ней такого необычного?

Репортер сообщает, что автобус в Вершину ходит ежедневно, но вместе с тем дает понять, что доехать до сибирской деревни нельзя почти никогда. Впрямую Кралль этого не говорит: ведь Советский Союз должен быть образцом счастливой жизни, когда все обречено на успех.

Это и называется "путать следы".

Ханна Кралль приехала в СССР в 1966 году вместе с мужем — журналистом Ежи Шперковичем; в Москве они проработали три года: он — корреспондентом газеты "Жице Варшавы", она — общественно-политического еженедельника "Политика". <...>

"К востоку от Арбата" сегодня интересна не как книга о Советском Союзе — это книга о том, как о Советском Союзе надо писать. Появлявшаяся в более поздние годы литература об истинной природе советской империи уже не была скована цензурой. "Арбат" же (так часто сокращают название) написан особым, новым для своего времени способом. Этот способ позволял цензору (зачастую умному и понимающему, чтó на самом деле хотел сказать автор) пропускать текст в печать, читателю — чувствовать, что его не обманывают, а автору — обходиться без навязываемых стандартов.

Итак, запутывать следы — что в 70 и 80-е годы отличало многих репортеров (особенно женщин) — первой, еще в конце 60-х, начала в своих "советских репортажах" Ханна Кралль.

Как писал публицист Веслав Кот в 2000 году, "Кралль уклоняется от исчерпывающих диагнозов, она подкидывает читателю мелкие бытовые зарисовки, предлагая догадаться, что основание для диагноза — незначительные, пустяшные на первый взгляд события. А вот еще один элемент игры с польским читателем: где только возможно автор предоставляет слово своим зарубежным собеседникам, которых цитирует якобы с лучшими намерениями, а на самом деле — ради эффекта саморазоблачения". <...>

Читая "Арбат", следует помнить, что в этой книге нет случайных слов.

В репортаже "Физики", где представлен социологический портрет элитарной в то время профессиональной группы сорокалетних физиков из Дубны, звучит, например, слово "осмотрительные".

"Они помнят войну, послевоенный голод, годы сталинизма, значение XX съезда... Они взрослые. Они осмотрительные. Понимают, что их работа не только позволяет заглянуть в тайну атомного ядра, но и надежна, стабильна, нужна. И будет нужна всегда. Известно, какова роль физики в сегодняшнем мире. То есть их роль. Мыслят они серьезно. Эффектных жестов избегают. И вообще на патетику — особенно бессмысленную — их не купишь".

"Осмотрительные"... В 1967 году это слово означало несколько больше, чем для нас в 2014 году. Осмотрительность для советских граждан бы-

ла политической и жизненной стратегией. Человек осмотрительный, понимающий, что делает, не навлечет на себя гнев властей с неизбежно вытекающими отсюда репрессиями. “Осмотрительность нужна была для того, — говорит сегодня Кралль, — чтобы делать свое дело, не лезть на рожон, не замараться, выйти сухим из воды, продержаться на плаву. — И добавляет: — Сейчас такие слова значат гораздо меньше, их надо понимать буквально. Слова вообще всё меньше значат”.

Итак, в “Арбате” есть слова, от которых в 70-е годы читатель ожидал большего, чем мы сейчас. Читая эту книгу, стоит их вылавливать.

Судя по прессе тех лет, “Арбат”, составленный автором из лучших ее репортажей, был молниеносно раскуплен — десятитысячного тиража в 1972 году оказалось недостаточно. Не будем забывать, что интерес к СССР был невелик, бльшая часть общества относилась ко всему советскому неприязненно, да и не станем обманываться: никто не рассчитывал увидеть правду в официальном издании. Объяснение популярности сборника можно найти в тогдашних рецензиях. Например, такое: “Превосходная книга... Ханна Кралль владеет сложным искусством задавать вопросы, тогда как другие начинают с ответов”. <...> А еще рецензенты подчеркивали, что автор полагается на сообразительность польских читателей: “Она оставляет читателям зазор для додумывания, для самостоятельных выводов, не ведет за руку к главной мысли. И в результате говорит больше, чем можно выразить словами. Приятно, что к нам относятся серьезно, тем паче когда вокруг засилье беззастенчивой публицистики, обстреливающей нас из идеологических орудий оттуда, где следовало бы просто поставить точку”.

Конечно, рецензии тоже подвергались цензуре, и разъяснить, что именно кроется за словом “больше”, критик не мог.

— Похоже, никто не рассчитывал получить честную книгу об СССР, — говорю я Ханне, — а тут такой сюрприз.

— Честная... не слишком ли сильно сказано? — отвечает она. — Честность в данном случае — понятие относительное. Единственный текст, где мне удалось протащить контрабандой упоминание событий тридцать седьмого года, это “Кусок хлеба” о поляках из польской деревни Вершина.

Речь идет об истреблении поляков в СССР в 1937 году. По распоряжению Сталина, по приказу тогдашнего главы НКВД Николая Ежова, прозванного из-за маленького роста Кровавым Карликом, выстрелом в затылок были убиты сто одиннадцать тысяч поляков — намного больше, чем в 1940 году в Катыни. <...>

В нынешнее издание “Арбата” Ханна Кралль добавила один, более поздний, репортаж. Он называется “Мужчина и женщина”, написан в начале 90-х, спустя двадцать лет после выхода первого издания сборника, когда у нас в Польше уже произошла смена строя. Что автор хотела этим сказать?

— Репортаж писался другим почерком, — поясняет Ханна. — Так должен был быть написан “Арбат” — если бы тогда я могла и умела так пи-

сать. И если б уже появились слова, которые раньше появиться не могли. Да и вообще всего этого текста раньше быть не могло.

Вот так новое издание "К востоку от Арбата" свидетельствует, что авторский стиль зависит не только от развития писательского мастерства — его формируют и обстоятельства.

Кусок хлеба

Из Польши ехали три недели.

Сначала остановились там, где сейчас поселок Черемхово. Огляделись: поехали дальше! Приехали в Тихоновку. Там был густой березовый лес и росла земляника. Досыта наелись дармовой земляники, огляделись: поехали дальше! Приехали в Вершину. Огляделись... Хотели ехать дальше, но дальше была только тайга, и они остались в Вершине навсегда.

Дорога до Вершины

Автобус ходит ежедневно за исключением тех дней, когда идет дождь, когда снегопад, когда весенняя и осенняя распутица или когда по дороге не проехать — из-за дождя, грязи и снежных заносов.

В тот день не было ни дождя, ни грязи, ни снежных заносов, и водитель сказал, что, скорее всего, доедем.

Из Иркутска мы выехали в пять утра. В шесть пошел дождь. В семь дорога превратилась в котловину, заполненную густой жирной глиной. Автобус встал. Водитель вышел и внимательно осмотрел глиняный ком, в котором буксовали колеса. Понятно было: обдумывает тактику. Кивнул (мы мысленно улыбнулись: придумал!) и сел за руль. Через пятнадцать минут автобус выбрался из глины. Проехали двести метров. Автобус встал...

— *Ничего*,[1] — говорили женщины, успокаивая плачущих детей, — посидим, отдохнем...

Все понимали: дождь. На то она и тайга, чтобы в дождь через нее не проехать. Хорошо хоть дорога есть и — если нет дождя — к ним ходит автобус. Почти год уже как ходит.

Стали вытаскивать припасы: пирожки, крутые яйца, хлеб. Кто-то запел: *Любимый Иркутск – середина земли...* Женщины

1. Здесь и далее курсивом выделены слова и фразы, в оригинале транслитерированные по-русски.

поудобнее укладывали детей. Шофер обдумывал детальный план покорения очередной глыбы.

Через два часа дождь прекратился. Мы проехали километров сто и услышали треск.

— *Всё*, — пробормотал водитель. — *Вал лопнул.*

— Что случилось? — спросили сзади.

— Ничего, вал.

— А, вал.

Мы снова взялись за пирожки. Ели и пели: ...*середина земли*, кружа по окрестным деревням в поисках мастерской, а потом разыскивали механика, а потом ждали, пока механик спаяет вал. Никто не нервничал, не ругался, не удивлялся и не давал советов водителю. Через два часа отправились дальше.

Спускалась холодная сибирская ночь. Мужчина вполголоса что-то рассказывал, женщина сонно напевала... Автобус затормозил. Вошел кто-то высокий, сутуловатый и обратился к стоящим на остановке. В тишине сибирской ночи, на дороге через вековую тайгу, заглушая негромкий шорох русских слов, прозвучало с силезским выговором:

— Ну, девки, сядойта, чéго стоите...

Я поняла, что Вершина и вправду существует.

В *гостях у* Петрасов

— Потяни носом, Ханя, — сказал Петрас. — Какой воздух чуешь?

— Свежий...

— Польский воздух, Ханя, польский. Нюхни еще разок. Ну? А ты что думала! Хоть в России, хоть сибирские — мы тебе не поляки, *что ль*?

Вошли в дом.

— Не тушуйся, Ханя, заходи.

Петрасьва уставилась, как на привидение:

— А мне нынче белье белое снилось... Поспадáло с веревки, я и давай подбирать. Поутру говорю Бронеку: жди какую-никакую прибыль — и вот, нате, девка из Польши приехала. А чéго ты вся такая зеленая?..

— Да дорога эта...

— Хелька, ну-ка принеси капли!

— От болести или от слабости?

— Все неси.

Еще меня напоили отваром корня, который растет в тайге, и подслащенной сивухой (“пей, Ханя, пей, сама гнала”), и “Московской” с имбирем, по-бурятски, и я почувствовала, что ко

мне возвращаются силы и я могу отвечать на любые вопросы Петрасов.

— Ты из какой губернии, Ханя?

— По железной дороге в Иркутск приехала?

— А чéго одна-то?

— Решила вас отыскать. Где искать, никто не знал, а мы давно слышали, что вы где-то здесь, в Сибири.

— Чуднь говоришь, Ханя. Ой как чуднь... Это что ж, нынче в Польше все так говьрят?

К*ак же без обеда*

В шесть утра нас разбудил мотоцикл. Приехал председатель колхоза, бурят. Говорил по-русски и всячески распекал Петраса за то, что не предупредил о приезде делегации.

— Он не успел, — защищала я хозяина. — Уже ночь была.

— Но хоть принял-то вас, как положено иностранную делегацию?

— Конечно, даже лучше.

Председатель немного успокоился.

— Расскажите про колхоз, — попросила я, но он категорически отказался.

— Сперва позвоню в *райком*,. скажу, что приехала иностранная делегация. Потом соберу коллектив: бригадир, передовики-трактористы, передовые доярки — чтобы вы могли поговорить с людьми. Потом обед в вашу честь.

— Зачем обед, я себя плохо чувствую...

— Ну и что. Можете не есть. Но если приезжает делегация — как же без обеда. Порядок должен быть...

Сел на мотоцикл и покатил к начальству — за инструкциями.

И*стория*

Дожидаясь, пока соберется коллектив, я осматривала подворья. В Вершине их сто. На каждом — пятеро-шестеро детей и двое-трое взрослых, так что жителей в общей сложности около восьмисот.

Фамилии вершинцев: Петрас, Петшик, Масляг, Новак, Недбала, Янушек, Поспех, Вуйчик, Фигура, Викторовский, Каня, Конечный, Корчак, Лыда, Кустош, Митренга.

Дети: Карольча, Хеля, Марыся, Франя, Янек, Фелек, Павел, Валек, Антек.

Клички у собак польские. Пес чаще всего — Бурек, потому что вершинцам запомнился стишок из польской хрестоматии: “Это Бурек, пес лохматый, сторожит он наши хаты”. А вот кошкам, которые в стишке не упомянуты, дают русифицированные имена. Большинство — Васьки.

Родившихся в Польше среди сегодняшних жителей деревни — пятеро, помнит Польшу один.

Приехали сюда поляки в 1910 году благодаря реформам Столыпина: в конце XIX века были введены льготы для крестьян, желающих поселиться в Сибири.

Двинулся в эти края народ из бедных перенаселенных деревень России, Белоруссии, Украины и... Польши. Из-под Кракова и Кельце и из Заглембья[1] поехали сперва несколько мужиков — разведать, что такое Сибирь. Дома рассказали: лес рядом — срубишь сосну, а та прямиком летит в печь, — и дерево дают бесплатно. Это решило дело. Крестьяне собрали “телеги, плуги и сундуки” и приехали по “железке”. По приезде получили землю и лес, выменяли у бурятов портки на топоры, рубили этими топорами лес и строили дома. И остались в Вершине навсегда. Шестьдесят лет живут в Сибири. Из Польши за это время никто к ним не приезжал. Польских газет они не выписывают, потому что читают плоховато. Учитель польского был до 1929 года. До 1941-го был ксендз. Рождество и Пасху празднуют по католическому, а не по православному календарю. Молятся только старики, но детей крестят все. Поскольку священника нет, крестят сами. Когда-то специально ездили в Иркутск к ксендзу, чтобы научил, как лить воду и что говорить. На похоронах поют по-польски, но тут возникают сложности, потому что поумирали те, кто знал обрядовые песни.

Национальных костюмов ни у кого уже нет. Последним был краковский у Мирека Блажея, но Блажей наказал себя в нем похоронить. На кладбище надписи по-польски: Конечная Моника Юзефовна, Янашек Роман Станиславович. С ошибками: например, в слове “umarł” (умер) нигде нет конце-вого твердого “ł”. Все велят хоронить себя “в родной земле, в Вершине то есть” — даже те, что уехали из Вершины и поженились с русскими. Русские супруги привозили откуда-то из глубины России их гробы и говорили: “такое у них было желание”.

1. Заглембье Домбровске (Домбровский угольный бассейн) — северо-восточная часть Верхнесилезского каменноугольного бассейна, исторический и географический район на юге Польши.

На всех могилах кресты. На одной крест и красная звезда. Тут лежит Владек Новак, комсомолец. Отец Владека хотел поставить крест, а комсомол — звезду, вот звезду и прикрепили к кресту.

На могиле Витека Куцека из земли торчит бутылка "Московской", на ней стакан. В православный день поминовения — *родительскую субботу* — русские приходят на кладбище поминать родных. Едят, пьют, плачут, а всё что не допьют и не доедят, оставляют усопшим. Раз на могиле недопитая водка, значит, на польское кладбище приходили помянуть Витека Куцека его русские друзья.

Русских друзей у вершинцев много. Русские дети говорят по-польски, а Колька Даниленко играет на *гармошке* "Czyje to polusie nie orane, mojego Jasieńka zaniedbane" и "Dziewczyno ty moja, ty ulubiona, daj buzi, daj buzi, będziesz zbawiona...".

Говорят они на диалекте, вставляя искаженные русские слова. Не отдавая себе в этом отчета. Только учительница, преподающая в русской школе, смутно догадывается, что язык, на котором она говорит, не литературный. Она засыпает меня десятками конкретных вопросов. "А как правильно сказать: надзевалка или надзеволка?" — "А что это такое?" — "Ну, *сорочка*". Или: "Когда говорят: kiej, а когда — kaj[1]?.."

Они читают про Польшу в советских газетах и знают, что после войны она изменилась, но не в состоянии себе это представить. Зато ту Польшу, которую с умилением вспоминали родители, видят, представляют. Польшу 1910 года. Польшу беднейших подкраковских деревень. Потому, вероятно, иногда говорят странные вещи, например: "Останься до завтра, Ханя, поглядишь на трактор". Или, неуверенно: "В Польше люди ходят босые? Матери наши ходили босиком и говорили, что обувку каждый день носить жалко".

Достаток

Хозяйства у них зажиточные. Приусадебный участок — согласно колхозному уставу — 0,6 гектара, но чего на нем только нет: дом, овин, хлев, курятник, сад, огород, теплица, ульи... Поскольку вокруг тайга, а дерево по-прежнему дармовое, все постройки деревянные. Зимой топят только дрова-

1. Kiej — когда; kaj — где (*силезский диалект*).

ми. Весь участок разгорожен дощатыми заборами: пасека, теплицы, сад — всё отдельно... Чисто, аккуратно, уютно. Дом состоит из двух половин (в одной посередине огромная русская печь); в огороде есть еще летняя кухня. Говорят, никогда им так хорошо не жилось. Лишь бы только не было войны и хватало сил работать...

К работе по хозяйству приобщены все, вся семья, включая детей. Если труд нельзя совместить с учебой, ребят в школу не отправляют. Вероятно, поэтому за всю шестидесятилетнюю историю деревни высшее образование получили только пять человек. Все пятеро учительствовали, поскольку в мечтах, которые привезли с собой их родители, было место лишь двум профессиям — учителя и священника.

Буряты — которые еще недавно носили одежду из звериных шкур, а тканые штаны впервые увидели, получив их от поляков в обмен на топоры, — охотнее отправляются учиться в город, а закончив институт, занимают самые высокие должности: председателя колхоза, зоотехника, врача, директора школы... В местной школе среди учителей двое поляков, трое русских, а бурятов — десять. У вершинских поляков подобных притязаний нет. Они считают, что к учебе стремятся те, кому не хочется работать.

Учительница русской школы Наталья Янашекова убеждает земляков, что учиться необходимо, но на последнем заседании *сельсовета* опять поднимался вопрос о том, что несколько семей в Вершине не посылают детей в школу.

Обед

Между тем время идет. Председатель колхоза вернулся из *райкома*, говорит, что уже известил двух передовиков труда — того, который за восемь дней засеял пшеницей восемьсот тридцать гектаров, и того, что засадил двести гектаров кукурузой, а также передовых доярок и лучших работниц куриной фермы, и сейчас можно будет садиться за стол.

Столы стоят в саду у Петшиков. Сад чудесный, большой, отгороженный от остальной части усадьбы. Рядом летняя кухня, там женщины готовят пир. На столах яйца, сыр, куры, грибы, мясо, компоты, маринованные овощи, все свое, домашнее, извлеченное из кладовок и погребов.

Рассаживаемся. Я, как гость, на почетном месте, между председателем колхоза и представителем советской власти Маслёнгом, напротив — бригадир Петшик. Председатель кол-

хоза дает знак председателю сельского совета. Маслёнг встает и, из уважения к председателю колхоза, произносит по-русски:

— Слово для приветствия делегации польских журналистов во главе с Ханной Кралль предоставляется товарищу Петшику...

Бригадир Петшик говорит про них, про сибирских поляков. Именно так они себя определяют. Говорит об их отечестве — Советском Союзе. Для них существует только это одно, советское, сибирское, отечество. И заканчивает: мы здесь шестьдесят лет, и наши дети говорят по-польски, а если через шестьдесят лет приедет другой корреспондент, то дети, которых он увидит, тоже будут говорить по-польски...

Мне задают вопросы. Спрашивают: что в Вершине произвело на меня наибольшее впечатление? То, что между полями за пределами личных участков, отвечаю я, нет межей. И что дети ночью сквозь сон говорят по-польски...

Они знают, что такое межа, но не понимают, почему именно отсутствие межей производит впечатление. Мой вопрос насчет конфликтов из-за межей им тоже не понятен, и я прекращаю объяснения.

— Нашего сибирского поляка тут никто никогда не обижал. Ни русский, ни бурят, ни *хохол*, — возвращается к самому важному бригадир. — А объединяет нас всё, что мы вместе пережили. И сорок первый год, когда мы воевали в сибирской дивизии под Москвой. И сорок четвертый, когда все ели корни пастернака и березовую кору. И тридцать седьмой, когда ночью приезжали в дома. За ними и за нашими, без разницы. А сейчас нас объединяет то, что уже можно так хорошо, так спокойно жить.

Они знают, кто в 1937 году подсунул кому следовало фамилии вершинских поляков. Всегда знали. Даже после 1956 года, когда люди уже возвращались, а в Вершину никто не вернулся, — даже тогда его не убили. Приходили к нему и говорили: из-за тебя погиб мой отец... А он им говорил: люди, простите... Когда он умер, на его похороны никто не пошел, ни один человек, хотя на похороны всегда ходит вся деревня.

К нашему столу в саду Петшиков подошла маленькая старушка бурятка. Ей тут же освободили место, поспешно подали прибор.

— Если бы она пришла в мой дом, — обратился ко всем Петрас, — и сказала: мне негде жить, я бы сказал: оставайся у нас навсегда. И любой в Вершине сделал бы то же самое.

— Любой, — подтвердили за столом.

— Когда в тридцать седьмом я осталась без родителей, одна, с младшими братьями и сестренками, и никто нам, детям "врагов народа" не осмелился помочь, она, бурятка эта, тайком принесла нам хлеб, — шепчет Наталья Янашекова.

Девяностосемилетняя женщина догадалась, о чем разговор, улыбается, и мы обе хорошо понимаем, что не я за этим столом почетный гость.

"Московской" и апельсинового ликера в бутылках убыло. Собравшиеся сбились с официального тона, перестали называть друг друга *по отчеству*. Неудивительно. Все за этим столом — родственники. Бригадир Петшик, оказывается, племянник Фигуры, заведующего фермой. Фигура — шурин председателя сельсовета Маслёнга. Маслёнг — брат Новаковой, Фигуровой и Корчаковой, а муж Новаковой, то есть шурин Маслёнга, — заведующий конюшней и брат...

— Очень трудно руководить такой бригадой, — говорит Петшик. — Сделаешь кому-нибудь замечание, а тебе тут же: "Ты как с дядей разговариваешь?"

Судя по тому, что Петшик рассказывает о польской бригаде, его ребята — самые большие индивидуалисты в многонациональном колхозе, у каждого обо всем свое мнение, каждого приходится убеждать, но, если убедить удается, работают прекрасно; с чувством юмора у них все в порядке — шутки понимают с полуслова и подхватывают на лету, лучшие колхозные анекдоты рождаются среди поляков; они лучше всех ездят верхом и отличные охотники. У Зенека Митренги на счету уже двенадцать медведей, а Петшик, когда жена просит шкурку, идет в тайгу и приносит соболя.

"Московская" закончилась, остался апельсиновый ликер.

— А может, споем? — спрашивает Наташа, которую называют Натальча.

Что ж вы головы повесили, соколики,
Или выпить захотели, алкоголики...

— Нет, Натальча, нет, незачем такое корреспонденту петь, — одергивает ее доярка Бальвина Каня. — Уж лучше это:

Пропьем сестру, прогуляем брата,
Мы на то надеемся, что Сибирь богата...

Пожилые женщины предлагают спеть что-нибудь по-польски.

Приходит Колька Даниленко с гармонью. Натальча приглашает жену Петшика, а меня приглашает Бальвина Каня. Похоже, веселье затянется на всю ночь.

Утром Наталья Янашекова провожает меня на автобус. Мы ищем его по всей деревне, потому что идет дождь и неизвестно, где этот автобус сегодня остановится.

Я держу хлеб, который перед уходом сунула мне в руку Наталья.

– Зачем? – говорю я. – Поем в Иркутске.

– Бери, бери. В дороге всегда надо иметь кусок хлеба...

Четыре миллиона шахматистов

В Москве на Гоголевском бульваре, в особняке, некогда принадлежавшем купцу и оперному меценату Зимину, размещается Центральный шахматный клуб СССР. Его члены – мастера, гроссмейстеры и перворазрядники; их несколько тысяч. В других городах существуют местные клубы для тех, кто в мастера не вышел, – таких четыре миллиона. Неорганизованных шахматистов и шахматных болельщиков – в несколько раз больше.

В вестибюле клуба витрина. Центральное место занимает фотография Ленина, играющего в шахматы с Горьким.

Диаграммы показывают, как в Советском Союзе рос интерес к этой игре. До революции шахматистов было пять тысяч, в 1933 году – триста тысяч, в сороковые годы произошел резкий скачок. С тех пор статистка оперирует миллионами.

Кто же эти люди?

Членами Центрального шахматного клуба состоят: дирижер Большого театра, режиссер, классик советского кинематографа, драматург театра "Современник", директор Института редких металлов, писатель. "Но есть и простые люди", – говорит директор клуба. – "Например?" – "Например, инженеры". – "А еще более простые?" – "Ну, более простых, пожалуй, нет... Ох, простите, есть один колхозник. Послушай, как фамилия нашего колхозника? Ну, этого, который приходит в резиновых сапогах". – "Шевохин". – "Ах, да, Шевохин. Пастух. Честное слово, пастух, поверьте. Образование – семь классов; когда заинтересовался шахматами, начал читать книги на эту тему, потом на другие темы, а теперь начинает любить музыку. Шахматы страшно развивают человека. А почему до сих пор ходит в клуб в резиновых сапогах? Чтобы выделяться!"

Люди вообще под влиянием шахмат растут – и перестают быть пролетариями. Был, к примеру, в клубе один пароход-

ный кочегар, один кузнец и один грузчик. Кузнец стал гроссмейстером и профсоюзным деятелем. Кочегар — мастер, ездит за границу, не работает, государство его содержит. Грузчик уже учится на заочном.

Ш*ахматы как компенсация*

Гроссмейстер Юрий Авербах, главный редактор журнала "Шахматы в СССР", отмечает, что среди шахматистов часто встречаются люди с теми или иными изъянами. Даже среди членов Центрального клуба четверо слепых и несколько калек. Один из них, Борис Пуганов, потерявший на войне обе руки и обе ноги, живет в деревне. Поначалу думал о самоубийстве. Когда стал крупным шахматистом, жизнь обрела смысл: он консультирует окрестных жителей, пользуется авторитетом у молодежи, дома у него везде шахматные часы и столики с шахматными досками, на которых он разыгрывает партии по переписке. Целыми днями кружит между этими столиками, обдумывает ходы и культями рук переставляет фигуры.

Ш*ахматы как гарантия престижа*

Престиж выдающегося шахматиста сравним только со славой ученого или прима-балерины Большого театра. Шахматы (на том уровне, на каком играют Спасский или Таль) считаются интеллектуальной игрой. Это вам не жестокий бокс и не плебейский футбол. Знаменитые шахматисты в своих публичных выступлениях именуют шахматы то "наукой", то "видом искусства". Оба определения привлекательны и придают этой игре благородный привкус.

Во время матча на первенство мира (перед театром, где проводился матч, собиралось по нескольку тысяч человек, а возле клуба, откуда шахматисты, отправляясь на игру, выходили, уличное движение было полностью парализовано) в печати появлялись комментарии в таком духе:

Он ступает по родной земле, рассыпанной по тротуару! Ее привезли из Армении соотечественники Тиграна! (О Петросяне.)

И вот все бросаются к выходной двери. Слышны аплодисменты. Из-за угла выезжает его "волга" и медленно движется по направлению к мостовой... (Это о Спасском.)

Ясно, что борьба будет драматичной. Мои симпатии на стороне Бориса. (Высказывание Юрия Фокина — политического обозревателя Центрального телевидения СССР.)

Ничьей не будет. (Высказывание А. Таланова, слесаря завода Моссельмаш, члена бригады коммунистического труда.)

Заносчив ли Борис Спасский? Не дерзнула бы утверждать. Разве можно сказать про английскую королеву, что она заносчива в силу своего монаршего положения? Да она просто королева. А Борис Спасский просто Борис Спасский.

Если бы выдающиеся советские шахматисты хотели пользоваться своим положением, жилось бы им несравнимо легче, чем другим советским людям.

Михаил Таль, бывший чемпион мира по шахматам, рассказывает, что не было таких затруднительных положений, выпутаться из которых ему не помогла бы его фамилия. Однажды его задержала милиция: ночью сидел в зале ожидания на вокзале с очень молодой девушкой. Девушка дремала, спать ей было негде: она приехала из Риги болеть за Таля, — а Таль сидел с ней рядом и обдумывал отложенную партию. Когда задержанных привели в отделение, оказалось, что им придется подождать, поскольку товарищ начальник очень занят. Прошло несколько часов; в конце концов, ворвавшись без разрешения к нему в кабинет, Таль увидел, что начальник сидит над шахматной доской с его вчерашней незавершенной партией. Потом он сам постелил Талю, накормил, а подозрительно юную особу отчитал за то, что отнимает у гроссмейстера его драгоценное время.

Шахматы как лекарство

С недавних пор шахматы используют в советской психиатрии. Они облегчают врачу контакт с больным, так что играть учат и врачей, и пациентов. Особенно распространено применение шахмат при шизофрении. Больные, неохотно общающиеся с окружающими, в процессе игры раскрываются: понятнее становятся их реакции, эмоции, специфика мышления. Шахматы не только один из методов диагностики, иногда они сами действуют как лекарство. У Михаила Таля и на эту тему есть забавная история. (Друзья свидетельствуют, что подобные истории — чистая правда.) Однажды врач-психиатр попросил Таля сыграть партию с пациентом, чья болезнь проявлялась как раз в том, что он вообразил себя лучшим шахматистом всех времен и народов. Утверждал, что

выигрывал и у Алёхина, и у Капабланки. “Нужно, чтобы кто-нибудь у него выиграл”, — сказал врач.

И пригласил больного и Таля к себе. Кто такой Таль, психиатр не сказал. Расставил шахматы. Больной снял с доски несколько фигур, давая партнеру фору. “Нет, нет, — отказался Таль, — пожалуйста, оставьте”. Играл гроссмейстер не очень внимательно, и, когда заметил свою ошибку, было уже поздно. Он проиграл.

— Не огорчайтесь, — сказал ему партнер, — для дилетанта вы вполне прилично играете...

Таль тогда — в 1961 году — был чемпионом мира по шахматам. А о его противнике никто, кроме врачей психиатрической клиники в Риге, не слышал. “Сыграем еще раз”, — нервно попросил Таль.

— Никогда еще, — рассказывает он, — я не играл в таком напряжении. Ни к одной партии на чемпионатах мира не относился так серьезно. И ни одной партии в жизни не выиграл с таким трудом...

Спустя несколько недель больного выписали из клиники. В Риге по случаю годовщины революции устраивают публичные шахматные турниры с участием мастеров. На одном из турниров Таль увидел “своего пациента”. Попросил сыграть с ним партию. Тот сделал несколько ходов... гроссмейстер остолбенел. Его противник играл посредственно, бесцветно, вяло. И Таль понял: этот человек уже совершенно здоров.

Ш*ахматы как метод педагогики*

Игра в шахматы благотворно влияет на общее развитие человека. Учит логике, точности и дисциплине мышления, развивает способность предвидения... Ценные качества шахмат попробовали использовать в области школьного образования. В нескольких классах московских, ленинградских и мелитопольских школ детей начали обучать игре в шахматы, и это дало прекрасные результаты. Дети, играющие систематически, опережают ровесников в умственном развитии, лучше учатся, реже остаются на второй год. В Павлыше, в сельской средней школе, где директорствует Василий Сухомлинский[1], игра в шахматы обязательна для всех учеников без исключения. “Без шахмат нельзя представить полноценного воспита-

1. Василий Александрович Сухомлинский (1918–1970) — советский педагог-новатор, писатель.

ния умственных способностей и памяти", — говорил Сухомлинский, самый выдающийся современный педагог, которого сравнивают с Макаренко и Корчаком.

Шахматы могут подтолкнуть к анализу литературного текста. Гроссмейстер Юрий Авербах проанализировал поэму Яна Кохановского "Шахматы". Он установил, что там описывается первый в истории шахмат матч претендентов (играли соперники, добивающиеся руки принцессы). Затем, следуя поэтическому повествованию, Авербах воссоздал партию, которая началась с хода пешкой d2-d4, на что черные ответили d7-d5... Игра в первый день не закончилась, говорит гроссмейстер, и Кохановский, как пристало опытному комментатору, детально разбирает отложенную партию, давая возможность болельщикам оценить шансы сторон. Авербах сам скрупулезно изучает эти шансы и представляет два неплохих варианта мата. А в заключение защищает Кохановского от... Кохановского. Тот в своих "Шахматах" признался, что подражал итальянскому поэту Марко Виде; Авербах изучает поэму итальянца "Игра в шахматы" и устанавливает, что мат королем и ладьей, который у Виды ставит Аполлону бог Меркурий, примитивен, тогда как у Кохановского окончание партии проведено на отличном уровне. Такой финал, по мнению советского гроссмейстера, позволяет считать поэму Яна Кохановского "вполне самостоятельным произведением".

Ш*ахматы как подспорье экономики*

У задач, стоящих перед шахматистом, много общего с целями экономики. Эффективность методов, бережливое отношение к средствам... немало и других аналогий. Это означает, что, если сконструировать машину, успешно решающую проблемы шахматной игры, она пригодится и для управления экономикой.

Трудность заключается в разработке программы.

До сих пор над программой трудились математики, они же сконструировали машину, которая играла в шахматы с американской машиной. Матч этот назвали "матчем столетия", две партии закончились вничью, а две — победой советской машины. Однако уровень матча был невысок — шахматисты объясняют это тем, что их не привлекли к сотрудничеству.

Теперь программой для машины, играющей в шахматы, занимается сам Михаил Ботвинник, многократный чемпион мира, в сотрудничестве с математиком из новосибирского Академгородка Владимиром Бутенко.

Машина, запрограммированная по их методу, играет уже на уровне шахматиста-перворазрядника, то есть гораздо лучше, чем машины, участвовавшие в матче столетия. Ботвинник полагает, что за год справится со всеми сложностями и машина сумеет одержать победу над любым соперником.

Как и всякое сообщество, которому грозит полная автоматизация, шахматистов охватило замешательство.

— Значит ли это, что живой поединок потеряет смысл? — спросили у Ботвинника на собрании в Центральном клубе.

— Ни в коем случае! — заверил он. — Даже наоборот. Играть станет еще интереснее. Машина будет в состоянии подсказать множество новых интересных решений, ранее человеку неизвестных.

Ш*ахматы как благородная страсть*

Борис Спасский знает о шахматах такие вещи, которых никогда не узнать даже наилучшим образом запрограммированной машине.

— В шахматах, — рассказывал он мне, — можно найти все. Тот, кто любит выигрывать, а в жизни никакой выигрыш ему не светит, может наконец-то одержать победу. Тот, у кого есть воображение, может на шахматной доске создать для себя целый мир. А для того, кто хочет уйти от реальной жизни, этот мир на доске может стать убежищем. Я рад, что играю в шахматы; думаю, буду играть всегда.

В августе 1968 года я участвовал в сеансе одновременной игры в Королевском саду Стокгольма. Там были писатели, художники, теннисисты, элита Швеции. Я играл публично с одним знаменитым голливудским актером... это требовалось для рекламы. Голливудской звезде, разумеется, не мне.

В этом Королевском саду, да и в Швеции вообще, меня принимали необычайно тепло. Необычайно! Дело было в августе...[1]

Я рад, что играю в шахматы.

В отличие от кибернетики, генетики или социологии, в шахматы играть можно было всегда. В отличие от истории, там никогда не было ничего сомнительного. В отличие от живописи, и речи не может идти об абстракции.

1. В августе 1968 г. войска стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию. К гражданам СССР в Европе относились не лучшим образом — Спасского это не коснулось. (Прим. автора.)

Я рад, что играю в шахматы.

В шахматах существует свобода — хотя и в строго очерченных границах. Такая граница — ход вашего партнера. Шахматы оставляют за нами свободу решения. Правда, в четко обозначенных пределах, но пределы устанавливаем только мы, я и мой партнер, никто больше.

Я страшно рад, что играю в шахматы.

“Моряк”, *или* Одесса

“Моряк” действительно существует. Тот самый, которому Паустовский посвятил книгу “Повесть о жизни”, в котором Бабель печатал первые одесские рассказы. Тот, который вошел в литературу и в легенду.

Костя позвонил

В двадцатые годы “Моряк” был одной из самых интересных газет. Печатали его — по причине отсутствия бумаги — на цветных чайных акцизных бандеролях. По понедельникам и средам — на кремовых, по четвергам — на розовых, а по вторникам — на сиреневых. Гонорары — по причине отсутствия денег — выплачивали перламутровыми пуговицами, синькой для белья, иногда табаком.

Из постоянных сотрудников тогдашнего “Моряка” жив Яков Кравцов, последняя его должность — заместитель главного редактора; сейчас Кравцов на пенсии. Он помнит, как однажды на пляже встретились Иванов[1], Паустовский и он, и как Иванов сказал: “Мы завинтим такую газету, что перед ней померкнут романы Дюма-отца...”. Работали вместе: он, Кравцов, и они — Изя Бабель, Костя Паустовский; захаживала Верка Инбер со своими стихами, Валька Катаев в турецкой феске... простые авторы. Когда в январе 1963 года в ходе кампании по ликвидации нерентабельных многотиражек “Моряк” закрыли, Кравцов поехал в Москву. “Яша, — сказал Паустовский, — для вас я это сделаю”. Через несколько дней позвонил: там, где надо, ему сказали, что “Моряк” может выходить. Сразу после этого звонка они выпустили номер; газета благо-

1. Технический редактор “Моряка” Евгений Иванов.

получно выходит по сей день. Да. Паустовский до конца оставался другом "Моряка" и Одессы, но в город никогда больше не приезжал. После Костиной смерти приехала сиделка с его последней просьбой: отыскать Кравцова, передать привет "Моряку", поклониться Пушкину и Черному морю.

Бабель тоже не вернулся в Одессу. Уехал в 1925 году, и провожал его один человек – именно он, Кравцов. Почему, честно говоря, не помнит. То ли никто из знакомых не знал даты отъезда, то ли никого как раз не было в Одессе... Впрочем, тогда казалось, что это не важно. Изя Бабель уезжает, ну и что, вернется ведь. Кравцов помнит только, что чемодан у Бабеля был тяжелый, и он, как младший товарищ, помогал этот чемодан нести. Потом они прогуливались по перрону, и Бабель сказал: "Мне бы хотелось оставить тебе что-нибудь на память". – "Ты ведь вернешься..." – "Нет, – сказал Бабель, – не вернусь". – И достал из кармана трубку: львиная лапа с когтями и янтарный мундштук, а футляр сафьяновый, снаружи красный, внутри выложен синим бархатом. А еще дал записку на вырванном из блокнота листке. Сказал: "Может, когда-нибудь пригодится (ведь он тогда уже был БАБЕЛЕМ)". В записке значилось: "Настоящим горячо рекомендую Кравцова как талантливого репортера, с которым я несколько лет работал в газете 'Моряк'. И. Бабель".

"Эту рекомендацию Бабеля, так уж вышло, – говорит Кравцов, – я никому никогда не показывал"[1].

Адреса Бени Крика

23 июня 1921 года в "Моряке" напечатали первый одесский рассказ Бабеля "Король"; главным действующим лицом там был Беня Крик. На страницы газеты ворвались новые герой с сочным языком и своеобразными нравами; их жизнь смахивала на гротеск. У всех имелись реальные прототипы, и жили все на Молдаванке, около товарной железнодорожной станции. Я их, разумеется, не найду, но хотя бы увижу Молдаванку. (Саша Кноп – репортер из "Моряка", молодой, шустрый, хорошо разбирающийся в политэкономии, – объясняет, что прежней Молдаванки уже нет, понимаете, она могла сущест-

1. Кравцов никому не показывал эту рекомендацию, потому что Бабель был арестован по обвинению в шпионаже, посажен в тюрьму на Лубянке и в 1940 г. расстрелян. (*Прим автора.*)

вовать только при тогдашнем строе. Экономическая ситуация порождала таких людей, как Беня Крик.)

Миша Глед, фотокорреспондент, утверждает, что настоящий Беня, то есть реальный король одесских бандитов Мишка Винницкий по прозвищу Япончик, жил на углу Прохоровской и Глухой, в доме Пименова. (Миша известен тем, что, получив от редактора задание: "Сгоняй на Пересыпь, экватор сломался" – помчался искать сломанный экватор; кроме того, Миша был свидетелем всех важных одесских событий и дружил со всеми одесскими знаменитостями. Он видел легендарную Марусю – как она шла со своей бандой. "А прямо за ней комдив Котовский на белом коне – и спрашивает: *мальчик*, где Маруся?" И не кто иной, как он, Миша, показал комдиву, в какую сторону направилась Маруся.) Глед тоже жил на Прохоровской, только в доме 28, и, конечно же, Мишку Япончика знал лично и до сих пор прекрасно помнит: "Раскосые глаза, нос с горбинкой и челка на лбу, вот тут, нет, не тут – правее..."

Итак...

Первый адрес

Угол Хворостина и Запорожской (названия улиц изменились). Дома Пименова уже нет. На этом месте построили жилой дом для сотрудников завода по производству медицинского оборудования № 2, однако тут еще живут прежние жильцы пименовского дома. В двадцать седьмой квартире – Корентьев, токарь. Нет, Мишку Корентьев не помнит, он работает на заводе по производству медборудования, что у него могло быть общего с Япончиком, здесь проживают только приличные люди. Однако его дочка Люда, студентка, читала Бабеля, ей понятен интерес гостей: пойдемте к соседям, может быть, Инна из шестнадцатой что-нибудь знает.

Люда учится в Педагогическом институте, на четвертом курсе. Через год заканчивает, впереди – работа в школе. Всем бы хотелось остаться в Одессе, но оставят только тех, у кого здесь супруг с высшим образованием, так что Людины однокашницы уже на третьем курсе норовят выйти замуж. По любви естественно, но каждая старается, как говорится, совместить приятное с полезным. Чтобы и любовь, и удачное распределение. Самые завидные – моряки. С нынешним моряком и о Рождественском можно поговорить, и об Антониони, и как стирать нейлоновую рубашку; к тому же моряк ходит в плаванье, привозит потрясные шмотки, да и работа в городе гарантирована – моря-

ка ведь не пошлют в провинцию. На один корабль требуется в среднем пятьдесят человек. “Вы, наверно, представляете, сколько новых судов ежегодно спускают на воду. Наш флот растет неслыханными темпами”, – подчеркивает Люда.

Соседка Инна (квартира номер 16), в свою очередь, мечтает поступить на историю искусства. Пока она работает в химчистке. Отпарывает пуговицы и выдает квитанции. Какая связь между химчисткой и изучением искусства? Самая прямая. На дневном отделении двадцать кандидатов на место, а на заочном – только пятнадцать. Но чтобы поступить на заочное, нужно работать, вот она и работает в химчистке. А если не поступит? Будет сдавать еще раз. И еще. Ничего страшного, здесь, в Одессе, если надо, и по пять, и по шесть раз сдают. Одна ее подруга поступила в медицинский с восьмого раза.

Инна с Людой пытаются мне помочь. Сняли с полки книгу Лукина и Поляновского “Тихая Одесса”. Есть новый адрес Мишки Япончика: Госпитальная, 11.

Итак...

В*торой адрес*

Седая старушка с миндалевидными глазами.

– Говорят, в этом доме жил Мишка Япончик. Вы его, случайно, не знали?

Старушка снисходительно улыбается.

– Я не знала Мишку Япончика? Как я могла не знать Мишку, если я шила свадебное платье его невесте?

Из окна высовывается дочка: какие-то незнакомые люди, пристают к матери. Чего они хотят? От таких не жди ничего хорошего.

– Ма-ма! Иди домой!

– Понимаете, – мечтательно говорит старушка, – я когда-то была самой известной портнихой на всей Молдаванке. У любого спросите: Соня Калика. Да, это я. К кому же еще Мишка мог обратиться за свадебным платьем? Ай, какое было платье... И кружева, и оборки, и гипюр...

Ма-а-ма!

На следующее утро мы с Мишей Гледом приходим, чтобы сфотографировать Соню Калика. Квартира заперта, соседка показывает ключ.

– Понятно, – мигом соображает молдаванский старожил Миша. – Дочка вчера ей сказала: “Мама, завтра они снова придут, увидишь. Сиди тихо и никому не открывай”. – Бедная тетя

Соня, — вздыхает Глед. — Соседка хоть подает ей еду через дверь?..

В любом случае, мы уже знаем, что по этому адресу Мишка Япончик не жил — так безапелляционно заявила тетя Соня. “Но, — сказала она, — рядом, в двадцать третьем, жили его сестры”.

Третий адрес

Госпитальная, 23. Напротив дома, в котором играли свадьбу Двойры, сестры Бени Крика. Типичный молдаванский двор одноэтажного дома. Миниатюрные садики, обнесенные штакетником, в каждом садике — столик и лавочка, на каждой лавочке — семья. Болтают, едят сушеную тараньку и маслины, запивая водкой “Московская”. “Что ей нужно?” — “Она к Японцу приехала”. — “Разойдитесь, — кто-то ревниво оттесняет уже собравшуюся толпу. — Это мой свояк или ваш? Вы, девушка, только со мной разговаривайте. Мишкина жена и моя — родные сестры. Мы с Мишкой свояки”.

Свояк Сёма рассказывает: все погибли в Одессе во время оккупации (ни за что не захотели эвакуироваться). Жива только дочь Бени Крика, Аделя Винницкая, она живет в Баку. А Бенина внучка — заслуженная учительница. Сын Сёмы, кстати, тоже учитель. Воспитывает ребятишек в детском доме, на конкурсе современного танца получил вторую премию за хали-гали. “Детский дом — очень ответственная работа. Понимаете, дети иногда хулиганистые, из не очень приличных семей...” Что же касается Мишки, так на Мясоедовской, 22, квартира 2, в первой комнате налево была его спальня...

Четвертый адрес

Мясоедовская 22, квартира 2, первая комната налево.

Инженер Валентина Гаморина, специалист по холодильному оборудованию. Их предприятие экспортирует это оборудование в восемнадцать стран. Задача Гамориной — проверять, не имеется ли в какой-нибудь из этих стран патента на тот вид продукции, который предприятие туда поставляет. Если патент имеется, заводские инженеры немедленно меняют конструкцию изделия.

Про патенты мы говорим шепотом, потому что дочка спит. Устала очень: учится музыке, частным образом, тут, через дорогу, недавно вернулась с урока. На Молдаванке теперь все учатся музыке. Потому что современная Молдаванка — уже не тот старый нищенский район. Люди работают, неплохо зарабатывают, а когда у человека появляются деньги, ему хочется иметь то, что всегда имели те, кому хорошо жилось. Например, пианино. И тогда покупается инструмент, лучше всего немецкий, за тысячу двести, в кредит. И никаких там молодежных гитар. Серьезная музыка, фортепьяно или скрипка. Как Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс, Яша Хейфец, Яков Зак. Все они, чтоб вы знали, с Молдаванки.

Средняя музыкальная школа имени Столярского — самая популярная в городе. Двадцать пять кандидатов на место, всесоюзный рекорд. Попасть в эту школу — великая удача. Вот мама Олега Дьяченко, фармацевт, — она бросила работу, чтобы помогать талантливому сыну. Олег в этом году сдал вступительный экзамен к Столярскому лучше всех и в первый день учебного года будет перерезать ленточку. Ленточка непременно должна быть красная и атласная, и бедная мама Дьяченко уже неделю бегает по магазинам. "Можете себе представить: во всей Одессе нет красных лент, — говорит мама Дьяченко, но тут же вспоминает, что разговаривает с зарубежным корреспондентом, который может плохо подумать об Одессе, и поспешно добавляет: — Неудивительно, что лент не хватает. Столько новых объектов в последнее время открывается".

Возвращаемся к Мишке Япончику. Инженер Гаморина слышала, что здесь была его спальня. "И знаете что: мне даже советовали снести вон ту стену. Потому что когда-то это была одна большая комната, и Мишка Япончик сам перегородил ее напополам. Интересно, мог он что-нибудь в этой стене замуровать?"

Одесские дела

"Моряк" попытался вернуть себе былую славу. Пришел новый редактор и несколько молодых репортеров. Однако их усилия наткнулись на сопротивление старого коллектива. "Мы им толкуем: на данном этапе уже по-другому работают. А они удивляются, почему на фото красивая передовичка-крановщица, а не портовый кран".

Задумали возродить былые традиции: путешествия, дыхание большого мира, запах далеких морей... "Соорудим такую

маленькую международную газету...” Звонят в доки в Висмаре и в лондонскую корпорацию “Ллойд” — и самих охватывает радостное волнение, потому что уже лет сорок не доводилось звонить в такую даль. Но важнее всего для них собственные одесские дела.

Моряки-отцы на много месяцев уходят в рейсы — газета пишет о воспитательных проблемах.

Моряки-мужья редко бывают дома — отсюда проблема жен. Жены объединились в специальный клуб, куда ни матерей моряков, ни сестер не принимают. Надежда Коваль, председатель, рассказывает, какая в клубе ведется работа: “Политико-воспитательная, культурно-массовая, доклады о международном положении, были уже три беседы о жизни Ленина”.

Развернулась дискуссия о молодых. В старину люди верили, что души умерших моряков вселяются в альбатросов и дельфинов, и их не убивали, а сейчас матрос-материалист знает, что нет никакого переселения душ, и стреляет в дельфинов и чаек! Совет ветеранов флота посвящает молодежи специальные собрания. “А то ходят, понимаете, по городу — волосы, как у попа. Увидишь такого — сразу надо фотографировать!”

Прав был Саша Кноп: тогдашней Одессы нет. Все это интересно только старичкам с палочками, которые ходят в краеведческий клуб “Одессика” слушать доклады об Одессе двадцатых годов.

Иногда кто-нибудь скажет приезжему: “Здесь была ночлежка, в которой жил Горький, читали “Челкаш”? А это кабачок “Гамбринус” — вы, наверно, помните рассказ Куприна”.

Можно сесть на скамью и грызть сушеную воблу под пиво и мелодию “Соньки”: *Но красивее всех, чтоб я так жил, Сонька с Молдаванки.* Разумеется, и кабачок, и скамьи — не те.

А безногий чистильщик обуви на Преображенской не просто чистильщик, он снимался в “Броненосце ‘Потемкин’”, помните сцену на лестнице? Иван Андреевич до сих пор вспоминает Эйзенштейна и фильм, потому что у киногруппы была своя столовка, где давали поесть задарма и досыта. “А что, — удивляется он, — неужели даже в Польше слыхали про нашего ‘Потемкина’?”

Но все это дела давние. Сегодня “Моряк” — нормальная советская газета, подобная другим газетам, а Одесса — нормальный советский город, подобный другим городам.

А того “Моряка” нет, и той Одессы, может, тоже не было? Может быть, ее сотворили Паустовский и Бабель? Но это не столь уж и важно.

Мужчина и женщина

1. После спектакля

Этой осенью[1] московский воздух был пропитан туманом и серостью. Уже которую неделю не уходил циклон. Бесконечно обсуждалось ТО СОБЫТИЕ: почему так случилось и почему именно с ними. Преобладало мнение, что Господь покарал Россию за ее грехи. Не исключалось, что Ленин мог быть порождением сатаны. Подчеркивалась роль погоды. Тогдашняя погода была похожа на нынешнюю: господствовал долгий, невыносимый, вгоняющий в депрессию циклон.

В годовщину ТОГО СОБЫТИЯ люди собрались перед зданием ЦК. Молились за душу царя, за Святую Русь, за тех, кто погиб, защищая царя и отечество, а также за тех, кто погиб в лагерях и в Афганистане.

Этой осенью люди всё чаще собирались вместе и молились всё горячее. В церквях происходили удивительные вещи. Певица, которая была секретарем парторганизации в большом академическом хоре, во время богослужения в храме запела таким звучным, чистым и сильным голосом, каким никогда не пела. Уверовав в Бога, она вышла из партии и крестилась. Подобные обращения были не редки. О том, как будет развиваться ситуация дальше, гадали по расположению звезд. Астрологи предсказывали, что зимой до трагедии не дойдет, но весной быть голоду и гражданской войне. Экстрасенсы предостерегали: берегитесь отрицательных полей, усиливающих страхи и пожирающих энергию. Милиция предупреждала граждан, чтобы, выходя на улицу, не надевали драгоценностей. Общество “Память” предупреждало евреев: пора убираться из России. Журналистке Алле Г., которая выступила свидетелем на суде над боевиками “Памяти”, ворвавшимися на собрание писателей, сообщили, что ее дни сочтены. “*Мы тебя убьем*, – заверил ее мужчина, притаившийся в подъезде. Он был молод, опрятно одет, вежлив. – Мы тебя убьем, – повторил без всякой злости. – От нас не уйдешь, не надейся”.

Этой осенью со стен московских домов осыпáлась штукатурка, срывались балконы, от крыш к фундаменту ползли черные трещины. На Неглинной стену подперли сваей. Свая раскололась, ощетинилась щепками. На Кузнецком Мосту дом обнесли дощатым забором. Кто-то выломал одну доску, стало видно подвальное окно. Стекол не было. Окно заклеено газе-

1. 1990 г. (*Прим. автора.*)

той. В газете дыра. Во дворе дома напротив Кремля сушились одеяла. От одного был оторван кусок. Остаток колыхался на ветру, концы торчавших из него длинных спутанных ниток утопали в грязи. На каждой улице в деревянной будке с надписью *Чистка обуви* сидел человек, но обувь у прохожих была грязная. Возможно потому, что на мостовых стояли лужи (лужи были, хотя дождей не было). Прохожие двигались неторопливо, будто не зная толком, куда идти. Иногда останавливались и через витринное стекло заглядывали в магазины. В центре купить можно было только две вещи: в уличном ларьке — баночку маринованного чеснока, в магазине — электрический дверной звонок. Люди заходили в магазин, разглядывали звонки, проверяли, действуют ли. С минуту прислушивались к резким протяжным звукам, словно раздумывая, не купить ли, а потом выходили обратно на улицу и не спеша продолжали путь. Когда-то центр Москвы, застроенный домами XIX века, не лишенный сецессионного изящества, был полон жизни. Этой осенью улица производила впечатление декорации. Театральной, до мелочей продуманной, однако видели вы ее уже постфактум. После того как погасили свет. После спектакля.

2. *Он*

Далеко от московского центра, у подножья лесистых Воробьевых гор, при царице Екатерине для одного из ее фаворитов был построен летний дворец. После революции в нем разместили Институт химической физики, а во флигелях для прислуги поселили научных работников. Желтые стены, белые дорические колонны и обширный парк прекрасно сохранились. Не будь на двери объявления, гласившего, что к празднику Великой Октябрьской Социалистической революции будут выдавать талоны на промтовары, усадьбу можно было бы принять за музей-заповедник XIX или даже XVIII века, олицетворение российскости, по которой этой осенью все сильно тосковали.

Проживавшая в доме с колоннами Сарра Соломоновна П., кандидат химических наук, по случаю праздника получила талон на пальто. Доцент с первого этажа получил талон на утюг. Брат Сарры, профессор Лев Соломонович П. ничего не получил, потому что в его институте талонов на промтовары не выдавали. Правда, разыгрывали мясные консервы — на двадцать ученых приходилась одна банка, — но профессору консервов не досталось.

Сарра и Лев родом из Астрахани. Их дедушка был очень набожным, у него была длинная борода, он носил талес и каждый день ходил в синагогу. Их дядья были люди прогрессивные и издавали меньшевистскую газету. Их не менее прогрессивный отец работал инженером нефтяного флота. Лев Соломонович П. окончил Ленинградский университет; его научным руководителем был академик Алексей Крылов, великий математик и кораблестроитель. Когда в 1937 году Льва Соломоновича арестовали (один из его коллег прилюдно назвал орган ЦК "Вопросы философии" говном, а Лев Соломонович — так значится в обвинительном заключении — с этой точкой зрения "молча солидаризовался"), Крылов направил Молотову длинное письмо, в котором характеризовал Льва Соломоновича П. как исключительно талантливого человека, мгновенно схватывающего суть сложнейших проблем. "Работая рядом, он заинтересовался морской историей — наиболее любопытным ее периодом <...>, когда Трафальгарское сражение больше чем на сто лет упрочило морское могущество Англии, — писал в 1937 году академик. — Он поразил меня своей способностью быстро схватывать самое существенное в таком обширном сочинении, как, например, двухтомное жизнеописание Нельсона". "Если ваш ассистент окажется невиновен, — написал в ответ Молотов, — через неделю вы с ним будете пить чай с ромом у вас в кабинете".

Лев Соломонович П. выпил чаю с ромом спустя восемнадцать лет, пять месяцев и одиннадцать дней. За это время он побывал в двенадцати тюрьмах, трех лагерях и пережил две ссылки.

Один молодой физик спросил у Льва Соломоновича про эти восемнадцать лет. "Начнем с выводов, — предложил Л. С., — с основных аксиом, с которыми оттуда возвращаются".

Они беседовали в институте, где работал Лев Соломонович. Покончив со своими повседневными обязанностями, заключающимися в исследовании и описании плазмы, Л. С. перечислил молодому физику основные аксиомы.

Аксиома первая. Мясо ворон годится в пищу, а галок — нет.

Аксиома вторая. От клещей нет пользы, а от вшей есть. Вшей кладут на жестянку над консервной банкой с кипятком — если в вытопившийся жир опустить фитилек, получается светильник.

Аксиома третья. Уметь добывать пропитание, конечно, важно, но не менее важна работа кишечника. Особенно когда на то, чтобы оправиться, дается пять минут.

Аксиома четвертая. Нельзя схлестываться с уголовниками.

Аксиома пятая. Шаг вправо и шаг влево считается побегом. Оружие будет применено без предупреждения.

Аксиома шестая. Не думай, что ты так уж нужен миру. А то еще поверишь, что тебе все дозволено. Что можно даже отобрать у товарища кусок хлеба. Лучше думай, что мир прекрасно может без тебя обойтись, да и ты обойдешься без мира.

И седьмая аксиома. Если уж ты уперся, что намерен выдержать, то для того лишь, чтобы жить. Ни с какой иной целью. Вроде бы — продолжал Лев Соломонович — были такие, которые держались, чтобы все описать. Я про них слышал, но сам не встречал. Что касается меня — я хотел жить, только и всего.

Лев Соломонович иногда вспоминал себя тогдашнего. "Незнакомый малый, — удивлялся. — Я его не знаю, никогда не встречались". Рассказывал о нем со спокойным интересом. Как будто наблюдал и описывал плазму — газ, ионизированный под воздействием высокой температуры.

Уголовники имели обыкновение играть в карты на вещи, принадлежащие политзаключенным: присланную из дома посылку, рубашку — или на голову. Голову отрубал проигравший. Он же выносил ее за проволочное ограждение зоны — только тогда карточный долг считался полностью выплаченным. Однажды уголовники сыграли на голову одного из своих, которого все ненавидели; фамилия его была Фаворский. Наутро голову Фаворского нашли за колючей проволокой, а туловище — в выгребной яме. Вытащил туловище из ямы — по распоряжению начальника лагпункта — Лев Соломонович П. Это был хороший день, потому что после выполнения задания Льва Соломоновича уже не послали на работу в лес. Он лег на нары, съел завтрашнюю порцию сахара и был счастлив.

Лев Соломонович заболел воспалением легких. Из-за болезни он очень ослабел и для общих работ не годился. Его спас врач: поручил хоронить тех, кто умирал в больничном бараке. Работа была легкая, поскольку яму копали другие заключенные. Труп надлежало вывезти, положить в яму и засыпать землей. Тела Лев Соломонович возил на санях; в яму старался укладывать так, чтобы земля не попадала на лица. Земля, перемешанная со снегом, в тайге и тундре весной превращается в грязную жижу. У покойников не было ни одежды, ни фамилий. Имелись только бирки с номерами. Лев Соломонович знал, что существуют разные погребальные обряды, но какие они — не знал. Произносить речь было бы смешно. Молитва была бы фальшью, потому что в Бога он не верил. И он придумал свой обряд: несколько раз обходил могилу, как крыльями взмахивая руками. Наверно, похож был

на птицу. Думал: пусть улетят куда-нибудь, лишь бы подальше отсюда. Потом пел. Охотнее всего песни, которые ему нравились, например, старые романсы:

Черную розу, эмблему печали,
При встрече последней тебе я принес,
Оба вздыхали мы, оба молчали,
Хотелось мне плакать, но не было слез.

Сев в пустые сани, Лев Соломонович разворачивал лошадь. Но на обратном пути мысленно произносил прощальные слова, всегда одни и те же: “Вы ушли. Что ж. Но мы еще за вас рассчитаемся”. С кем надо рассчитаться, кто это будет делать и как, он понятия не имел. Когда возвращался в барак, его уже ждали новые мертвецы. Он клал руку на голое холодное плечо, говорил: “Ну, брат, подожди, я не прощаюсь” — и ложился на нары, рядом с уголовниками, самозабвенно режущимися в карты.

Однажды Лев Соломонович П. взбунтовался — отказался копать торф. В правилах сказано, что ссыльный обязан вести общественно полезную работу, — объяснял он судье, — поэтому ему, как ученому-физику, должны поручить более ответственное задание. Судья, цветущая статная женщина, вскормленная сибирскими мороженными пельменями, велела ему самому найти полезную работу. Он нашел — на острове на Ангаре. Там был маленький аэродром для гидропланов. Лев Соломонович стал механиком, заправлял топливом самолеты. Прилетевший на остров генерал НКВД приказал перевести его на еще более полезную работу — в геологическую экспедицию, искавшую железо. Лев Соломонович уже отсидел свой срок в лагере, но был на поселении. Это означало, что он не имел права никуда уезжать, каждые десять дней отмечался в НКВД, где ему на зеленом листочке ставили соответствующую печать. Однако ходил он туда один — без сопровождения собак и без конвоира, поэтому был счастлив. Итак, он присоединился к экспедиции. Там было тридцать мужчин, в том числе семеро профессиональных убийц. Через несколько месяцев приехали женщины. Десять женщин. Восемь колхозниц (их называли “колосками”, потому что сидели они за колоски, после жатвы подобранные на колхозном поле), одна проститутка — как позже выяснилось, больная сифилисом — и одна ПШ (подозреваемая в шпионаже). ПШ была полька. Звали ее Анна, ей было двадцать два года, у нее были красивые ноги и глаза необычайного цвета — голубовато-зеленые.

3. *Она*

Бабушка Анны Р. работала у графа. Родила дочку, которую граф не признал и которую быстро выдали замуж за человека намного ее старше, вспыльчивого и с больными ногами. У внебрачной графской дочери и ее немолодого хромого мужа родились три сына и дочь Анна.

Жили они в деревне Размерки. Костел и староство[1] были в Косове-Полесском. В костел ходили только Анна с матерью (мать в красивой блузке с буфами и пуговичками на манжетах до самого локтя) — у отца болели ноги, а братья были коммунистами. Старший, Антоний, уехал учиться аж в Москву. Среднего, Станислава, разыскивала полиция. Младший, Юзеф, сидел в тюрьме. Мать не выдержала и умерла от разрыва сердца. В доме остались Анна с отцом. Отец мастерил ушаты и лохани, а Анна подавала ему деревянные клепки и железные обручи или пряла и ткала лен. Через год отец нашел себе полюбовницу. Привозил из Косова красивые отрезы на платье и шоколадные конфеты с начинкой и вместе с подарками исчезал на целые дни. Когда Анне было десять лет, пришло письмо от Антония. Он писал, чтобы сестра съездила в староство, выправила себе паспорт и перебралась в Москву. В Размерках ничего хорошего ее не ждет, а в Москве она будет учиться и станет человеком. В следующем письме Антоний прислал билет и подробную инструкцию. Сестре было велено доехать до пограничной станции и сесть на перроне — брат сам ее отыщет. К письму была приложена фотография и лоскуток материи. С фотографии Анне улыбался красивый мужчина, которого она не помнила. Ткань темно-бежевая или, скорее, коричневатая, в елочку. Улыбающийся мужчина был ее брат; в костюме из ткани в елочку он ее отыщет на пограничной станции.

Она ждала несколько часов. На коленях держала узел с пуховой подушкой и льняным полотном, который сама соткала.

Люди на станции удивлялись:

— Одна едешь? В Москву?

— Я там буду учиться, — отвечала Анна, — и стану человеком.

Когда появился мужчина в темно-бежевом в елочку костюме, Анна задала ему несколько контрольных вопросов: как зовут братьев? на какую ногу хромает отец? откуда упала бабушка перед смертью?

1. Управление повятом (единицей административно-территориального деления).

— С печи, — ответил мужчина, и только тогда она поверила, что это Антоний.

Брат знал разные иностранные языки, и у него было много книг. Он записал Анну в польскую школу. Вместе им жилось очень хорошо, но брат познакомился с Валей, стал дарить ей чудесные подарки и в конце концов на ней женился.

Анна пошла работать на *карбюраторный завод*. В 1937 году Антония арестовали. Анне сообщили, что ее брат — враг народа, а она на комсомольском собрании хвалила режим Пилсудского. Приговор: подозрение в шпионаже, десять лет *дальних лагерей* без права переписки.

Когда рельсы закончились, дальше шли пешком по снегу, все время на север. Кто-то углядел на снегу дощечку с надписью. Надпись была выцарапана гвоздем — два слова польскими буквами: "Антоний Р...". Анна Р. вспомнила, что брат, подписываясь, ставил такую же закорючку, спрятала дощечку под ватник и пошла дальше.

Пять лет она рубила, пилила и укладывала дрова в поленницы. На шестой год ее как *расконвоированную*, без охраны и собак, отправили к геологам, которые искали железо.

4. *Спасибо, сердце*

Бригадир геологов, Лев Соломонович П., был ростом невелик, но мужчина культурный. Книжек прочитал еще больше, чем Антоний. Грубых слов не употреблял. Декламировал стихи. Пытался учить ее английскому, но языки у нее в голове не укладывались. Как и стихи, тем более что он читал ей одни только трудные. Никогда не называл ее уменьшительным именем. Всегда Анной, как Вронский и Каренин. Ей нравилось, когда он своими словами пересказывал разные романы, но больше всего она любила песни из кинофильмов: *Сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить, сердце, как хорошо, что ты такое, спасибо сердце, что ты умеешь так любить.*

Через год Анна Р. родила дочь. В детский дом девочку не забрали, потому что жена начальника тоже родила, а молока у нее не было. Анне дополнительно выдавали коровье молоко, и ей хватало своего кормить двоих — дочку и ребенка начальника НКВД. От ежедневных посещений дома начальника вышла немалая польза, потому что там были папиросы, которых никто в бригаде давно не видел, и был пес, большой и жирный. В геологической экспедиции у многих были слабые легкие, а от легочных болезней нет лучше лекарства, чем

собачий жир. Анна завела пса в лес, его убили, вытопили жир, и людям стало чем лечиться.

Когда Анну вызвали к начальству и сказали: “Собирайтесь”, — она испугалась. Подумала, дадут новый срок, за собаку и за папиросы, но оказалось, что поедет она без сопровождения. Ей дали хлеб, а еще бумагу: “Анна Р., приговорена по статье... отбывала наказание в течение девяти лет, направляется в Москву, просим оказывать в дороге содействие, май 1946”. Она попрощалась с Львом Соломоновичем П., взяла дочку за руку, и в Ухте они сели в товарняк.

В Москве было жарко. В ватниках и валенках, они вошли в польское посольство. Показали бумагу дежурному. Тот куда-то побежал и вернулся с другим мужчиной.

— Товарищ Анна Р.? — во весь рот заулыбался мужчина. — Наконец-то, товарищ министр уже звонил, спрашивал...

— Кто?

— Станислав Р. ...разве он не ваш брат?

— Брат.

— Вот именно, — обрадовался мужчина. — Милости прошу.

Они очутились среди ковров, картин и красивой мебели. Их покормили, дали платья. Они легли спать. Когда Анна проснулась, было светло. Она испугалась: Господи, светло, а она не в лесу. Вскочила. Не смогла найти топор, отломала ножку стула... принялась рубить... Услышала дочкин плач. “Тихо, — закричала, — у меня норма...” Ей запомнились белые халаты, укол, дежурный, который складывал ее “норму” неаккуратной кучкой. “Не так!” — опять закричала. Хотела объяснить, что укладывать нужно в поленницу, но ее потянуло в сон.

Министр общественной безопасности Станислав Р. встречал сестру в варшавском аэропорту Окенче. Она его не узнала. “Жаль, что не прислал лоскуток”, — пошутила и сразу начала рассказывать про Антония, но брат ее прервал. Никому об этом не говори. Даже мне. Дома повторил с нажимом: “Запомни на всю жизнь. Ни слова”.

Брат поселил ее в вилле под Варшавой. Вилла была шикарная, и она перебралась в домик сторожа. Охотнее всего она рубила дрова, но в дом провели центральное отопление, и рубить стало незачем. Знакомый из Косова-Полесского рассказал, что Юзефа, младшего из ее братьев, русские застрелили в тридцать девятом, потому что он не захотел отдать им свой велосипед. Антония найти не удалось. Льва Соломоновича П. освободить досрочно не удалось. Анна пыталась говорить об этом со Станиславом, но он ее не слушал. Даже про дощечку не удалось рассказать. (Про дощечку с надписью “Антоний Р...”, которая потерялась где-то в тайге.)

В пятьдесят пятом Анну послали в Москву — заниматься репатриацией поляков. Она зашла к Сарре.

— Брат вернулся, — сказала Сарра.

— Аня, — сказал Лев Соломонович П. — Я вернулся не один. Думаю, вам надо познакомиться.

Анне было неприятно, что он назвал ее уменьшительным именем.

— Познакомиться? — удивилась она. Нет, зачем...

В ссылке он женился. Жена была вольнонаемной, то есть имела нормальную работу, жилье, паспорт и свободу передвижения. Брак с вольнонаемной был огромным благом для ссыльного. Это означало, что у него будет настоящий дом, настоящая еда, настоящая женщина в настоящей кровати... "У тебя есть дочь, — сказала Анна. — Я понимаю, ты этой женщине многим обязан, но у нас с тобой дочь". И тут выяснилось, что с вольнонаемной у Льва Соломоновича П. двое детей.

В Москве начался XX съезд. Все только и говорили о преступлениях, лагерях и докладе Хрущева, но Анну Р. преступления не интересовали. Известие о том, что Валя, жена Антония, после его ареста развлекалась с дружками из НКВД — их смех и пение слышал весь дом, — тоже оставило ее равнодушной. Анну Р. занимала одна единственная мысль: вернется к ней Лев Соломонович или останется с вольнонаемной? Когда стало ясно, что Лев Соломонович к ней не вернется, Анна Р. взяла дочку за руку...

В аэропорту ее встретил Станислав Р. Он уже не был министром. В машине сказал:

— Обо мне пишут в газетах... Пишут о преступлениях, но я ничего не знал.

Анна не стала ему напоминать ни об их разговорах, ни об Антонии и даже о дощечке с нацарапанной гвоздем надписью. Она думала, что уже не надо ждать Льва Соломоновича и, собственно говоря, так лучше.

5. *Камень*

Этой осенью Лев Соломонович П. по-прежнему занимается плазмой. Много лет назад он разработал свои методы исследования, каких никто до него не применял, поэтому его не раз приглашали председательствовать на разных симпозиумах — то в Париж, то в Амстердам... Этой осенью Льву Соломоновичу исполнилось восемьдесят два года и он впервые поехал за границу. Ему понравился финский лес. "Это был первый лес, который не вызвал у меня агрессии", — сказал он

сестре. Сестру Лев Соломонович навещает ежедневно. После работы с плазмой идет на дачу царицыного фаворита на Воробьевых горах, в дом для прислуги, разделенный на десятки тесных неудобных квартир, садится за стол под шелковым абажуром, уцелевшим в блокадном Ленинграде. По каким-то причинам он предпочитает пить чай у сестры, а не со своей женой, бывшей вольнонаемной. Маленькая сгорбленная женщина с жидким старомодным пучком на затылке и большими голубыми глазами ставит перед ним чашку и спрашивает: "Есть хочешь?". После чего приносит ломтик черствого батона с сыром и начинает рассказывать о последнем камерном концерте в консерватории. Лев Соломонович рассказывает о плазме. Он не огорчился, что ему опять не досталось мясных консервов. Его не расстраивают предсказания астрологов. Он не боится ни морозов, ни голода. Боится, что в современной лагерной литературе укоренится образ униженности и страха, хотя в лагерях были и люди огромного мужества и силы. Он хотел сказать об этом на Лубянке. Этой осенью там открывали памятный камень — памятник жертвам политических репрессий. Он хотел сказать, что это должен быть памятник и жертвам, и борцам, — и подошел к трибуне.

— Вы в списке выступающих? — спросил его один из организаторов митинга, созванного московскими демократами.

— Нет, — ответил Лев Соломонович.

— Значит, не будете выступать.

— Почему?

— Потому что вас нет в списке, — сказал демократ и попросил Льва Соломоновича П. отойти от трибуны.

Джон Фаулз
Дневники (1965–1972)[1]

Перевод с английского Валерии Бернацкой

Примечания Чарльза Дрейзина, Николая Мельникова

2 октября

Мне предложили аванс 8 тысяч — по словам Тома, такой большой аванс не дают никому за исключением авторов популярных триллеров, таких, как Лен Дейтон и Ян Флеминг. Газеты сейчас пестрят жалобами романистов на низкую оплату труда, и такой аванс кажется невероятным. Трудно поверить, что мой роман так хорош, что будет продаваться в этой стране и приносить прибыль. Я рассказал об этом родителям и Чарли Гринбергу, испытав при этом некоторое смущение.

11 октября

В Фаруэе, у Чарли Гринберга. Мы (Чарли и я) поехали в субботу в Эксетер на ярмарку антиквариата; мы с ним опасная парочка, так как заводим друг друга, обостряя и без того болезненную страсть. Ярмарка привела меня в восторг, как и вид фарфора из Нью-Холла, который подорожал в шесть, семь, восемь раз после моей последней покупки здесь несколько лет назад. Я ничего не купил, кроме очаровательного керамического кувшинчика, прелестной миниатюры, эоловой арфы английского ампира, двух восхитительных картин; еще в одном магазинчике я приобрел японскую гравюру, а в другом — два монгольских рисунка.

17 октября

Эту неделю я жил один в Фаруэе, работал над проклятым сценарием. Сюжет закручен так, что ничего не происходит естественным путем, каждый новый ход усложняет и без того запутанную коллизию. Мои единственные компаньоны — скворцы, пристроившиеся на крыше и трещавшие всю ночь. Иногда кажется, что они надевают подкованные ботиночки и маршируют взад-вперед. На старую яблоню тоже прилетают славные птички: каждый день здесь объявляются длиннохво-

1. Окончание. Начало в “ИЛ”, 2016, № 7.

стые синицы, болотные синицы и пищухи; сбрасывает перья канюк. На лугу напротив дома созывает коров старик; через дорогу пожилая дама низким голосом разговаривает со своей собакой. Я поднимаюсь по холму, неспешно прохожу милю-другую. Свежая, зеленая долина, все разрослось, повсюду ручейки, множество буковых деревьев — солнце высвечивает их сероватые стволы и оранжевую листву. Срываю все еще цветущую скабиозу на вершине ближе к Хонитону, здесь в растительности начинает преобладать вереск; острое наслаждение приносит этот островок из другого времени года, другого пейзажа — такое впечатление дарят некоторые цветы. Внизу все в пастельных тонах, беломраморное, голубое — ни живопись, ни музыка, ничто не сможет передать впечатление об этом так интенсивно и полно. Аромат некоторых цветов (вроде побега василистника — июль, заливные луга, ялики, пиво за столиками около сельских пабов) — по существу, скрытое искусство.

Эти прогулки, во время которых не происходит ничего необычного, заставили меня еще сильнее полюбить эти места. Не хочу жить нигде — только здесь. Отныне не буду проводить в Лондоне больше нескольких дней за раз.

29 октября

Банкет в "Кейпе"; мы не были ни на одном уже несколько лет. Удивительно, но никто из директоров и словом со мной не перемолвился, за исключением Тома, конечно. Майкл Хауэрд явно не знал, кто я, а Тони Колуэлл и Грэм Грин[1] не хотели этого знать. Думаю, они осуждают Тома за то, что он выписал мне такой большой аванс, но не могут ему это высказать и потому отыгрывались на мне. А может, это просто типично английская реакция — нежелание вникать в то, что не нравится? Мы говорили с Тарнами[2], Уайзменами[3] и отцом Тома, приятным пожилым жителем Германии и Швейцарии; он удивлялся и немного завидовал успеху сына: ведь в 1930-х нацисты заставили его бросить в Берлине собственное издательство левого направления. Он ругал меня за то, что я много курю; притворные разговоры о вреде курения быстро приедаются, и мне нравилось, что он всерьез этим озадачен. В его присутствии я стал даже реже курить.

1. Грэм Карлтон Грин — племянник известного прозаика, был в то время финансовым директором "Кейпа".
2. Поэт Натаниэл Тарн и его жена Патриция. В то время Тарн был директором поэтической серии "Кейп-Голиард", основанной им год назад.
3. Романист и в прошлом кинокритик Томас Уайзмен и его жена Малу. "Джонатан Кейп" предполагал издать его роман "Быстрый и мертвый".

Там была также Эдна О'Брайен[1]. Видно, что теперь мы у нее в черном списке. Я оскорбил ее тем, что поцеловал при встрече в щеку; думаю, мы нанесли оскорбление ее жизненным принципам еще и тем, что остаемся мужем и женой; или, возможно, она видит во мне опасного литературного соперника, олицетворяющего философию стабильности, в то время как она решительно настроена на противоположное. Коварная женщина, классическая сирена во многом. Я наблюдал, как она пробует свои чары на мужчинах; в их глазах появляется то же выражение, что и у спутников Одиссея: только слово — и я твой. Роман Роя, который, наконец, куплен ("Соловьи рыдают"), — книга законченного эгоцентрика, каждый персонаж — это он сам, слегка загримированный; в романе есть карикатурные, безвкусные места — вспоминаются Раскин Спир[2] и Галли Джимсон[3], — очень противно. По сути — это плач по утраченному прошлому; такая книга могла бы привлечь читателей двадцать лет назад.

31 октября

Денис[4], который жил в Лондоне весь этот месяц — сейчас он директор Института Британского Совета по языкознанию на Портленд-Плейс — и избегал нас как чумы, зашел вечером пропустить со мной по рюмочке. Он совсем не изменился и, когда бутылка виски наполовину опустела, завел старую песню об утраченных надеждах, о бессмысленности теперешней работы, своей запутанной жизни. "Всю жизнь я только мучил людей". Он смутился, когда я сказал, что знаю о его романе с француженкой в Нигерии: "Но Элиз и Моника теперь близкие подруги. Они мне сами говороли". Его всегда огорчает, если о нем узнают нечто нелицеприятное не от него самого. "Знаю, для тебя я бедняга Денис, вечный клоун..." Я сказал, что у него симптомы болезни Тристана и Изольды; он мог бы писать — нужно только отыскать немного времени и набраться смелости; он согласился, но ему слишком дорог этот миф. У него есть — и всегда было — отчетливое влечение к смерти; сейчас оно на нем вроде выжженного клейма. Речь идет не о смерти

1. *Эдна О'Брайен (р. 1930) – ирландская писательница, знакомая Джона Фаулза. (Здесь и далее курсивом даны примечания Н. Г. Мельникова.)*
2. Имеются в виду портреты английского живописца и карикатуриста Раскина Спира (1911–1990).
3. Богемный художник в трилогии Джойса Кэри ("Сама удивилась", "Быть паломником", "Из первых рук").
4. Денис Шаррокс, с ним Джон Фаулз познакомился в 1952 г., когда оба преподавали в греческой школе на Спеце.

в буквальном смысле, а о медленном умирании из-за сознания, что жизнь его могла бы сложиться иначе. Он говорил о необходимости поддерживать Монику и Майкла, словно то был тяжкий крест, немыслимая ответственность, с какой не справиться ни мне, ни любому другому, — только человек такой редкой породы, как он, истинный мученик мог с этим совладать. "Завтра же бросил бы работу в Совете, если б не необходимость обеспечивать Майклу стабильное существование". Потом он признался, что недавно написал несколько страниц телепьесы, но "стоило вернуться в понедельник на работу, как на меня вновь всей тяжестью обрушилась реальность". Это звучало так, словно свободный человек говорит: не могу это сделать — нужно вернуться в Тауэр, где меня вздернут на дыбу. Я хочу сказать, что в его согласии подчиняться тому, что ему ненавистно, есть что-то средневековое.

Чтобы быть писателем, недостаточно избавиться от того, что в тебе плохо; надо избавиться и от того, что в тебе хорошо; последнее пригодилось бы в других областях деятельности, но здесь не подойдет — от него тоже придется отказаться. Сделать это гораздо труднее, но важнее ничего нет.

Гарди, "Джуд Незаметный". Мне кажется, это самый интересный роман из всех написанных этим загадочным писателем, хотя и не самый лучший. Чего в нем не хватает — так это толики иронии, уловок (намеренного использования случайного стечения обстоятельств), к которым прибегал Пастернак, чтобы завершить "Доктора Живаго"; и еще писателю недостает мужества принять ни свое частное прошлое, ни свое публичное настоящее. Нет сомнений — у книги должен быть подзаголовок "История моей любви к Трифене"; как и нет сомнений — он трусит, и потому превращает Сью, нервную, фригидную женщину, в величайшую кокетку, какой еще не знала викторианская литература, что в результате сильно навредило роману[1]. Известный вопрос Госса в действительно-

1. В романе "Джуд Незаметный" живущий в несчастливом браке каменотес Джуд Фоли бросает жену Арабеллу и уезжает из родной деревушки в Кристминстер, где надеется поступить в университет. Там он влюбляется в свою кузину Сью Брайдхед, которая выходит замуж за школьного учителя Ричарда Филлотсона, но затем уходит от него к Джуду. Уверенность Джона Фаулза, что в романе таится ключ к романтическому прошлому самого Гарди, разделяли и некоторые биографы писателя. Хотя все согласны, что после возвращения в Дорсет в 1867-м у Гарди были романтические отношения с его шестнадцатилетней кузиной — она, как и Сью Брайдхед, стала учительницей, — однако никаких точных свидетельств о природе этих отношений нет, и теория Джона Фаулза, что у них был незаконнорожденный ребенок, — всего лишь предположение.

сти должен был бы звучать так: “Что сделал с мистером Гарди страх за свою репутацию, если он не рискует больше осуждать Провидение под небом Эссекса?”[1]

Конечно, Гарди патологически рьяно стремился утаить свое прошлое, но у меня нет сомнений: подлинная правда о его отношениях с Трифеной раскрыта именно в “Джуде”. Можно догадаться, какой страстный (совсем не в духе Сью) роман переживал он в 1867–1868 годах. Результат – рождение внебрачного ребенка (дитя Арабеллы в “Джуде” с прозвищем “Дедушка-время”), который, должно быть, умер к тому времени, когда Гарди в середине 1890-х закончил роман. Возможно, было и самоубийство в Оксфорде... или что-то близкое к этому[2]. С 1870 года или немного раньше в Трифене назревает переворот – она стремится к респектабельности, в ее душе поселяется чувство, что она пошла наперекор религии и т. д. ... все это, возможно, связано с какой-нибудь семейной тайной (таящейся в завете “Фоли нельзя вступать в брак с родственниками”). Ясно, что Арабелла – это Эмма Лавиния, соответствующим образом преображенная, но в сути своей оставшаяся той же (пренебрежительное отношение к утонченному Джуду, удерживание на сексуальном крючке и т. д.)[3]. Филлотсон – это Чарлз Гейл; полагаю, что в Плимуте между Трифеной и Гарди произошла какая-то ужасная сцена, определившая заключительный этап жизни Сью в романе[4].

Именно на лежащей в основе произведения истинной истории держится весь роман; это и делает Сью, несмотря на все несоответствия в ее характере (помимо преднамеренно созданных писателем), такой живой. Уверен, потому и была сожжена фотография – ведь она и так оставалась с ним. Что-

1. Подлинный вопрос Эдмунда Госса в его рецензии на роман звучал так: “Что Провидение сделало мистеру Гарди, что он встал во весь рост на пахотной земле Эссекса и погрозил кулаком Создателю?”
2. После разлуки жена Джуда Арабелла едет в Австралию. Вернувшись в Англию, она признается Джуду, что родила от него сына. Джуд принимает ребенка; ему становится известно, что ребенка не крестили и не назвали Джудом, как он думал, а всего-навсего дали кличку “Дедушка-время” из-за “раннего взросления”. Джуд и Сью выбиваются из сил, стараясь, несмотря на бедность, растить странного ребенка вместе со своими двумя детьми. Но “Дедушка-время” вешает детей, а затем вешается и сам, оставив записку: “Я так сделал, потому что нас слишком много”.
3. В 1870-х Гарди познакомился с Эммой Лавинией Джиффорд. Они поженились в 1874-м. Хотя брак был несчастливый, супруги не расставались вплоть до смерти Эммы в 1912-м.
4. В 1877-м Трифена выходит замуж за трактирщика Чарлза Гейла. Обосновавшись в деревне Топшэм, она перестает преподавать и рожает четверых детей. В романе Гарди Сью и Джуд расстаются после ужасной гибели детей. Сью возвращается к Филлотсону, а Джуд – к Арабелле.

то в ней напоминает мне Санчию Х.[1] — сложностью переходного возраста, духом жрицы Астарты, а также талантом к обольщению, затем к отречению от своих слов, взглядов; игривостью, радужной переменчивостью — недоступностью протянувшейся в небе разноцветной дуги. По сути — роман юнгианский, это история одержимости речной девственницей, princesse lointaine[2], и прочими представительницами таинственного племени.

Гарди мне близок. Читая "Джуда", я видел технические погрешности автора и понимал, как они возникли, словно сам писал книгу. Было чувство, будто я точно знаю, как работал его мозг, как он творил, — не потому, что я обладаю какими-то объективными знаниями о том, что действительно произошло с ним в жизни, а потому, что у меня так же устроены мозги, я тоже с благоговением отношусь к личному мифу, к способности использовать и преобразовывать его. Сара в "Любовнице французского лейтенанта" (до прошлой недели я не читал "Джуда") — вариант Сью; написанная мною вторая "печальная" концовка — на самом деле дань уважения Гарди: он именно так закончил бы роман[3].

Для меня Гарди в прозе — как Клэр в поэзии[4]; в каком-то смысле (здравомыслящие академические критики, у которых в руках гораздо больше фактов, чем у меня, назовут это всего лишь тщеславием) я чувствую, что эти двое мне ближе, чем кто-либо из живущих, кроме самых близких, — что-то вроде перевоплощения в обратную сторону: я продолжаю жить в них, а значит, живут и они. У Клэра есть великое стихотворение, написанное им в приступе безумия ("Песня последнего дня": "Был день, ужасный день"), оно не дает мне покоя, словно я сам написал его. Постоянно возвращаюсь к нему, читаю снова и снова — *точно* так перечитываешь свое, только что написанное стихотворение, если оно тебе нравится.

1. Санчия Хамфриз — студентка, с которой Джон Фаулз флиртовал в 1950-е гг., когда преподавал в Эшридж-колледже.
2. Далекой принцессой (*франц.*).
3. В "Любовнице французского лейтенанта" у Сары Вудраф, бывшей гувернантки, роман с аристократом Чарлзом Смитсоном; но затем она исчезает, не оставив адреса, по которому ее можно было бы найти. Путешествуя за границей, Чарлзу удается напасть на след Сары и их маленькой дочери — он находит их в доме художника Россетти, у которого Сара работает натурщицей. В первом варианте финал был счастливый — Чарлз и Сара оставались вместе. Но во втором, "печальном", варианте Чарлз понимает, что он не может добиться истинной любви со стороны Сары, и уезжает в Америку.
4. Джон Клэр (1793–1864) — английский поэт, несколько лет провел в лечебнице для душевнобольных.

4 ноября

Еще одна торжественная вечеринка — на этот раз у Уайзменов по случаю выхода в свет романа Тома Уайзмена "Быстрый и мертвый". Там опять была Эдна О'Брайен и много людей из бывшего профессионального окружения Тома (он одно время работал кинокритиком в "Экспрессе"): Пенелопа Мортимер, Милтон Шульман[1], Дайана Ригг[2], ее режиссер и одновременно любовник Филип Сэвилл[3], Карл Форман[4] и Кен Адамс[5], которые делают фильмы про Бонда. Не могу объяснить, что особенно неприятно в киношниках (непереносимо для Элиз и меня); это даже не их предельный эгоцентризм или убеждение, что преуспевать необходимо, и сегодняшняя и завтрашняя слава должны быть синонимичны — египетская черта в кинобизнесе. Возможно, все дело в неправильном использовании ими языка; это и сознательная измена ему (стремление установить связи, контакты, укрепить будущее положение за счет личных отношений) и бессознательная (фальшивый, птичий язык), что придает таким сообществам закрытый, коварный характер: то ли гнезда, то ли роя, где все любезны друг с другом, даже льстивы, но выпускают яд навстречу пришельцу со стороны. Мы оставались с Ригг и ее мужем, когда все уже разошлись; Милтон Шульман разговорился. Этот канадский еврей — пылкий спорщик, не лишен юмора и любит быть в центре внимания, как доктор Джонсон, он утверждал, что индивидуальное искусство ушло навсегда, осталось лишь коллективное творчество (кино, телевидение и поп-арт в целом). Такой разговор больно задел Тома У. — у него нет еврейского чувства юмора, и он легко попадается на крючок. Меня же Шульман (театральный критик "Ивнинг стэндард" и, кажется, входит в четверку театроведов, определяющих политику лондонского театра) шокировал заявлением, что театр ему наскучил и теперь ему больше

1. *Мильтон Шульман (1913–2005) – канадский журналист, критик.*
2. *Дайана Ригг (р. 1938) – английская актриса, в описываемый период играла в Королевском шекспировском театре; широкая известность пришла к ней после выхода фильма "На секретной службе Ее Величества" (1969), где она сыграла Трейси, подружку Джеймса Бонда.*
3. *Филип Сэвилл (р. 1930) – английский сценарист и режиссер.*
4. *Карл Форман (1914–1984) – американский сценарист и продюсер; в 1951 г. за членство в коммунистической партии и отказ назвать имена других членов Компартии США Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности был внесен в "Черный список" Голливуда, что вынудило его эмигрировать в Англию.*
5. *Описка Фаулза. Британского продюсера (немецкого еврея, в тринадцатилетнем возрасте вместе с семьей покинувшего нацистскую Германию) звали Кен Адам (р. 1921).*

нравится писать для телевидения. Он воплощает наибольшее зло в современной английской критике: состояние равнодушия, из которого его может вывести только шок (нечто эксцентричное, чего не было раньше), и тогда он может сесть и написать хвалебную рецензию. Эти люди (и подобная направленность ума) обладают слишком большой властью.

13 ноября

Норман[1] вчера спросил с меня за книги смехотворную сумму. Я сказал, что этого мало. Он ответил: "Теперь деньги не имеют для меня никакого значения". И рассказал, как в июле его пятнадцатилетняя дочь Джени залезла на крышу за магазином, чтобы достать оттуда свою кошку, поскользнулась, упала и разбилась насмерть. Хотя я давно ее не видел — разве что мельком, — его рассказ потряс меня. Не знаю, что тут сказать, — можно только лить слезы. Он рассказал также о своей жене, в течение многих лет страдавшей шизофренией с частыми обострениями болезни — последний раз он видел ее, очевидно, еще до смерти дочери. "Для Джени я был и отцом, и матерью. Гладил и чинил ее одежду, готовил еду". У бедняги в глазах стояли слезы. Я всегда чувствовал к нему большую симпатию. Казалось невероятным, чтобы один человек мог вынести столько горя (первую жену и семью он потерял еще во время войны) и смириться с этим. "Магазин поддерживает во мне жизнь, потому я его не закрываю". Я прибавил фунт к выписанному мной чеку, но он даже не взглянул на него: кажется, ему хочется раздать все книги. Он — как Лир или Эдип — ступил туда, где недосягаем ни для кого и ни для чего. В нем появилось нечто от древнего грека, отмеченного богами. Впрочем, до нашего разговора он шутил в своей прежней манере, показывал глупейшие отрывки из какой-то католической брошюрки, где говорится, как должна вести себя жена; и, тем не менее, он мужественный и достойный старик.

Джени была очень хорошенькой девочкой, примерной викторианкой, с темно-серыми глазами, казавшимися черными пуговками на небольшом розовом личике. Для таких детей Марциал написал свои лучшие эпитафии.

28 ноября

Мы наметили ехать сегодня в Лайм. Но у Элиз опоясывающий лишай, и доктор не разрешил ей выходить из дому. И тогда я присоединился к Чарли Гринбергу — он собрался на аук-

1. Фрэнсис Норман, владелец букинистического магазина на Хит-стрит в Хэмпстеде, где Джон Фаулз покупал старинные книги.

ционе в Хонитон. Чарли стал законченным маньяком — целиком сосредоточен на живописи. Мы остановились в Солсбери, где пережили настоящее потрясение. В одном магазине торговец сказал, что у него дома есть Россетти — не для продажи, но он готов показать нам картину. Это был портрет девушки типа Сиддалл, написанный в 1868 году; у нее каштановые волосы, она смотрит вдаль — это новая женщина. Глядя на картину, я пережил странное ощущение: мне показалось, что на ней изображена Сара Вудраф — она была дома у Россетти, он ее нарисовал, и вот теперь она предо мною.

1 декабря

Наконец я в Белмонте.

Брожу по пустым комнатам, пытаясь решить, что нужно сделать в первую очередь. Основных проблем три: гниет пол над погребом в восточной комнате; нечто похожее происходит и в комнате, смотрящей на юго-запад, там отсырела вся стена почти до потолка; и еще центральное отопление. Кроме того, множество мелких: привести в порядок окна, заделать их, проложить электропроводку, спасти конюшню (сейчас она похожа на огромную губку), а еще сад, забор — мой список постоянно растет. И все-таки после Лондона я испытываю наслаждение от здешней тишины и покоя, от ощущения дома, который словно благодарил меня за то, что в нем после десяти пустых лет вновь оживет жизнь. Не знаю почему, но у Белмонта женская суть; в нем есть что-то от старой потаскушки — фасад еще смотрится, а за стенами — грязь и запустение.

Что до сада, это целый мир — густые заросли ежевики, в них иногда встречаешь остатки былого великолепия: некоторые старые посадки выжили. Почки на магнолии, японская акация набирает цвет, сохранился и нежный, белый, декоративный лук. Я прорубил себе дорогу в зарослях к хижине в отдаленной части сада, прелестной двухэтажной постройке. Здесь у нас будет летний домик. Обнаружил огромный смолосемянник, пальму, араукарию, яблони. Это многоуровневый сад с террасами и заповедными местечками; он кажется больше своих десяти акров. Меня не раздражает его теперешний вид. Сколько замечательных вещей здесь можно сделать и открыть! Он похож на большую игрушку.

Однако хочется, чтобы здесь была Элиз. Жаль, что нельзя разделить с ней радость от проведенных здесь первых дней.

8 декабря

Еду в Лондон за Элиз и еще, чтобы познакомиться с Оскаром Левенстайном, которого Том М. заинтересовал “Любов-

ницей французского лейтенанта". Доброжелательный, умный еврей-коротышка — среди птиц был бы дроздом или, скорее, лесной завирушкой. Так и видишь, как он скользит в киношном подлеске и клюет, что бог пошлет. Если не знать, никогда не догадаешься, как много он сделал в кино[1]. Живет в великолепном готическом доме на Белсайз-Лейн.

Настроен он оптимистически; понимает и трудности, которые могут возникнуть на стадии написания сценария. Я хотел бы видеть свое детище в руках Кена Расселла, его же выбор — Дик Лестер; в основном по той причине, что последний "легче относится к деньгам", к тому же с Левенстайном у него уже устоявшиеся отношения. Окончательно остановились на троих: Лестере, Расселле и Линдсее Андерсоне. Том осложнил ситуацию, попытавшись подключить к нашему общему делу и Фредди Рафаэля[2], но тот прислал телеграмму с Ямайки, где писал, что станет этим заниматься только при одном условии: режиссером будет он. Этого мы Левенстайну сказать не могли.

Роджер Бурфорд[3] полон сомнений и вопросов. Я начинаю понимать, как абсурден мой подход Кандида, заключающийся в том, что все должно сводиться только к тому, чтобы сделать фильм как можно лучше.

9 декабря

Вернулись на поезде.

Нам постоянно открываются все новые изъяны — подгнившее дерево, текущие трубы, сломанные балки. Куики и его команда относятся к этому спокойно и даже с видимым удовольствием.

В схватке с садом я терплю поражение — работы пропасть, где ни копнешь, всюду попадаешь на луковицу какого-нибудь растения. Понемногу нащупываю старые тропинки, наталкиваюсь на ограду, на клумбу с ранними ирисами, лилейник, старую чугунную подставку. И повсюду эта чертова

1. Театральный импресарио Оскар Левенстайн (1917–1997) — член-учредитель труппы "Инглиш Стейдж компани" в театре Ройял-Корт. Его усилиями были показаны в кинематографическом варианте несколько самых заметных пьес 1960-х гг., относившихся к лучшим образцам "английского театрального возрождения" этого десятилетия — в том числе "Вкус меда", "Билли-лжец" и "Что видел дворецкий". Был также директором "Вудфолл филм продакшн"; был продюсером многих фильмов (среди них получивший "Оскара" фильм Тони Ричардсона "Том Джонс", 1963).

2. *Фредерик Рафаэль (р. 1931) – англо-американский критик, сценарист и писатель; уроженец Чикаго, в 1938 г. он переехал в Англию, как журналист сотрудничал в ведущих английских и американских изданиях. Фаулз познакомился с ним в октябре 1963 г. на Литературной конференции в Челтнеме.*

3. Агент Джона Фаулза в кино.

ежевика — самое ненавистное для меня растение, хотя я и отдаю ей должное, как и воробьям, за эту потрясающую живучесть. Я освободил от ежевики старую смоковницу, но ее погубило какое-то животное, обглодав кору, как это делают косули. Но это не они. Подозревал, что тут не обошлось без крыс, но не видел до сих пор ни одной. Возможно, в зарослях живет кролик или парочка кроликов.

Слава Богу, здоровье Элиз улучшается; и жизнь наша становится более цивилизованной.

20 декабря

По словам Гийона[1], "Литл Браун" предлагает аванс 125 тысяч долларов, 60/40 в бумажной обложке и фиксированные 15 процентов отчислений от продаж.

Вполне доброжелательные рецензии на фильм "Волхв" в "Нью-Йорк таймс" и в журнале "Тайм"; и две плохие — не помню где. Хорошие — притянуты за уши[2], плохие соответствуют истине. Во мне крепнет чувство, что не стоит больше продавать право на экранизацию моих книг. "Парамаунт" по-прежнему не устраивает переработанный сценарий по "Саду доктора Кука": "недостаточно захватывающий, по напряжению не приближается к 'Ребенку Розмари'". Вчера вечером из Калифорнии звонил Джад, говорил, что сбит с толку, не знает, что делать; на самом деле у него столько же шансов найти понимание с руководством студии, сколько переплыть в одиночку Тихий океан и выйти в Японии. Выхода нет.

1969

15 января

На пару недель я погрузился в ужасную депрессию, давно такого не было. Меня переполняла желчь, неугасающий гнев против нашего времени. Думаю, в этом есть нечто от ощущения себя англичанином, рожденным в стране с отчетливо выраженным стремлением к смерти, жаждой гибели. Вчера объявили о самом большом дефиците торгового баланса за последние месяцы, а сегодня — о том, что по экспорту товаров мы в конце списка Европейской ассоциации свободной

1. Литературный агент Гийон Эйткен, работавший в то время в Нью-Йорке на Энтони Шейла, агента Джона Фаулза.
2. *Рецензия в "Тайм", в основном представлявшая собой доброжелательный пересказ сюжета, могла показаться Фаулзу легковесной, в частности, из-за того, что ее автор лестно отозвался об актерском мастерстве Кейна (Orpheus Now // Time. 1968. December 20).*

торговли; каждый раз программа "24 часа" сообщает о новых столкновениях между организованными в профсоюзы рабочими и неорганизованным руководством. Разрыв между общественной и частной жизнью в Англии (и у каждого англичанина в отдельности) все увеличивается; люди ищут спасение в бедах — экономическом кризисе, еще одной войне. Они надеются, что это встряхнет их, снесет всю гниль. Причудливая смесь сегодняшнего гедонизма и завтрашнего мазохизма — сознательное взвинчивание цен, тайное удовольствие от мысли, что в дверь может постучаться судебный пристав.

Частично моя депрессия связана с "Любовницей французского лейтенанта". Два огромных аванса загадочным образом обесценили роман в моих глазах. Есть правда вероятность, что издатели просчитались: ни один английский книжный клуб не проявил к нему интереса. Поэтому я чувствую себя мошенником, чуть ли не попадающим под новый закон о правах потребителей, жуликом, требующим непомерную плату за недостойный товар. Так что провал "Волхва" (Джудит Крист совершенно справедливо включила его в десятку самых плохих фильмов 1968 года) кажется более правильным, чем восторженный прием новой книги английскими и американскими издателями и литературными агентами.

Нелепый вопрос от редактора одного из справочников типа "Кто есть кто" (в нем есть и мое имя): каковы мои жизненные цели и достижения? Нелепый и вызывающий раздражение вопрос. Нужно ответить, но мне кажется естественнее, когда ты не можешь это сделать. Я написал: "Уйти от реальности и оказать в этом содействие другим людям".

18 января

Внизу, за нашим садом, разыгралась трагедия. В течение двух-трех дней бушевала буря, подчас достигавшая силы урагана. Сегодня — еще не было шести вечера — стоявший в гавани катамаран сорвало с якоря и понесло в открытое море. Небольшая спасательная шлюпка отправилась вслед, чтобы его вернуть, но перевернулась, и один из мужчин, Роберт Джеффард по прозвищу Ниммер, утонул. Это случилось не на наших глазах, но в полночь мы пошли к Коббу и увидели, что разбитую шлюпку доставили на берег. Увы, тут речь не шла о героизме. Джеффард и Рой Голлоп, рыбак, хотели получить премию за спасение катамарана и позвонили руководителю этой службы, спрашивая, можно ли воспользоваться шлюпкой. Тот, не подумав, разрешил, и мужчины пошли на глупый риск ради нескольких фунтов. Весь этот день мы следили за разы-

гравшимся морем из дома и еще говорили, что никто не сможет выжить в бушующей стихии. Теперь весь Лайм разгневан и ищет козла отпущения. До какой-то степени это региональная трагедия: обычная жадность прибрежных рыбаков, всегда готовых поживиться тем, что плохо лежит, и единодушное отвращение жителей юго-западных графств к тому, чтобы хорошие деньги уходили сквозь пальцы.

31 марта

Мне исполнилось сорок три года. Я один (Элиз забирает Анну из Лондона), так что могу об этом забыть. Два или три года назад такое показалось бы бравадой, позерством; по негласным законам Ли-он-Си[1] нельзя оставлять юбилеи, годовщины без внимания. Теперь я отношусь к ним как к семейной, неолитической, рунической ерунде. Сегодня вечером некоторое время смотрел по телевизору похороны Эйзенхауэра; это тоже неолитическое действо — оно гораздо ближе к тому времени, когда размалевывали себя в таких случаях красной краской, чем в век "Аполлона-9".

16 апреля

"Пантер" предложило за "Любовницу французского лейтенанта" 11 тысяч фунтов (плюс одну тысячу из-за отсутствия фильма). "Пан" обычно не дает больше 8 тысяч. Я с ним расстаюсь без угрызений совести; издательства по выпуску книг в бумажном переплете лишены лица и безразличны к тому, что ценит большинство писателей, — к человеческому контакту.

17 апреля

Анну приняли в Эксетерский институт искусств — огромное облегчение. Она немного раздражает меня тем, что совсем не помогает Элиз, а каждый день убегает в школу верховой езды в Чайдок-Ситаун. Но кто из нас был паинькой в восемнадцать лет? Она, по крайней мере, уравновешенна, не раздражительна.

18 апреля

Американский "Литерэри Гилд" будет рекомендовать "Любовницу французского лейтенанта" как лучшую книгу осени. Еще один камень с души свалился.

1. Ли-он-Си — город на юго-востоке графства Эссекс, где жили родители Фаулза. Сам он с юмором относился к заведенным в доме порядкам.

24 апреля

Встреча в Лондоне с Линдсеем Андерсоном – его Оскар хочет привлечь к работе над фильмом. В Андерсоне удивительная смесь агрессивности и робости. Крупный нос Сирано, чующий неприятности; вычурные, неестественные позы – они должны показать, насколько режиссер раскован, хотя результат прямо противоположный. Я предпочел бы усилить в фильме авторскую позицию, но другим эта идея не понравилась. Сошлись на том, что будет лучше использовать голос актера, дающего исторические пояснения за кадром. Встреча не подвела окончательный итог; осталось впечатление, что идея фильма заинтересовала Андерсона, но только на уровне интереса тореадора к первоначальным, ритуальным действиям в бое быков, когда его время еще не пришло. Решили попросить Дэвида Стори[1] написать сценарий – Андерсон только что поставил его пьесу. Том и Оскар выглядят довольными – если все пойдет, как задумано, я тоже буду доволен. Все теперь зависит от Стори. Если он согласится, мы получим Андерсона, если нет...

4 мая

Стори говорит, что сценарий писать не будет; по словам Оскара, романом он восхищается, но не видит в нем такого мужского характера, на который мог бы "опереться". "Он зациклен на сильных мужчинах – когда писал сценарий по 'Грозовому перевалу', в центре был Хитклиф", – сказал мне Оскар. Так что Андерсон опять прибегает к отговоркам.

14 мая

Мы живем в нашем доме уже десять дней, и нам это нравится. Сад совсем одичал; чтобы поддерживать его на должном уровне, нужно не меньше шести садовников. А так два дня работает старый Борд и время от времени я. Сад отвлекает меня постоянно. Принимаюсь за одну работу, тут же вспоминаю о другой, иду туда, а по дороге вижу новые цветы. Мне все это очень нравится; по крайней мере, наши джунгли дали приют славке-черноголовке и серой славке. Рыжевато-коричневая сова прилетает к нам каждый вечер и сидит на магнолии зловещим предзнаменованием. Я думаю, она из прилетающих к нам Тивериадских сов и ловит здесь садовых сонь.

1. *Дэвид Малькольм Стори (р. 1933) – английский писатель и сценарист; известность ему принесла экранизация его дебютного романа "Такова спортивная жизнь" (1960), снятая в 1963 г. режиссером Линдсеем Андерсоном (1923–1994).*

12 июня

День выхода книги. Слава Богу, на этот раз я избавлен от ненавистной необходимости давать интервью; то ли Том здесь постарался, то ли просто так сложилось. Не знаю... да и знать не хочу. Но вообще это время переношу с трудом. Даже не потрудился купить те газеты, которые не получаю, чтобы прочитать возможные рецензии. В "Нью стейтсмен" достойный отклик, в "Таймс" — не очень: рецензент — голос литературных влиятельных кругов — многого не понял. Но теперь я знаю: хорошие или плохие — они все равно не относятся к делу; хвалят тебя или ругают — это ничего не меняет в нашей бедной, больной культуре. Даже самый грозный рецензент не является настоящим врагом.

15 июня

Честная рецензия в "Обзёрвер", маленькая глупая статейка в "Санди таймс", такая скудная, что лучше бы ее вовсе не писали. Чувствую облегчение, что меня не лягнула неравнодушная к знаменитостям "Организация Томсона"[1]; со стороны левых — несколько больше доверия. Полагаю, на этот раз сработает вариант — "имя" против "рецензий"; одни рецензии не дадут мне попасть в список бестселлеров.

Поступают новые отклики. Великолепная рецензия в "Нью сэсайети" — не так хороша для меня, как сама по себе, — точная, умная. Мог бы написать ее сам — такое не могу сказать даже о самой хвалебной рецензии в "Файнэншел таймс". Читать ее лестно, но она не совсем о той книге, что я написал. Все остальные — комплименты с оговорками; неодобрительные высказывания чередуются в них со снисходительной похвалой. Том Машлер подавлен, считает, что большинство рецензентов люди недалекие. Я же думаю, что он и Нед Брэдфорд переоценивают меня — во всяком случае, мою коммерческую ценность.

19–21 июня

Едем в Лондон, чтобы забрать Анну. Слава Богу, теперь она на нашем попечении, то есть до начала семестра в Эксетере будет жить у нас.

Мы, наконец, уговорили Дениса вновь встретиться с нами. Пришли также Ронни и Бетса. Ронни и Денис понравились друг другу, и это меня порадовало. Наверное, следовало

1. Образованный в 1961 г. издательский концерн, владеющий десятками влиятельных газет и журналов ("Таймс", "Скотсмен" и др.).

испытывать раздражение, видя, что ко мне они проявляют меньший интерес, но такая ситуация, напротив, тонко льстила моему тщеславию. Эти два прекрасных, хотя и непостоянных, человека должны были сойтись. И значит, говоря другими словами, я умею выбирать людей.

25 июня

Странное переживание в конюшне. Я стоял в сумерках у лестницы, ведущей на сеновал, — темные ступеньки и наверху прямоугольное отверстие, сквозь которое пробивался серый свет. Внезапно меня охватил приступ жуткого страха. Я настолько не суеверен, настолько не верю ни в какие "паранормальные" явления, что это не могло прийти извне. Потом до меня дошло: то был мой собственный призрак. Каким-то странным образом я явился самому себе. Был одновременно и живым, и мертвым.

Казалось, что-то смотрит на меня сверху.

У меня сейчас — собственно, это продолжается уже несколько месяцев — какое-то безразличие к жизни; возможно, в этом истоки такого явления. Постоянная сосредоточенность на смерти и одновременно равнодушие к этой не оставляющей меня мысли; временами почти полное отсутствие воли, ужасающая абулия[1]. Не знаю, что произошло, — может, плохо работают почки или печень; у меня темная моча, а при работе в саду ломит поясницу. Я заметил это восемь или десять недель назад — надо бы показаться врачу. Чувствую себя больным, но не настолько, чтобы не продолжать ту неспешную жизнь, какую мы здесь ведем. Словно я хочу заболеть по-настоящему. Своего рода искупление? Не знаю.

Это напрямую связано с моей отвратительной привычкой: я выкуриваю в день немыслимое количество сигарет — пятьдесят или шестьдесят. Провести без сигареты лишние десять минут — уже победа. Иногда по утрам я пытаюсь бросить, но больше часа выдержать не могу и потом курю в два раза чаще, чем прежде. Не чувствую аромата цветов и приобрел так называемый кашель курильщика. Ночами не сплю и даю себе клятву покончить с этой дрянью. Она поработила меня, действительно поработила. Без никотина я не могу жить, не могу писать.

27 июня

Вчера стал составлять план романа, которому прежде хотел дать название "Два англичанина". Теперь собираюсь на-

1. Патологическое безволие (в психиатрии).

звать “Тщета”. Хочу раскрыть в нем две стороны самого себя; двое мужчин, два товарища постепенно отходят друг от друга: один сосредоточен на внешних достижениях, другой — на внутренних. Но у обоих — чувство неудовлетворенности, они побеждены временем, в котором живут. В духе моей собственной болезни.

Сегодня написал первую главу; место действия — Лос-Анджелес. Но угол зрения не тот — не пойдет. Первое приближение, начало всегда самое трудное; все равно что искать правильный тон в море звуков, нужный стиль. В этот раз буду писать без фокусов: классическое повествование от третьего лица и в прошедшем времени.

5 июля

В настоящее время читаю “Мемуары” де Реца; эту книгу, опубликованную в 1719 году в Амстердаме, я недавно купил у Нормана (первое издание в 1717-м)[1]. Наверное, нелепо при наличии многих современных, комментированных изданий иметь такую lubie[2] к первым изданиям. Не могу сказать, в шрифте ли тут дело, или в библиофильском тщеславии, или в отсутствии комментариев и справочного аппарата; одно я знаю точно: такое чтение дарит мне более живую, более четкую картину. Более явный эффект присутствия что ли, хотя, читая современный комментированный текст, я понял бы больше. Но быть в том времени кажется мне более важным, чем знать о нем.

21 июля

Высадка на Луне. Мы не выключали телевизор с шести вечера до шести утра. Приземление было прекрасным, слишком замечательным, чтобы быть правдой, более волнующим (хотя до странного схожим), чем всё самое лучшее, что сочинили на эту тему. Я против этого проекта по этическим и политическим соображениям, хотя, возможно, это допустимый порыв, простительная последняя дань человечества своей молодости. И в высшей степени сексуальная — не только в контексте насилия над “девственницей Луной”, а даже по обычной аналогии с половым актом — толчок и эякуляция.

1. Кардинал де Рец (1613–1679) был одной из центральных фигур в период гражданских войн во Франции, получивших название Фронда (1648–1652). Классик французской литературы XVII в.; его мемуары — свидетельство очевидца первых лет правления Людовика XIV.
2. Здесь: капризную привязанность (*франц.*).

Но теперь праздник закончился, все возвращаются домой, надо прибрать за собой.

15–18 августа

Проводим уик-энд в Уэллсе, в коттедже Тома М. в Черных горах. У Тома новая подружка, ее зовут Фей Ковентри, она нежная, умная, сдержанная девушка. Мы ее почти не видели, она весь уик-энд провела на кухне, варила варенье, готовила для нас — кстати, очень вкусно; кажется, она хочет заарканить Тома. Он вьется вокруг нее, как паук, наполовину жаждущий смерти (то есть женитьбы на ней), а наполовину жаждущий только наслаждения (то есть простого обладания ею). Он самый désinvolte[1] человек из всех, кого я знаю, и в его непринужденности есть нечто жестокое, что-то вроде презрения к людям, которые не достигли того, чего достиг он. Впрочем, жестокость в нем легко оборачивается ранимостью. Мы отправились в горы на прогулку; меня раздражала его нетерпеливость — рождалось ощущение, что всем нам надо быть где-то еще. Поэтому я предложил ему вернуться домой и предоставить мне бесцельно брести, как я привык. Он устал и действительно хотел домой, но было видно, что мое предложение его обидело. Значит, я мог обойтись без него, у меня могла быть какая-то тайна, скрытое наслаждение, которого я хотел его лишить. Как у всех евреев, у него нет глубокого интереса к природе — только поверхностный, однако он чувствует, что этого несообразно мало: он живет в таком диком месте и не знает о нем практически ничего. Но у него не хватает терпения, и все идет по-прежнему.

В коттедже непрерывные игры. Том исключительно охоч до них: дротики, нарды, пинг-понг, боулинг на ковре. Ему нужен дух соревнования, как другому — гашиш. Провести так уик-энд неплохо, но ужасно, если таков стиль жизни.

15 сентября

С последней записи меня уже месяц не покидает депрессия. Во многом это связано с погодой — я-то надеялся на хороший сентябрь. Однако вот уже две недели небо затянуто облаками; сначала стояла сушь, теперь льет дождь. На прошлой неделе Анна уехала изучать искусство в Эксетер, так что мы теперь одни в привычной атмосфере Дорсета — huisclos[2].

1. Бесцеремонный (*франц.*).
2. При закрытых дверях (*франц.*); также название пьесы Сартра.

У Элиз, как обычно, тоже осенняя депрессия, такое происходит с ней из года в год: тогда она ненавидит сельскую жизнь в целом, нашу — в частности. Мы поселились там, где не собирались жить, мы в западне, все наши знакомые — бедняки, а мы живем в этом огромном, пустом доме... и так далее. Я особенно остро ощущаю излишнюю величину нашего дома. Мы постоянно живем в одних и тех же четырех комнатах, остальные посещаем от случая к случаю. Мне кажется, наша беда проистекает от жуткой, неуемной скуки; у нас обоих она стала чем-то определяющим, доминирующим. Я в лучшем положении, чем Элиз: ведь я могу воображать, сочинять, описывать происходящее; могу относиться к людям, которые в основе своей мне не нравятся, просто как к биологическим существам. И так далее. У нее все вызывает скуку. Мысль о том, чтобы пригласить гостей, вначале приводит нас в восторг, но по мере приближения их приезда нас все больше одолевают сомнения, когда же они, наконец, приезжают, мы впадаем в уныние. И такое происходит даже во время визита старых друзей, поэтому мы не рискуем заводить дружбу с жителями Лайма. Мы изредка видимся только со старым доктором и его женой, живущими по соседству, и эти встречи подтверждают наши опасения. Доктор рассказывает бесконечные истории, полностью лишенные смысла. Я в это время думаю о своем. Улыбаюсь неведомо чему, а потом сам говорю какую-нибудь нелепость, чтобы перевести разговор на другую тему.

Меня гнетет мысль о "Любовнице французского лейтенанта". Сам не знаю почему. Критика приняла эту книгу лучше, чем две предыдущие. Но она как камень, брошенный в бурное море. Мгновение его видишь, но потом он уходит на дно. У меня остались только рецензии, три-четыре письма от читателей и чувство, что роман плохо расходится. В довершение всего полное равнодушие жителей Лайма к моему творению. Только один человек как-то упомянул, что прочел книгу; местная пресса не обронила о ней ни слова. К сочинительству здесь сумеречное отношение — вроде нынешней погоды. Никому до него нет дела. Это передается и мне.

18 сентября

Пять дней назад бросил курить. Думаю, это реакция на то, что последнее время надо мной взял верх случай. Моя мантра требовала: "Поступай иначе!" Я не тоскую по чисто физическому наслаждению от табака — запаху и так далее. Тяжело отказываться от сигареты как части нормального распорядка жизни. Не курить — все равно что читать книгу без пунк-

туации, без абзацев; словом, твой день превращается в сплошной, напряженный, не дающий расслабиться труд. Хуже всего за машинкой. Уже много лет, работая за ней, я курю почти непрерывно; сигареты помогают мне сконцентрироваться, выдержать определенный темп, найти нужное слово, написать диалог. Каждый раз я тянусь за сигаретой. Мое внимание рассеивается.

3–11 октября

Провожу время в Лондоне без всякого удовольствия. У Элиз обычная осенняя депрессия, у меня синдром отсутствия никотина. Мозг, похоже, отказывается работать. Забываю вещи, нет уверенности, что я правильно складываю простейшие суммы, даже консервную банку трудно открыть. Очень странно — почти ушло прямое физическое желание взять сигарету и закурить, зато часто клонит ко сну, существование мое бесцельно, я рассеян... словом, отупел. Трачу зря время и одновременно ненавижу себя за это.

У отца проблемы со зрением, левый глаз совсем не видит. Мы поехали в Ли, где выяснили, что дело не так плохо, как подумалось во время телефонных переговоров с ним: второй глаз видит вполне прилично. Побаловали его, привезли хорошего сыру, шампанского. Погода великолепная, в такую погоду нам ужасно не хочется покидать Лайм.

Созрели отцовские груши сорта “Герцогиня Ангулемская” и яблоки “Джейс Грив” на старой яблоне, которую он приобрел сорок лет назад за один шиллинг. Это, наверное, лучшая яблоня во всей Англии, таких яблок — сочных, сладких, нежных — я больше нигде не ел. Груши тоже превосходны — спелые, ароматные. Как он достиг таких гениальных успехов с грушами и яблоками, не знаю — может, потому что у него много времени и он тратил его на этот клочок земли. Я говорю в прошедшем времени, потому что у меня предчувствие, что этой зимой отец умрет. Впрочем, он довольно крепкий — может, и обойдется. Не могу представить, что наступит такое время, когда я не буду есть эти удивительные яблоки — как бы эгоистично это ни звучало. Все лучшее, что есть в нем, перешло в эти яблони.

Набоков, “Ада”. Безнравственный он старик, грязный старик; роман, по большей части, мастурбация; доставляющие физическое наслаждение мечтания старого человека о юных девушках; все окутано осенней дымкой в духе Ватто; очень красиво, он вызывает из области воспоминаний сцены, мгновения, настроения, давно минувшие часы почти так же искусно, как Пруст. Его слабая сторона — та, где он ближе к Джойсу,

хотя, мне кажется, она нужна ему больше, чем большинству писателей. Я хочу сказать, что сентиментальные, слабые места как-то очень гладко, легко переходят у него в замечательные прустовские сцены. Думаю, неорганизованность огромной эрудиции, проистекающая от усиленного чтения и странных увлечений, никогда не даст ему подняться на вершину Парнаса; но и без того есть нечто неприятное в отбрасываемой им тени — нарциссизм, онанистическое обожание его, Набокова. Почти как у Жене, но без искренности последнего.

В Лондоне невозможно находиться — слишком жарко. День проводим в Кью-Гарденс[1], там прелестно. Я сорвал лист с огромного дерева гинкго и положил между страницами — как раз там, где Набоков упоминает это дерево[2]. И оранжерея с орхидеями, острое получасовое наслаждение. Мне особенно нравятся мельчайшие орхидеи — словно крошечные жемчужины на стебельках. У них какой-то необычный запах, он ни на что не похож. Просто абсолютно новый запах — как новый цвет. Вечером пошли смотреть "Беспечного ездока" — фильм, который этим летом произвел фурор в Штатах, а теперь и у нас. Смотреть приятно, но за внешней красотой пугающая пустота, незначительность. В переполненном кинотеатре мы, наверное, были самыми старыми, средний возраст зрителей, в основном, не превышал двадцати лет. Я чувствовал себя чужим. Это апофеоз визуальной ереси — актеры ничего не говорят, их искусство — в неумении выразить себя. Все происходит случайно, героев несет по течению, что-то приключается — и снова дорога; глупые юнцы, сидевшие рядом, явно считали, что фильм очень печальный, очень глубокий и очень красивый. Согласен — красивый, но не больше.

Молодое поколение в наши дни попадает в западню: они отрицают культуру, книжную культуру особенно, выбирают непосредственный опыт, делают что хотят, находят свой круг общения, говорят на жаргоне — что само по себе неплохо, это дает им более острое ощущение настоящего момента, проникновение почти по дзену во внешнюю оболочку смысла и культуры. Меня беспокоит, что будет с ними, когда они вырастут и поймут, что больше не могут жить, исходя только из непосредственного опыта. А время читать книги, входить в контекст культуры безвозвратно ушло.

1. Большой ботанический сад в западной части Лондона.
2. В романе Набокова Мария Дурманова наклеивает "золотой лист" (гинког) в гербарий.

Был в Кенвуде[1] — смотрел любимого Рембрандта. Потом стоял у озера в тени огромных дубов и буков. На верхних ветках среди зелено-золотой листвы резвились белки.

16 октября

"Любимая" Гарди. Странно, что писатель потратил так много времени на разработку такой немыслимой идеи[2]. На мой взгляд, тут, скорее, тема для стихотворения; но все это так соотносилось с его собственными трудностями, с его трагедией, что он не мог этому противостоять. Некоторые места в "Любимой" так плохи, так поверхностны, так заурядны, что книга обретает странную власть — чувствуешь, что роман не что иное, как неуклюжее выражение чего-то более глубокого, что таилось в мозгу несчастного автора — смеси робости и отваги, верности и способности к измене. В определенном смысле это важная книга. Она говорит о Гарди больше, чем почти все его великие романы — за исключением "Джуда". И мастерства не утаишь — оно его нигде не подводит.

Два журналиста брали у меня интервью для американской прессы: один из "Нью-Йорк таймс", другой из журнала "Тайм". Мне все труднее и труднее рассказывать о том, что я собой представляю, что значит для меня сочинительство; ответы мои носят неточный, случайный характер — что пришло на ум, то и говорю. Мир вымысла становится для меня все реальнее — мне трудно возвращаться в их реальность. Большинство вопросов были совсем неинтересны. Что я думаю о гибели прежней формы романа? Да ничего не думаю. Пишу, как пишется. Я пытался объяснить журналисту из "Тайм", что романы похожи на деревья, а не на машины, пытался рассказать о другом мире, его вратах, землях, о том, как брожу там, иду, куда ведет очередной роман. Но это тоже *вымысел* о себе; и, говоря с журналистом, я уже становлюсь другим. Наверное, я и правда с другой планеты. Раз так часто ощущаю себя здесь чужим.

1 ноября

Первые рецензии (снятие проб) идут из Соединенных Штатов. Все они похожи на восторженный бред. Это, пожалуй, mot juste[3]: в тоне этих хвалебных отзывов есть легкий привкус исте-

1. Дворец-музей на северо-западе Лондона; в нем богатейшее собрание картин.
2. В "Любимой" рассказывается история скульптора Джослина Пирстона, который в тщетных попытках обрести идеальную женственность, поочередно влюбляется в мать, дочь и внучку.
3. Точное слово (*франц.*).

рики, и потом, рецензенты не очень владеют языком. Вижу, что мой стиль их несколько ослепляет, и это снижает ценность этих восхвалений. Я могу верить лестным отзывам, только если они исходят от равных по мастерству писателей. А так получается проблема сродни валютной — наши денежные знаки не эквивалентны и не подлежат обмену.

Нет, разумеется, приятно, когда тебя называют "самой ослепительной звездой на литературном небосводе", "лучшим писателем, чем Беллоу, Рот и Апдайк", не говоря уж об остальных. Но я на своем месте здесь, в Лайме, у нас завязались свои связи, происходят встречи, беседы, своя тайная жизнь. Маленькая тень, яркий свет. В Лайме я человек по другую сторону телескопа; там же — гигант и буду им еще несколько недель. И никто, по сути, не прав.

Одна из причин, почему я не в восторге от пустословия по другую сторону Атлантики, заключается в том, что в настоящий момент я не могу писать. Это никакой не ступор — просто период задумчивости, омраченный неприятным чувством, что меня вынуждают идти по туго натянутому канату — теперь я должен расти, писать все лучше, все оригинальнее и еще Бог знает как. Я с удовольствием работал над "Nugae"[1] (роман о Коллиуре), пока американцы не стали давить. Роман обещал быть небольшим, но не выпадал из моего остального творчества. Теперь же думаю написать триллер (и опубликовать его следующей книгой), чтобы остановить возрастающие ко мне требования. Если катиться вниз, то уж той дорогой, какую выбираешь сам.

7 ноября

Едем в Соединенные Штаты, чтоб содействовать продаже "Любовницы французского лейтенанта". Раньше я печатал последовательный отчет о поездках, теперь делаю отрывочные записи. Сейчас я снова в Лайме и рад этому — сегодня тихий зимний день, на берегу моря никого, за исключением двух женщин с детской коляской. Как здесь славно жить! Никогда больше не скажу о Лайме ничего плохого. Он как редкое растение, счастливая экологическая ниша; и не может находиться на той же планете, что и наш несчастный мир, откуда мы вышли.

Последние покупки в Лондоне. Элиз тратит деньги на ненужную ей одежду, а я заканчиваю "Аду". Получил от романа большое удовольствие; это роман для писателей — так у Баха,

1. Пустомеля (*лат.*).

говорят, есть музыка для музыкантов. Значит, только другой писатель — точнее сказать, писатель той же породы, вроде меня, — может понять, о чем этот роман. Думаю, что *понимаю* Набокова лучше любого его читателя, хотя это не означает, что я больше знаю об источниках книги или связи ее с другими произведениями; просто я понимаю его, как Клэра или Гарди. Психологически я той же породы.

Особенно нравится мне набоковская идея времени, которую он рассматривает, скорее, как функцию памяти, чем пространства, — настоящее — то, что в данный момент присутствует в его мозгу, прошедшее — что отсутствует; поэтому то, что вспоминается, может быть ближе того, что непосредственно воспринимаешь органами чувств.

Летим в Бостон, чтобы провести уик-энд с Недом Брэдфордом в Маршфилде. Он встречает нас в аэропорту. Все хорошо в этом лучшем из всех рецензирующих миров. Блестящий отзыв в воскресной "Нью-Йорк таймс"[1]; первый тираж был пятьдесят тысяч, теперь допечатывают до восьмидесяти. Сижу в Маршфилде и читаю краткую справку Ричарда Бостона, которая предваряет статью. Похоже, пора пить шампанское, но мы ограничиваемся скромным ужином и ложимся спать в девять.

С самого начала чувствовалось, что между Недом и Пэм не все идет гладко. Целуя ее при встрече, я ощутил запах алкоголя, но первый вечер прошел вполне благополучно, в строгом соответствии с нормами Новой Англии. На следующее утро она к нам не вышла, сославшись на "болезнь"; мы ездили по окрестностям и питались тем, что предлагал нам Нед. Он до нелепого ограничивает себя в еде: в доме нет масла (страх перед холестерином), молоко на 99 % обезжирено — что сразу же чувствуется. Ложимся в девять, предполагается, что встанем в семь. Элиз курит, но у нас сложилось ощущение, что это особая привилегия жене автора бестселлера.

Просыпаюсь рано, снаружи доносится зловещее карканье ворон; три ходят по траве — по виду такие же, как наши, английские, но крик более пронзительный. Цапля у пруда. Гуляю в сумрачном лесу, собираю сумах, молочай.

В этот день мы прошлись по антикварным магазинам. Новая Англия утратила для меня свое очарование. Нет, ни дома,

1. *Первый отзыв на американское издание "Любовницы французского лейтенанта" появился в "Нью-Йорк таймс" 9 ноября 1969 г., второй – 10 ноября; таким образом, при публикации Дневника допущена ошибка в датировке записи.*

ни архитектура не стали хуже, но раньше я не замечал скудости культуры — на всем пространстве совсем нет животных. Ни коров, ни лошадей, ни овец. Нет и полей. Никто не ходит пешком. Никто не обрабатывает свой сад. Только бесконечный поток автомобилей. Все куда-то едут, но никуда не приезжают. Они кажутся мне людьми из сновидений, не сознающими, насколько ограничен и узок их мирок. При одном антикварном магазине был разбит садик с лекарственными травами — неожиданное проявление человеческого начала. Тимьян, ромашка, ноготки, мята. Посадила их пожилая женщина.

Вечером Пэм не спустилась к нам. На следующий день мы отправились в Плимут, чтобы посетить там Мейфлауэрский[1] музей под открытым небом — крытые соломой хижины, cabanes[2], — все они очень похожи друг на друга и внешним видом, и внутренним убранством; впрочем, большинство сундуков для белья, ящичков для Библии и прочих вещей взяты уже из следующего столетия. Девушки и старательные матроны одеты в современную пуританскую одежду.

Плимутский камень[3]. Чем-то похож на подиум эстрадного оркестра. Рядом копия корабля, на котором приплыли первые поселенцы. Там выставлена восковая фигура Уильяма Брэдфорда, первого губернатора и предка Неда[4]. Я стоял позади двоих детей Неда, которые всматривались в восковое лицо. Здесь, на корабле, начинаешь сознавать, как тяжко пришлось поселенцам в ту первую жестокую зиму. Возможно, все беды шли от новой территории. Люди не хотели сюда ехать, они никогда не любили эту землю. С самого начала они планировали уехать отсюда — завоевать ее и уехать куда-нибудь подальше: эта земля, Америка, вызывала у них страх.

Нед идет позвонить Пэм. Она чувствует себя лучше. Неожиданно он рассказывает нам всю подноготную: жена алкоголичка, не может отказаться от спиртного. Он же похож на своего предка, волевого первопроходца: “Я ругался и умолял. Пытался заставить ее лечиться... Но, черт подери, похоже, она *хочет*, чтобы все осталось как есть”. “Классический” вариант — вечный бой между пуританином и язычником. Пе-

1. На судне “Мейфлауэр” из Старого Света в 1620-м прибыли первые поселенцы, основавшие Плимутскую колонию.
2. Коттеджи (*исп.*).
3. По преданию, гранитный камень, на который ступил первый сошедший с корабля пилигрим в декабре 1620 г.
4. *Речь идет о Уильяме Брэдфорде (1590–1657), одном из основателей Плимутской колонии на территории современного Массачусетса, США.*

ред сном я говорил с Пэм. В день нашего приезда она выпила больше литра водки. "Нед хочет, чтобы я была паинькой, он не понимает нас, обычных людей. Сам может сделать все, что решит. Решит бросить курить — бросит, а то, что я устроена иначе, не хочет понять". Еще говорила, как ей все наскучило, жизнь не удалась, красота поблекла — обычный грустный перечень неудач.

Открытие потрясло меня. Эта супружеская пара представлялась мне средоточием всего самого лучшего, что есть в американском характере. Нед мне по-прежнему нравится. Он редкий экземпляр абсолютно честного — в определенных границах — человека; хотя, возможно, эти границы более деформированы, чем я себе представляю. В каком-то смысле он не живет подлинной жизнью. Любопытно, не так ли обстоят дела и у других американцев: то есть не делают ли запутанные внешние обстоятельства их более привередливыми и по-детски беспомощными в жизни. Плохое начало, неприятное начало.

10 ноября

"Турне" начинается. Пока все идет хорошо, рецензии положительные — даже в ежедневной "Нью-Йорк таймс", где обычно ставятся под сомнения воскресные оценки[1]. Включая третье издание, тираж достиг 100 000. Меня пригласили на утренний эфир. Работавшая с нами девушка не читала ни одной моей книги. "Только пять минут назад мне сказали, что я буду вести передачу". И так все время — уровень телевизионных ток-шоу ужасающе низкий. Даже с манекеном разговор был бы интереснее. В той же программе принимал участие Гарольд Роббинс[2] — зеленый вельветовый костюм, отделанная рюшем зеленоватая рубашка, глаза с поволокой, загар, тихий голос. "Я ваш большой поклонник". Он напоминает рептилию, но это совсем не обидное сравнение, как могут решить представители американских литературных кругов; говоря так, я представляю греющуюся на солнце, наслаждающуюся покоем ящерицу. Он любит солнце, большие тиражи, славу. Он предложил нам жить в его доме, пользоваться автомобилем и рабочим кабинетом в Голливуде. Маленькая дурочка, которая брала у меня ин-

1. *Доброжелательная рецензия Кристофера Лемон-Хопта завершалась весьма лестным для Фаулза суждением: критик утверждал, что его третий роман знаменует собой "появление замечательного романиста" (Lehmann-Haupt C. On the Third Try, John Fowles Connects // New York Times. 1969. November 10, p. 45).*
2. *Гарольд Роббинс (1916–1997) – популярный американский писатель, автор остросюжетных романов с примесью мелодрамы, один из столпов массовой литературы США послевоенного периода.*

тервью, спросила, как я отношусь к писателям, спекулирующим на сексе... Я посмотрел на Роббинса, разговаривавшего в стороне с Элизабет, и увильнул от ответа.

Куда бы мы ни приезжали, меня всюду поздравляли с тем, что я "поставил на место" таких писателей, как Роббинс и Сьюзанн[1]; книгопродавцы постоянно твердили, как прекрасно, "когда нравится бестселлер". Это очень хорошо, но они по-прежнему торгуют нелюбимыми книгами. Роббинс тут ни при чем; болезнь в обществе, которое не сопротивляется его натиску.

Боб Фетридж. В его офисе я встречался утром с представителями "Литл Браун". Его нервозность пугает меня. Он постоянно щурится, руки дрожат. Когда он стал нашим спутником (по дороге в Калифорнию), мы поняли, что перед ним тоже маячит алкоголизм. После третьего мартини его руки перестали дрожать.

В Нью-Йорк мы прилетели ближе к вечеру — мимолетное впечатление от Манхеттена, сотни перламутровых башен... Долгие часы в отеле — нет сил заставить себя выйти на улицу и увидеть Нью-Йорк. Отчасти это связано с чертовым центральным отоплением, вызывающим ужасную усталость; в нашем номере огромная гостиная, две спальни с двумя кроватями, две ванные комнаты, кухня — все только для нас двоих. Лишнее пространство, как и в Белмонте, — только здесь не так приятно.

11 ноября

Нужно встать в шесть, чтобы выступить в крайне важной передаче "Сегодня". Линн Кейн, агент по рекламе, — худощавая, сорокачетырехлетняя еврейка; лицо, глаза — словно с рисунка Кете Кольвиц[2]. Называет себя ведьмой, гадает по руке. Но мне она нравится — умная, самостоятельная, ее не проведешь. Линн повсюду водит меня — маленькая, с вечной книжкой в руке; я неуклюже плетусь позади. Язык ее острее, чем у бостонцев, это мне тоже по душе. Позже я выведал, что ей не нравится Нед; причиной был, как я понял, его снобизм; однако у них есть нечто общее — то, что мне нравится в американцах, — серьезность и строгость.

1. *Жаклин Сьюзанн (1918–1974) – американская актриса и писательница, автор супербестселлера: сенсационного романа о жизни голливудских звезд "Долина кукол" (1966).*
2. Кете Кольвиц (1867–1945) — знаменитая немецкая художница, работала в стиле социального реализма.

На передаче я познакомился с милой рыжеволосой беременной девушкой, она подошла ко мне и попросила подписать экземпляр “Волхва”. Затем глупейшая беседа: неискренние ведущие — мужчина и женщина; во время рекламы они бранились, не обращая внимания на меня, но стоило нам опять оказаться в кадре, на их лицах мигом вспыхивал энтузиазм, словно включилась электрическая лампочка.

14 ноября

Мы встретились с Бобом Фетриджем в аэропорту Кеннеди и вылетели в Лос-Анджелес. Совершенно очевидно, что это город обреченных, и потому на этот раз я получил от него больше удовольствия, чем от Нью-Йорка. Находясь на Манхеттене, можно предположить, что живущие там люди понимают, что делают; здесь же все просто безумные: три четверти из миллиона жителей одного из прекраснейших городов мира с лучшим на свете климатом травят себя до смерти. Основная отрава, конечно, бензин. Но полное пренебрежение к природе, бесконечное нагромождение одной съемочной площадки на другую, улицы на улицу — также смертоносно. Никогда еще не существовало такого отталкивающего города. Он вот-вот взорвется; рождается непреодолимое желание обрести то, чего в нем нет: покоя, одиночества, тишины, свежего воздуха.

Мы почти не задержались в отеле Беверли-Хиллз, тут же отправившись на обед с лос-анджелесскими книгопродавцами. Мой костюм слишком модный — чувствую себя в нем неловко. Обед готовился под наблюдением известного в городе гурмана, грека-гея. В честь “Мага” должны были подаваться греческие блюда. Я выказал недовольство тем, что нет узо. Нашлось немного рецины, позже появилось и узо, но еда так же мало напоминала греческую, как египетский танец живота в американских клубах напоминает греческие танцы.

Наконец мы вернулись в понравившийся нам отель: смешные банановые обои; действительно дружелюбный, как обещают путеводители, персонал; живущая в атмосфере память о многих торжествах и показных победах. Здесь продает сигареты девушка по имени Доминик; она читает мои книги, хочет принести несколько экземпляров, чтоб я подписал; на какое-то время эта поездка становится похожей на все остальные в обществе Боба, пьяного, измученного, безумного, веселого — всякого.

15 ноября

Каждый вечер Боб напивается до чертиков. Его глаза полуприкрыты; когда он моргает, веки не поднимаются секун-

ды две или даже больше. Но держится он хорошо. За ужином я сказал, что видел в вестибюле Питера Устинова; Боб, видевший того от силы пару раз, позвонил ему и пригласил присоединиться к нам. К моему удивлению, Устинов согласился. Мы провели вместе весь вечер. Общительный, поверхностный человек, обрюзгший и пресыщенный; в чем-то предпочитает обходные пути, не зная, насколько вы ему верите и стоит ли принимать во внимание ваше мнение по этому поводу. Под внешней изощренностью англичанина таится русский. Шаркающая походка. По словам Элиз, я выглядел испуганным, но на самом деле было просто приятно иметь перед глазами такой редкий экземпляр и стараться, чтоб он не заметил твоих эмоций. Устинов рассказал несколько смешных историй: о королеве Юлиане, Набокове, своем соседе в Швейцарии. Он великолепно изображает, как русский тщательно, слишком тщательно пытается говорить на идеальном английском языке, его снобизм.

Печальный человек, как все первоклассные комедианты.

19 ноября

Летим в Сан-Франциско. Приземлились около пяти — приятно видеть, как служащие идут пешком домой из своих контор; видеть невысокие дома и неспешно едущий транспорт. Бросается в глаза человечность здешних лиц. Город сумел сохранить гуманность, участливость, достоинство. Он знает, что его подстерегают разные опасности, но, в отличие от лос-анджелесской слепоты, трезво смотрит на вещи.

22 ноября

До вечера мы свободны — впервые с момента приезда остались одни и отправились в галерею. У ее владельца, Хэнка Баума, есть гравюры, созданные неким умельцем, которого вдохновил на это "Маг". Они показались мне совсем неинтересными, и я отказался купить весь комплект за 475 долларов. Мне больше понравилась мелкая скульптура. Потом мы выпили с Баумом в ирландском баре, хозяин которого — друг китайского художника. Эти двое охладили мое восхищение городом. "Он очень провинциальный", — сказал Баум, и я понял: он знает, о чем говорит.

Мы вышли на площадь Джирарделли, красивую и талантливо спроектированную торговую территорию: она не только хороша сама по себе — с нее открывается прекрасный вид на остров Алькатрас и Золотые Ворота. В магазинах товары со всего света, есть даже отличные греко-турецкие бакалейные лавки. Богатые дары Востока (и Запада). Венеция. Боль-

ше всего мне понравились магазины, где торговали старинными ювелирными изделиями из Афганистана и Южной Америки, африканскими украшениями, поделками из современной Скандинавии, польскими тканями — волшебное изобилие.

Этим вечером Уилли Абрахамс из "Атлантик" и Питер Стански, профессор Стэнфордского университета[1] устроили в нашу честь прощальную вечеринку.

На окраине, в Хиллсборо; уютный одноэтажный дом, два милейших, интеллигентных человека, которые мне сразу понравились: они умны, воспитанны и оба англофилы. Казалось, я снова в Оксфорде, в том месте, где оттенки языка так много значат.

Понемногу приходили гости. Уоллес Стегнер, о котором я, как подразумевалось, все знаю, на самом же деле никогда не слышал: седовласый мужчина, сегодня утром он убил молодую гремучую змею[2]. Джессика Митфорд[3], аристократка, изображавшая школьную учительницу. Да, она помнит Майкла Фаррера[4]. "Он мой кузен, я его помню маленьким мальчиком". Она рассказала мне, что он развелся с Констанс, известие было для меня шоком, — не потому, что казалось невозможным, а потому, что тем далеким летом на ферме они навсегда запечатлелись вдвоем в моей памяти[5]. Старая миссис Митфорд ("эта жуткая, ужасная женщина", по словам Джессики), кажется, умерла; полковник (и он "ужасный") тоже скончался ("слава Богу!"). Теперешний муж Джессики — адвокат левого направления по фа-

1. Поэт, романист и редактор "Атлантик Мантли-пресс" Уильям Абрахамс (1919–1998) являлся также главным редактором и экспертом ежегодно выходящих в "Даблдей" сборников американских рассказов, получивших премию О. Генри. В 1968-м он и Питер Стански переехали вместе из Бостона на Западное побережье, где Стански получил кафедру профессора истории. Они соавторы книги "Путешествие к Фронтиру: два подхода к испано-американской войне" (1966), после ее выхода написали совместно еще несколько книг.
2. Уоллес Стегнер (1909–1993) пользовался большой известностью в Соединенных Штатах как автор романов об американском Западе; боролся за сохранение дикой природы в Америке. В 1964-м основал в Стэнфордском университете творческий семинар по литературе и был профессором университета вплоть до 1971-го. Его роман "Угол наклона" получил в 1972-м Пулитцеровскую премию.
3. *Джессика Митфорд (1917–1978) – общественная деятельница, журналистка, писательница, представительница британского аристократического семейства; в 1939 г. вместе с первым мужем переехала в США, в 1944 г. получила американское гражданство.*
4. Друг Джона Фаулза по Оксфорду.
5. После окончания Оксфорда Джон Фаулз провел несколько недель, работая в Коулд-Брейфилд, поместье Майкла Фаррера в Бакингемшире.

милии Трюхафт[1]. Внешне он слегка напоминает Иноха Пауэлла[2], что совсем не кстати; он слушает жену и улыбается. Похоже, он настоящий радикал, не просто эксцентричный тип вроде Митфордов[3]. Еще был Дональд Дейви, английский поэт, удивительно ожесточенный человек, седой и всем недовольный; впрочем, он признавал, что преподавать в американском университете[4] лучше, чем заниматься чем-то другим; его явно мучило сознание того, что он не нашел для себя ниши в английской академической жизни. Не понимаю, почему англичане такие неблагодарные и капризные; Дейви напомнил мне персонажа из пьесы Уэбстера, находящегося до такой степени во власти смутных теней, кровной мести, темных потоков подсознания, что непонятно, что он чувствует на самом деле.

26 ноября

Наш последний день здесь; Уилли Абрахамс устраивает нам небольшую автомобильную прогулку вдоль южного побережья. Что ж, скажу я, счастье, что есть на свете гомосексуалисты; не возражаю против их энтузиазма, злобы, субъективности мышления, разговоров о себе любимом и упоминания громких имен вскользь. Возможно, в Англии я не смог бы терпеть Уилли и Питера Станси, но здесь они как оазис в пустыне. Поездка была ужасной, побережье изгажено плодами свободного предпринимательства, беспорядочным строительством. Заехали в горы, потом вернулись в Хиллсборо. Уилл и Питер пишут книгу об Оруэлле, вопреки желанию Со-

1. *Сын венгерских иммигрантов, выпускник Гарварда, Роберт Трюхафт (1912–2001), действительно, отличался левыми взглядами: с 1940-х по 1958 г. он вместе с Дж. Митфорд был членом Коммунистической партии США; в "бурные шестидесятые" был адвокатом арестованных властями участников антивоенных демонстраций и лидеров протестных студенческих движений.*
2. Джон Инох Пауэлл (1912–1998) – британский консервативный политический деятель; в 1968 произнес расистскую речь об иммиграции. *"Расистской" названа некогда прогремевшая речь Пауэлла "Реки крови", в которой он предупреждал общество о пагубных последствиях неконтролируемой иммиграции из стран Содружества в Великобританию.*
3. Первый муж Джессики Митфорд, Эсмонд Ромилли, вступивший в канадские ВВС в начале Второй мировой войны, погиб во время бомбардировки территории нацистской Германии. С Робертом Трюхафтом она познакомилась в Управлении ценообразования США. Они поженились в 1943-м, и оба вступили в американскую коммунистическую партию. В 1948-м поселились в Окленде (шт. Калифорния), где Трюхафт специализировался на ведении профсоюзных процессов и процессов по борьбе за гражданские права. Когда в 1953-м их вызвали в Комитет по расследованию антиамериканской деятельности, они, сославшись на первую поправку к конституции, отказались давать показания. Сенатор Джо Маккарти назвал Трюхафта одним из наиболее опасных адвокатов, ведущих подрывную деятельность в стране.
4. Дейви (1922–1995) преподавал в Стэнфорде английскую литературу.

ни Оруэлл[1]. Будущей весной они едут в Англию, где намереваются завершить эту работу. Не представляю, как другие писатели умудряются вести такую активную литературную жизнь, столь не похожую на мою, в которой приоритет отдан сочинительству. Завидую этому.

В Хиллсборо. Приходит Стански — он преподает историю викторианской и современной Англии. Чем-то похож на Исайю Берлина — тоже интеллектуал со своеобразной фонетикой: некоторые гласные произносит как невероятные трифтонги, и это звучит ужасно. Домашний уклад ученой пары нас забавляет, они действительно счастливы вместе; принимаем их приглашение и едем в замечательный итальянский "семейный" ресторан где-то в стороне от Коламбус-авеню. Бесконечная смена блюд — возражения не допускаются. Но это, скорее, в английском духе — не в американском. Этот вечер мне понравился больше, чем любой другой, проведенный в Америке.

В полночь вылетаем в Англию.

Америка, я оплакиваю тебя.

28 ноября

Просыпаюсь в Хемпстеде. За окном сыплет снег — холодная, маленькая, промозглая Англия. Днем поехал в Ли-он-Си, поехал один. Элиз трудно там находиться, мне тоже стало неуютно уже на следующий день. Для них ничего теперь не существует помимо крошечного семейного мирка. По-моему, неправильно думать, что все люди существуют в одном и том же времени. В Ли, как и многие в Лайме, живут словно время остановилось где-то между 1929 и 1939-м. Умерла тетя Мэгги — как раз перед моим приездом. В какой-то степени это придало духу отцу — ведь он пережил всех своих родственников. Слава Богу, он сохраняет здравый ум.

29 ноября

Ждал на Чокуэлл-стейшн поезд на Лондон. Смеркалось. В зале ожидания я был один — холодно, повсюду снег, высокие волны разбиваются о дамбу прямо под окном. Сан-Франциско на другом конце света. Монтескье был прав, когда говорил: все определяет климат.

В Калифорнии я все время старался удержать ускользающее сравнение — Египет, конечно, он. Вот откуда ощущение повсеместного распада. США — это Рим; Калифорния — ме-

1. *Соня Оруэлл (урожд. Браунэл; 1918–1980) – вторая жена английского писателя Джорджа Оруэлла, унаследовавшая его архив и владевшая правами на его произведения.*

сто, где подлинный Рим заканчивается, растворяясь в александрийских культах, грандиозных иллюзиях и роскоши декадентского имперского Рима. В Калифорнии царит страх смерти. Настоящий губернатор штата — Танатос, а не пользующийся дурной славой Рейган. Вот почему там много экстравагантных религий и философий; все это безудержная погоня за разного рода чувственными наслаждениями. Они все там медленно умирают, и умирают некрасиво.

Любопытная черта: во многих американских рецензиях сквозит удивление, что "Любовница французского лейтенанта" — роман одновременно развлекательный и серьезный. Думаю, это побочный продукт гибели религии. Роману, наряду с другими формами искусства, приходится играть роль проповеди. Таким образом, серьезное произведение литературы или искусства определяется большим количеством страниц (или объемом), тусклостью, сосредоточенностью на себе и т. д.

В счастливом мире искусства не будет. Я слишком часто сбегаю в воображаемую действительность. В счастливом же мире хватит и живого опыта.

30 ноября

В Лайме. Здесь теплее, чем в Лондоне. Нет снега. Cobaea все еще в цвету, распустились зимние ирисы (двадцать растений на одном месте), продолжает оставаться зеленым артишок. Я мог бы здесь жить в одиночестве целый год, не меняя климата. Покой, море; кулики, мирно пощипывающие на закате семена морского лука.

4 декабря

Во время нашего отъезда на экраны Англии вышел "Маг". Что заслужил этот фильм, то и получил: всеобщее порицание.

17 декабря

Во время нашего пребывания в Америке меня, оказывается, наградили свежеиспеченной премией Английского отделения Международного ПЕН-клуба. Я с удовольствием отказался бы от премии, но бывший на торжественном обеде Том Машлер ввиду моего отсутствия получил ее за меня. По моему мнению, сам принцип распределения литературных премий неверен. Абсурдно и то, что мне даже не сообщили, что я номинирован (и, таким образом, не дали шанса сказать, хочу я участвовать в конкурсе или нет). Со мною до сих пор никто из ПЕН-клуба не связался (премию вручали 20 ноября); о самом событии были краткие сообщения только в "Гардиан" и "Телеграф", так что

единственно разумное оправдание этих забав (реклама художественной прозы в целом) достигнуто не было. Моими соперниками в конкурсе были Монсаррат, Маргарет Лоуренс и Роберт Лидделл, из-за чего я лишен даже слабого утешения — уважения к проигравшим.

Элиз должна была сегодня лечь в больницу по поводу варикоза, но нам позвонили как раз в ту минуту, когда мы собирались выехать в Лондон, и сказали, что в больнице карантин из-за начавшейся эпидемии гриппа и потому Элиз положить не могут. Но мы все равно поехали в Лондон: мне нужно встретиться с Оскаром и поговорить о фильме.

19 декабря

Оскар, Том и я сели вместе и составили список режиссеров — в порядке предпочтения: Линдсей Андерсон, Тони Ричардсон, Дзеффирелли, Полански, Питер Брук, Циннеман, Люмет, Джек Клейтон, Джо Лоузи. Похоже, Андерсон еще окончательно не отказался. Ричардсон, который, мы думали, после крымского фильма[1] нашим проектом не заинтересуется, напротив, проявил интерес. Я разозлил Тома и Оскара своим заявлением, что предпочел бы Ричардсона, потому что он выпускник Оксфорда. Теперь они то и дело мне это припоминают. Конечно, Ричардсон не типичное порождение Оксфорда. Я не осмеливаюсь раскрыть карты и сказать, что мои мотивы были по большому счету марксистского толка: выпускник Оксфорда знает больше об английском рабочем классе, произношении и чувстве отчужденности, чем кто-либо другой при прочих равных условиях — таланте и прочем. Ричардсон, очевидно, дал прочесть книгу своей бывшей жене Ванессе Редгрейв. Я всегда высоко его ценил, да и она, пусть и не образец красоты, намного превосходит других популярных актрис (Сару Майлс, Гленду Джексон), так что остается только молиться, чтобы мы их заполучили.

Продолжаю вести переговоры с Дэном Рисснером из "Уорнер Бразерс" — они хотят, чтобы я написал для них оригинальный сценарий. Несколько месяцев назад мне показалось, что может кое-что получиться из приключений Джона Уэсли в Джорджии между 1735—1738-м. Потом есть еще сценарий, начатый мною год или два назад, — о борьбе поколений ("Прислуга"). Они согласны оплатить один или два сценария — на мое усмотрение. Но деньги стали для меня помехой. Зарабатываю их, когда хочу. Я не обсуждал с ними темы любви и смер-

1. "Атака легкой бригады".

ти. Только у меня девушкой будет сама смерть. Молодой человек знакомится с девушкой, а это смерть.

Вернулся в Лайм, оставив Элиз в городе. Сейчас не могу спокойно жить здесь, получая от этого удовольствие. Нужно написать о Соединенных Штатах, где жизнь лишена поэзии, где допущено много ошибок в культурном, социальном плане и так далее. И еще три сценария — не знаю, за какой взяться. Эти дни я только и занимаюсь тем, что все планирую и планирую — признак, скорее, депрессии, чем творческой активности. Затем роман, где действие происходит в Голливуде и Англии, роман о Робине Гуде. Хочу все писать одновременно.

20 декабря

Хотелось бы самому снимать фильмы — частично, эта мысль пришла мне в голову из-за краха Голливуда; банкротства его студий, буквального и метафорического. Я хочу сказать, что там сейчас освободилось пространство для фильма как порождения литературы, писателя как человека, способного придать ему видимую форму.

Бросить курить — по-прежнему остается проблемой. Странно, но в Штатах я не курил. Мне не нужны сигареты, чтобы справиться со стрессом или со скукой. Трудности начинаются при работе. В настоящее время я увяз в болоте из множества замыслов. Не успею написать абзац, как уже вижу, как его улучшить. Как будто я не уверен в том, что хочу сказать, хотя в целом я знаю это *точно*. Бесконечное переписывание, вариант за вариантом, ужасно раздражает, отнимает время, но самое главное — это порочный круг: в пятом варианте столько же недочетов, сколько и в первом. Сколько ни старайся, все равно будешь ошибаться.

Так как роман занимает в нашей культуре все меньше места, то, думаю, писатели неизбежно станут все реже обращаться к этой литературной форме. Возможно, между фильмом и романом создается искусственный барьер — так первые биологи считали кита рыбой, потому что он живет в море. Подлинное различие — между создателями, а не искусствами. То, что я говорил о многостильности в "Аристосе", является логическим продолжением этого соображения. Если я работаю в разных стилях, почему ограничиваться печатной страницей?[1]

1. В "Аристосе" Джон Фаулз писал: "Что по-настоящему важно, так это цель, а не то, какими средствами это выражено. Настоящее искусство заключается в умении передать одно значение разными способами, а не одним, тщательно выверенным стилем, который больше расскажет об авторе, чем раскроет сам предмет изображения".

Последние несколько месяцев я читаю жалкий “Таймс-Литерари-Саплмент”. Он что-то вроде кружка необычной групповой терапии, куда представители литературных и академических кругов ходят разыгрывать сценки, будто они насилуют друг друга в темноте[1].

Карикатура на то, каким должен быть главный литературный журнал страны.

23 декабря

Ричардсон отказался, но хотел бы видеть в фильме Редгрейв.

Мне кажется, проблема сочинительства вот в чем: до определенного времени тебе нечего сказать, потому что ты мало чего знаешь, потом — ты знаешь, но не можешь это выразить.

24 декабря

Едем на Рождество в Ли.

Там Дэн, Хейзел и дети; близнецы важные и серьезные — в два года это умиляет. Верховодит Саймон, у которого неправильная кисть, он наиболее решительный из двоих; еще один пример в пользу закона о компенсации. Подозреваю, что евгеника именно тут терпит неудачу; хочешь вывести безупречный экземпляр, но никогда не добьешься этого — по человеческим меркам.

Читаю дневник Уэсли (1735—1738) за то время, что он провел в Джорджии. Типичный англичанин, святой — из тех, кто сделал себя таким сам. Никаких видений — только тяжкий труд, монотонная работа. В наши дни только спортсмены перед Олимпийскими играми способны на такое подвижничество. Он великий атлет протестантизма, и в моих устах это совсем не комплимент.

Здесь есть материал для фильма — думаю, даже для нескольких фильмов. Пора завести моду на Дикий Восток — на тех же принципах, что сто лет назад или еще раньше была мода на Дикий Запад.

26 декабря

Снова в Лайме. “NAL”[2] предлагает 15 000 долларов за права на издание в бумажном переплете “Аристоса”. Меня это очень радует.

1. *В “Литературном приложении к ‘Таймс’” вплоть до 1974 г. большинство рецензий публиковалось анонимно.*
2. *“The New American Library” (Новая американская библиотека) – основанное в 1948 г. американское издательство, специализирующееся на переиздании книг классиков и популярных авторов.*

20 января

Последние три недели писал о Соединенных Штатах. Эту работу назвал “Америка, я оплакиваю тебя”, и она стоила мне битвы с Сатаной. Уже с первой строки начал курить. Теперь снова высаживаю по шестьдесят — а иногда и больше — сигарет в день. Тогда мой мозг работает свободно и изобретательно. Никотин, несомненно, — вещество, способствующее концентрации внимания.

30 января

Не позже, чем на следующей неделе, мы возглавим список “Нью-Йорк таймс”. Это большой успех.

9 февраля

Необычный уик-энд. В Эксетере, в доме, где Анна снимает квартиру, живет женщина (Пэт Конн) с двумя маленькими детьми за счет государственной помощи. Брак распался; муж — нищий художник; и вот Анна привезла их сюда отдохнуть. Мать внешне не очень привлекательна, и все же ей нельзя не восхищаться. Можно предположить, что она вышла из лондонского ограниченного буржуазного мирка, восстала против него, появился художник, богемные связи и полная неспособность создать нечто свое. Она жертва, ее нельзя не любить только за это — тем более, что она мужественно держится, и все же что-то мне в ней не нравится; возможно, та культура, которая сформировала ее, и все вытекающие отсюда последствия. Тщеславие неудачника, богемная самовлюбленность — эти черты характера мужа могли сокрушить женщину. Ее нельзя за это винить, и, тем не менее, она принадлежит к тем людям, от которых словно исходит эманация неудачника; понимаешь, что она навсегда останется такой. Я чувствовал в ней боязливое отношение к другим формам жизни, какое обычно презираю в людях: страх перед змеями, летучими мышами, пауками и так далее. Но эта антипатия мне не нравилась.

Главная же необычность уик-энда была связана с двумя дочерьми этой женщины: восьмилетней Эммой и шестилетней Софией. Между нами с первого взгляда возникло любовное чувство: Эмма потянулась ко мне, а ее маленькая сестричка — к Элиз. Их сиротство, отсутствие у нас общих детей — вот что объединяло. До какой-то степени это была благотворительная акция: каждая забава, каждый подарочек принимались ими непосредственно и открыто, с такой неподдельной ис-

кренностью, что временами перехватывало дыхание и щемило сердце. Я повел их на южный, солнечный склон собирать подснежники, и, хотя обычно не терплю, когда рвут мои цветы, им разрешил бы оборвать весь сад. Удовольствие смотреть на детей могла перекрыть только их радость от цветов; и я вдруг понял, что Эмма — единственный человек, который видит этот сад так же, как я, — глазами обкраденного (по части простора, дикой природы и всего такого) ребенка. Другие люди видят только общий вид, перспективу, сорняки, запущенность и все такое. Они не могут радоваться укромным уголкам сада, радоваться тому, какой он есть, тому, какой он есть сейчас. Эмма бросалась к самому жуткому сорняку, лопуху — проклятью для старины Джека; сорняк как раз цвел и был очень хорош. Красивый цветок, приятный запах. Все хорошие дети по своей природе дзен-буддисты; для них деление растений на сорняки и садовые цветы лишено смысла.

У нее маленькое бело-розовое личико, голубые жилки на висках, бесхитростный взгляд; ей нравится сидеть у меня на коленях, держать меня за руки, ездить на плечах; подходит робко, бочком, все время старается быть ближе. Само искушение. С растениями обращается нежно, мгновенно замечает сходство между ними, запоминает названия. Весь уик-энд меня не покидало ощущение чего-то очень знакомого, напрашивалась какая-то аналогия; теперь я понимаю: Эмма напомнила мне Алису Лидделл[1]. Должно быть, в Алисе-ребенке тоже было сочетание веселости и серьезности, чувствительности и дерзости, властности и покорности; еще легкий привкус сексуальности, а также смутный призрак незаурядного ума. Меня заинтересовали стеклышки, которые она откопала в старой свалке на краю Блэк-Вен, их отполировало море; ей не нравились те, которые привлекали меня (ведь мой вкус обусловлен классическим искусством — от римского стекла до искусственного стекла нашего времени), а она создала свою контрэстетику; с первого взгляда они показались мне довольно безобразными цветными стеклами, но потом я пригляделся и изменил свое мнение.

Я не мог представить, как буду провожать их до поезда в воскресенье вечером. Не сомневался, что Эмма будет всю дорогу реветь, а меня только возраст удержит от слез. Думаю, все дело в моей бездетности, но ведь я никогда не хотел детей, да и сейчас не хочу, — мне хочется только этого ребенка. Она, ко-

1. Алиса Лидделл (1852–1934) — прототип Алисы, героини “Алисы в стране чудес”.

нечно, это чувствовала — такие дети знают наши мысли лучше, чем мы можем себе представить. Мне хотелось дать ее скучной матери немного денег, но Элиз решила, что мы оплатим ее последние счета за электричество и этим ограничимся. А как приятно учить такого ребенка; я точно знаю, как подступиться к такому сознанию. Возвращаясь домой с моря, мы натолкнулись на кайру с пропитанными нефтью перьями. Я объяснил девочке, что птица, скорее всего, погибнет, но я не стану ее убивать, потому что есть небольшой шанс, что она выживет. Ярдов через пятьдесят она сочинила маленький стишок:

"Кому-то смерть,
Кому-то грусть;
Лучше поесть чего-нибудь".

Я предложил лучшую рифму, но она подумала и отказалась.

Невинность детей: показать им нечто, что кажется раем, а потом жестоко изгнать оттуда. Они не могут этого понять, но мы-то хорошо знаем, почему они не могут понять. Маленькая София, похожая на обезьянку, не будет так уж сильно страдать в жизни. Она философ, как и ее мать, а Эмма — поэт.

Без всяких подсказок с моей стороны на второе утро она сплела из подснежников венок, как будто помнила эпизод из "Рыжика" — старик ведет двоих детей по лужайке; эта сцена всегда преследовала меня[1]. Я сфотографировал ее с сестрой в венках. Ни один мужчина никогда уже не увидит их такими. И где-то в глубине души мне не хочется, чтобы фотографии получились.

Нельзя забывать, что этим странным переживанием, глубоко тронувшим меня (и это не единственная его странность), я обязан Анне: она тоже философ и, как мне кажется, больший, чем Элиз или я. Подлинная философия — действенная, мы же слишком много думаем и мечтаем.

24 февраля

В Лондоне. Элиз завтра ложится в больницу оперировать варикозные вены. Пообедали с Недом Брэдфордом в "Китсе". Он ведет здесь секретные переговоры относительно провезенной контрабандой рукописи одного русского. Почти сразу же он заговорил о Пэм — за день до отлета они ждали к обеду

1. "Рыжик" (1931) — фильм режиссера Жульена Дювивье по роману Жуля Ренара. В лирическом эпизоде мальчик и девочка изображают свою свадьбу. В венках они шествуют вдоль берега реки, пересекают лужайку, а в это время рыбак поет свадебную песню.

гостей, но за час до их прихода она вдрызг напилась; ему пришлось прямо при ней отменять приглашения и, наконец, публично признать, в чем дело. Нед ведет себя как человек, который считает, что сама сущность его жизни разрушена ударом молнии и абсурдом — то есть в прямом смысле разбита вдребезги. Говорили и о моем американском "памфлете"; ему хотелось знать, что меня так не устроило в Штатах. Я мог бы сформулировать это в трех словах: ты и Пэм. Конечно, так отвечать было нельзя, но, увы, теперь я не уверен, поймет ли он книгу. Если он не может понять, почему она стала алкоголичкой, тогда трудно ожидать, что он поймет, что меня не устраивает в Штатах.

25 февраля

Вечер с Томом и Фей в их новом доме на Вейл-оф-Хелф. Очень красивый, типичный *дом с садом*, великолепно смотрится; еще одна преодоленная ступенька к элитарному сословию. В Томе ощущается легкая тоска по прежнему, независимому, состоянию. "Женитьба не изменит моих привычек". Фей выглядела бледной и усталой; мы решили, что она беременна. Да и Том необычно много говорил о детях. Я помог передвинуть мебель в гостиной; там надо всем упрямо возвышался массивный сервант семнадцатого века, их гордость (действительно прекрасная вещь). В конце концов место для него нашлось, но он заслонил собой две электрические розетки. Неважно, пусть стоит там. Двигаем, двигаем... Как раз на днях мы с Элиз тем же занимались в Белмонте — возможно, поэтому я немного завидовал их единодушию. Но я все больше и больше ненавижу засилье предметов искусства в домах и отсутствие подлинной поэзии в быту: беспорядка, обычных вещей, не вызывающих благоговения. Думаю, Фей — большая удача для Тома. Когда он говорит ужасные вещи, она бросает на него ледяные взгляды — таково английское движение сопротивления.

27 февраля

Операция прошла удачно.

9 марта

Возвращение с Элиз в Лайм. В это время года у меня в Лондоне земля горит под ногами. Я успокаиваюсь, только когда беру курс на юго-запад.

25 марта

Совсем увяз в книге об Америке. Нужно прочитать гору разной литературы: Токвиля и его последователей. Я готов

писать — руки чешутся, но так называемое "сопутствующее" чтение безумно утомляет, и я не делаю ни того ни другого. Думаю, это что-то вроде условного рефлекса, реакция на годы преподавания — отвращение к обязательному чтению, даже если в принципе оно мне интересно.

И огромный объем работ в саду. Привели в порядок местечко для овощей. Пошли в рост нарциссы.

Последние десять дней Оскар провел в Нью-Йорке, безуспешно пытаясь договориться о запуске фильма. Дело не в отсутствии интереса — просто спонсоры не знают, на что делать ставку. Они раскошелятся, только оценив ситуацию в целом. Вся киноиндустрия замерла, ожидая, куда повернет капризная публика. Что принесет прибыль на новом витке? Роман по-прежнему возглавляет список бестселлеров. Еще год назад при таком раскладе можно было просить что угодно. Лично мне все равно, как пойдут дела. В каком-то смысле я даже не против, чтобы идея с фильмом провалилась: ведь роман и так принес небывалый успех.

22 апреля

Анна уехала в Бристоль на курсы по графике.

24 апреля

Едем в Уэльс, на свадьбу Тома Машлера и Фей. В автомобиле, кроме нас, Казмин, владелец картинной галереи, и Эдна О'Брайен. Казмин — небольшого роста, близорукий, улыбчивый, с характерной англо-еврейской напористостью — преобладающий склад характера среди гостей, так как в числе приглашенных Фредди Рафаэль, Уэскер[1] и многие другие — не считая самого Тома. Их основные черты (сильнее всего они проявляются у Фредди Рафаэля) — нетерпение, стремление быстро преуспеть, отвращение ко всему скучному, неинтересному. Ненависть к зря потраченному времени может стать у них причиной нервного тика. Отсюда логически вытекает неприятие других взглядов на жизнь. "Не могу больше жить в этой стране, — говорит Фредди. — Люди не оставляют тебя в покое". В машине, где ехала и Эдна, которая хорошо вписывается в эту группу, в разговоре все время звучали имена знаменитостей, этого отдельного сообщества, тех, кто сейчас на гребне волны. Думаю, мне потому нравится Том Уайзмен — хотя он тоже любит хвастаться именами, — что он принадлежит к более старому и мудрому еврейству.

1. *Арнольд Уэскер (р. 1932) – английский драматург.*

Пока мы ехали, Эдна была очень любезна с нами, но, как только путешествие закончилось, сразу же переменилась. Не нравится мне этот переменчивый ирландский шарм.

Мы остановились в Лэнтони-Эбби — должно быть, самой экстравагантной гостинице страны; она построена еще в девятнадцатом веке, ее владельцы — странная пара: по-видимому, полностью равнодушны к комфорту — не только к своему, но и своих гостей. Хозяйка, миссис Найт, своей отчужденностью вызывает в памяти героинь Ибсена. Похоже, она всегда стоит за дверью — слушает и ждет. Я видел ее сидящей в столовой перед единственным в доме электрическим камином, лицо женщины с закрытыми глазами было обращено вверх, словно ее постигло страшное горе, и теперь она ждет смерти. Во всех спальнях викторианская мебель — и это не сознательно избранный стиль, просто она всегда здесь стояла. Каждая комната застыла в прошлом. И сама гостиница тоже. Тиканье часов наших дедов. Тишина. Ожидание. В первый вечер, когда собрались все те, кто остановился здесь (Эдна и Казмин с остальной развеселой братией поехали в Хей), атмосфера гостиницы показалась смешной и нелепой, раздался дружный смех. Курт, отец Тома, проявил недюжинный талант клоуна, он остановил все часы и спросил у похожей на призрак миссис Найт, не найдется ли у нее приличной, теплой комнаты. Здесь же была и мать Тома, Рита Массерон (она в разводе с Куртом), женщина, похожая на дрозда и такая же резкая и агрессивная. Бывшие супруги враждебно-холодны друг с другом. Еще здесь Эд Виктор из “Кейпа”, светский молодой экспатриант. Художник Том Тейлор с женой — он работает на телевидении — приехал снимать свадебную церемонию. Грэм Грин с женой[1].

На следующее утро всем надо было ехать в Хей, в бюро записей актов гражданского состояния, но нас задержал Курт, который пытался развернуть свой автомобиль на роскошном газоне перед руинами и застрял, впав в типичную для оказавшегося в Англии иностранца панику; он давал задний ход, прибавлял обороты, но машина продолжала медленно оседать. В конце концов, мы его вытащили, но газон выглядел так, будто по нему проехал танк. Рита: “Только бы Том не узнал, только бы Том не узнал”. Чтобы успокоить старика, я сел в его машину. Всю дорогу он говорил об Эдне. “Почему она ушла от Тома? (В прошлом году Эдна перешла

1. *Грэм Грин не жил с женой с 1939 г., поэтому, скорее всего, Фаулз принял за жену очередную гриновскую пассию, детскую писательницу и художницу Дороти Гловер.*

в издательство “Уейденфельд”.) Я пересказал то, что услышал от нее вчера, — с Тони Годвином как с редактором работать легче. Но он все равно не понимал. Думаю, тут не обошлось без Фей, она могла приложить руку к уходу Эдны — ей хотелось счастливого замужества. Но этого я сказать не мог.

Бюро записей; Фей, похожая на валашскую цыганку, бледная и сдержанная; с глуповатым видом стоящий Том. Весь уик-энд он был очень мил, только немного растерян. Конфетти и рис. Потом отправились к Уэскерам. Арнольд и его жена Дасти приготовили угощение. У них рядом ферма. Шампанское и вкусная еда из восточного Лондона — еда Блума: солонина, пирожки с картофелем и луком. Уэскер в черной бархатной блузе, открывающей заросшую грудь; длинные, до плеч, волосы. Он кажется мне самым человечным и самым талантливым из всех этих англо-еврейских писателей: в основе его раздражительности, нетерпения — социальные корни, а не озабоченность собственной карьерой. Дебора Роджерс, литературный агент Роя и одна из прежних возлюбленных Тома, — и он, и Фей пригласили кое-кого из “бывших”. Неприятная дама из “Инкаунтера”. Дорис Лессинг, спокойная, с гладко зачесанными волосами, — кажется, что она пришла из тридцатых.

Перекусив, мы отправились в Карни. Я шел в обществе Фредди и его жены; похоже, недовольство жизнью — его обычное состояние. “Никто не читает моих книг”. Недавно он посмотрел “Забриски-пойнт” Антониони. “Великолепно. Столько движения! Беготня по холмам. Взрывы”. Короче говоря, сплошная нетерпимость.

Потом опять вернулись к Уэскерам на свадебный обед. Меня посадили рядом с Деборой Роджерс — большую часть того, что она говорила, я не слышал. Во время произносимых речей она, потупив взор, крутила кончики волос, вид у нее при этом был несчастный. Типично оксфордский тост, высокий и благоговейный, провозгласил за Фей молодой человек из Тринити-колледжа; смущение, евреи ощетинились. Затем в смущение нас вверг Уэскер, превознося достоинства Тома; он хотел, чтобы все мы, поочередно, встали и сказали, что́ каждый из нас думает о Томе, — как будто Фей здесь нет. Тут я почувствовал, что во мне ощетинивается англичанин. Спасла положение́ Дорис Лессинг — она спокойно произнесла: “Все мы знаем, что и Том может быть сукиным сыном”. Отец Тома правильно угадал то, о чем в своем тосте поведал Том, — Фей на пятом месяце беременности. Я не видел, но, как выяснилось, Эдна и Казмин стали курить “травку”. Неко-

торые к ним присоединились. Общество разделилось на тех, кто курит марихуану, и обывателей. Мне было скучно, но ведь мне всегда бывает скучно на таких вечеринках.

4 мая

Четвертого апреля съехал с первого места. Теперь занимаю в "Тайм" вторую позицию. Продано 130 000 экземпляров.

9 мая

Приехал в Лондон встретиться с Диком Лестером, очередным кандидатом в режиссеры. У него вид и манеры известного венского композитора прошлого века, выходца из евреев, вроде Мендельсона. Говорит, конечно, на молодежном сленге, и одежда соответствующая. А так законченный денди; лысеющий шатен, замедленная, вальяжная жестикуляция, агрессивно-оборонительный взгляд — тебя оценивают, прощупывают, в тебе сомневаются. Я видел, что он покорил Оскара и моментально покорил Тома (который вначале был настроен против его кандидатуры) — на самом деле у него до какой-то степени были именно те качества, которые Том хотел бы видеть у режиссера. Впервые я слышал в голосе Тома извиняющиеся нотки: ему было стыдно за его редакторство, он чуть ли не извинялся за такую старомодную профессию. Лестера можно пригласить разве только из-за сложной финансовой ситуации, которая сложилась на текущий момент. Когда заговорили о киностудиях, вид у него стал такой кислый (что оправданно), словно он жевал лимон. "Почему бы нам не взять кредит в банке?" Слава Богу, у Оскара хватило ума этого не делать. Его кандидатура мне не нравится: он темная лошадка. В нем много от старого еврея, устраивающего свои делишки. Такие люди пойдут против общества, культуры и всего остального — только чтобы им было хорошо. Корни их ненависти к фашизму (речь не идет о последней войне) таятся в том, что любое закрытое общество ограничивает личную инициативу. В этом, как и в юморе, у них есть нечто общее с англосаксами — что мы с нашей ментальностью называем "свободой", у них же никакого названия этому нет. Но я подозреваю, что при определенной исторической ситуации фашизм может зародиться в любой нации — некоторые предпосылки к этому можно видеть сейчас в Америке и Израиле. То есть "любовь к свободе" может быть уловкой для личной выгоды; и, если все складывается так, что личная выгода становится возможной и одобряется определенной политической силой, игра может идти уже в другие ворота.

10 мая

Вечеринка в новом доме Тома на Вейл-оф-Хелф. Здесь я ощущал себя лучше, хотя гости были все те же, только прибавились Эмисы. Я поговорил немного с женой, Элизабет Джейн Хоуард[1], крупной, хорошо воспитанной женщиной нордического типа, с внимательным и требовательным взглядом. Она в стилизованном костюме австрийской крестьянки — в белой блузке и коричневой бархатной юбке. Вертит в руке миниатюру семнадцатого века — с одной стороны монограмма, с другой — лицо ребенка. Я не спрашивал, что это такое. Хотя она осыпала похвалами "Любовницу французского лейтенанта", но, похоже, мы совсем не понравились друг другу.

Между Томом и Оскаром трения: первый умерил свой восторг, а второй считает, что ассистент продюсера доставляет все больше хлопот. Я сказал Тому, что не готов сесть за английский Muggins[2] и заигрывать с кинобоссами. Он отнесся к этому с пониманием. Кажется, я не писал о Томе в дневнике ничего хорошего, но зато думаю о нем все лучше и лучше. Мне кажется, за последний год он изменился.

В Лондоне нас ошеломили свободные нравы. Как выяснилось на прошлой неделе, у Джада роман с Барбарой Кон. Он попросил разрешения, когда нас нет в городе, жить в нашей квартире. Последние двенадцать месяцев Джон Кон состоит в любовных отношениях с Джудит Гудман и живет отдельно от Б. и детей; теперь просится назад. Джад неподражаем — этот запутанный клубок почти кровосмесительных отношений он склонен воспринимать как комедию. Сэм Яффе, отец Б., сказал дочери, что она сменила "никудышного мужика" (бабника) на "прирожденного неудачника". Впрочем, он убеждает ее принять Джона назад — типичное еврейское неприятие развода. Четырнадцатилетний Питер Кон — жертва эдипова комплекса. За ленчем Барбара выглядела уставшей. "Если б ты не трахалась полночи с Джадом, — сказал юнец, — то чувствовала бы себя лучше". Джад начал бракоразводный процесс с Сюзанной. Стивен поедет в частную школу в Риме. По словам Джада, сын равнодушно отнесся к предстоящему разводу. "Года через три я буду независим от вас обоих. Так что валяйте, делайте что хотите".

Сюзанна хочет открыто объявить Яэль Дайан, дочь Моше, виновной стороной. Джад угрожает в этом случае обна-

1. *Элизабет Джейн Хоуард (1923–2014) – писательница, журналистка, с 1965-го по 1983 г. – жена английского прозаика Кингсли Эмиса (1922–1995).*
2. Карточная игра.

родовать психиатрическую экспертизу, из которой ясно, что у нее паранойя. Он боится (и не без оснований), что она может узнать о Барбаре Кон.

Как говорит Джад, выиграть нельзя — всегда найдется помеха.

В довершение всего в Лондоне вновь объявился Эрик, бойфренд Анны. А мы-то надеялись, что он уехал на гидрографическом судне на Красное море, и его не будет три года. Они спят в гостиной, а мы в спальне. Рой явно ненавидит Эрика. Мне парень скорее нравится, но, похоже, на Анну он оказывает своего рода влияние Свенгали[1]. Когда он снова удрал в Гуль, она проплакала все утро понедельника. Ничего не имею против того, что они спят вместе, не таясь от нас, но меня раздражает, как мало они используют предоставленные им возможности. Анна совсем ничего не делает, колледж посещает не чаще раза в неделю. А Эрик, получив грант на обучение, просто уехал из Эксетера. И возвращаться не собирается. Ни один из них на самом деле не заслуживает высшего образования. Анна хочет на следующей неделе вернуться в Лондон и жить в нашей квартире. Мы сказали, что обещали ее Джаду. Элиз из-за этого чувствует себя виноватой. А я нет.

12 мая

Студия Эй-би-си, наиболее заинтересованная в фильме, объявила, что Дик Лестер "совершенно неподходящая кандидатура".

15 мая

Ветром из Танжера к нам занесло Дэниела Хэлперна, замечательного молодого американца. Он уже полтора года живет с Полом Боулзом, они вместе создали новый журнал "Антей", в который я отдал несколько стихотворений[2]. Он приехал взять у меня интервью, но задержался; мне он нравится, и я не пытался его выставить. В интервью я показал себя человеконенавистником, заявив, что "терпеть не могу" людей, предпочитая им птиц, природу, одиночество и покой. Думаю, мне хотелось предостеречь его, сказать, чтобы он держался подальше от "знаменитых" пожилых писателей. Подозреваю, что Боулз сказал ему то же самое.

1. Герой романа Жоржа Дю Морье "Трильби" (1894), роковой мужчина, музыкант немецко-польского происхождения.
2. Хэлперн не только редактировал "Антей" и писал стихи — на следующий год он открыл в Нью-Йорке литературное издательство "Экко-пресс".

6 июня

Коктейль у Мейзи Форрестер в Уэер-Лейн; все гости из зажиточных городских слоев (по меркам Лайма). Самое скучное и до отвращения невежественное общество, какое только можно вообразить; находиться среди них просто ненормально. Постоянное обращение к прошлому — кто где жил и какая семья раньше обосновалась в Лайме. Вот так создается социальная иерархия. Естественно, что к нам отношение подозрительное. Мы люди со стороны — хотя большинство присутствующих живут здесь всего на год или два дольше нас.

Единственный сносный человек здесь — сама Мейзи, эта пожилая актриса так густо нарумянена и раскрашена, что кажется, будто перед тобою располневшая старая гейша или хозяйка шикарного борделя. Она остроумна, у нее есть стиль. И вера в воспитательную силу театра.

Этот вечер заставил Элиз воспылать ненавистью к Лайму; я же скрылся за своей орнитологической маской. Я считаю, что эти люди ясны и понятны — в том числе и по их поведению, и это приятно.

10–15 июня

Позвонили из Ли: отец перенес инсульт и находится при смерти. Мы быстро собрались и уже через час катили в Ли. Были на месте около семи вечера. М. чуть ли не получает удовольствие от всего этого: какое несчастье, как все произошло и что еще будет! Говорят, что для отца было бы лучше не мучиться, а быстро умереть. По словам доктора, у него был не инсульт, а угрожающий жизни спазм артерий, за которым последовало недостаточное поступление в мозг кислорода. О. долго не узнавал нас, но пульс у него стабильный — ясно, что он пока не умирает. Мы пригласили ночную сиделку, приятную, энергичную ирландку; и он почти сразу пришел в себя. Я думаю, они с матерью так долго психологически терзали друг друга, что теперь наступила кульминационная контратака. У меня и Элиз бесчувственность матери вызывает ярость — она постоянно говорит об отце, словно его нет; а ее суетливость у постели мужа приносит тому один процент пользы и девяносто девять раздражения.

В родительском доме мы провели шесть дней, пытаясь примирить противоборствующие стороны. В конечном счете никто не виноват — кроме унылого, маленького домика на унылой улочке, робости родителей и страха перед переменами.

О. постепенно становится лучше. У меня был долгий разговор с врачом — похоже, он понимает природу их отношений. “Да, я вижу, что большую часть времени они работают на раз-

ных волнах". Прогнозы его неопределенны. О. может вернуться в прежнее состояние, но возможно ухудшение и даже летальный исход. Он считает, будет лучше отвезти их в Лайм. Последовав его совету, мы два дня назад так и поступили. Старик перенес путешествие вполне прилично и на новом месте несколько воспрял духом. И мать стала мягче и тише. Не хочется думать, что потом они опять окажутся в прежнем окружении. С другой стороны, теперь им необходима эта атмосфера, отцу нужно, чтобы его изводили и оглушали, и мать с удовольствием это делает. Физически он как маленький ребенок, переходит крошечными шажками, шаркая ногами, от одного кресла к другому. Я его одеваю и раздеваю. Пытаясь снять или надеть рубашку, он всегда отчаянно размахивает руками.

22 июня

Статья для "Космополитен" о первых леди. Я опять впал в прострацию, блуждаю этим летом по округе — частично это связано с затянувшимся послеоперационным синдромом у Элиз; она утратила интерес к Лайму, нашему дому, образу жизни — рецидив старой болезни. И если в Андерхилл-Фарм я мог решительно закрыться в рабочей комнате, то здесь вынужден страдать вместе с ней, терпеть ее скуку, пустоту, ожидание чего-то. Но дело также и в прежнем беспокойстве, помехе в виде полной экономической независимости. Я работаю над триллером нерегулярно — не то чтоб мне не нравился результат, просто есть ощущение, что этот процесс можно растянуть на неопределенное время. То же касается и книги о Штатах. Куда спешить, зачем торопиться? На призыв отнестись к работе серьезно, я могу привести аргумент о необходимости ждать, пока содержание и форма обретут зрелый вид. Меня все больше преследует проблема глубины проникновения в предмет (что сводится к победе над временем или к забвению). Чтобы тебя слышали не только сегодня, но и завтра. Эта никудышная социалистическая мысль меня беспокоит; а огромное количество незавершенных работ просто пугает. Недавно я написал рассказ о разорвавшейся в Нью-Йорке бомбе, он мне понравился, я привлек Джада Кинберга и с его помощью послал экземпляр Джону Колли в "Уорнер": хотелось, чтобы он взглянул на него как на основу для возможного фильма[1]. А вчера, когда из Голливуда позвонил Колли, я вдруг понял, что рассказ стал

1. Джон Колли за год до этого стал работать в "Уорнер Бразерс" исполнительным вице-президентом, ответственным за мировые постановки.

мне неинтересен (думаю, что и Колли от него не в восторге), нет никакого желания связываться с Голливудом и снимать фильм. Я думаю, хорошо, если меня будут связывать жесткие обязательства, потому я и взялся в первую очередь писать для "Космополитен". Теперь на первое место просится роман об американизированном англичанине ("Англичанин"), а прочая работа отходит на задний план. Следующий он, и действие будет развертываться в Гималаях — никаких английских холмов.

На самом деле Колли больше всего хочет заполучить триллер. Хичкок тоже прислал телеграмму с просьбой взглянуть на него. Эти предложения оставляют меня равнодушным.

3 июля

Оскар собирается устраниться, если я предпочту Поллака[1] и ABC. Я думаю так и поступить, а его желание устраниться только укрепляет мою решимость (хотя я ему об этом не говорю). Во-первых, мне кажется, роман тяжел для экранизации, его нельзя без потерь перевести на язык кино — в результате все равно получится карикатура. Во-вторых, кинофильм в любом случае заставит читать и перечитывать книгу, поэтому не так важно, какой — "плохой" или "хороший" — получится фильм; более того, "хороший" фильм так много дает, что книга теряет примерно столько читателей, сколько приобретает после "плохого". В-третьих, я устал от высоких критериев отбора Тома и Оскара — тем более что они настроены так антиамерикански; и я вовсе не уверен в их непогрешимости, когда они уверенно делят режиссеров на овец и козлищ. Ставить на Поллака — риск, можно проиграть, однако есть шанс, что он снимет хороший фильм. Не скрою, у меня есть и другой мотив — некое недоброжелательство по отношению к этим двоим и к английской привередливости в целом. Однако я сделал "экзистенциальный" выбор несколько недель назад и не пойду на попятную.

Я прошу только одного — чтобы Оскар, по крайней мере, заключил договор до своего ухода, и он обещал дать Поллаку возможность показать себя. В то же время непонятно, нужно ли продолжать вести переговоры. От ABC уже месяц ничего не слышно, хотя они утверждают, что по-прежнему "заинтересованы".

1. Режиссер Сидни Поллак год назад был номинирован Академией на "Оскара" за фильм "Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?".

15 июля

Не могу писать стихи — слишком много поэзии вокруг. Сад — сплошная поэзия; произносить слова — все равно что швырять камнями в ласточек. И низко, и бессмысленно.

Анна вернулась из Эксетера. К недовольству Элиз она устроилась на работу (частично посудомойкой, частично официанткой) в гостиницу по соседству. Нам плевать на социальные условности, просто тревожит отсутствие у девочки нужной предприимчивости. Думаю, дело не только в психологической "лени", о которой твердит Элиз, но и в любви к нам, и у нас нет никакого права стыдить Анну за то, что она робеет в новом окружении. Мы насквозь литературные люди, она же совсем другая; у нее начинает преобладать зрительный подход — не хватает времени ни на что другое, кроме рисунка, текстуры и материального окружения; словесно же она выражает себя потоком банальностей, как заурядная выпускница средней школы.

20 июля

Едем в Лондон; Бетса Пейн совсем расклеилась — Ронни ее бросил. Когда Том и Фей проводили уик-энд у нас в Лайме, Элизабет находилась в одном из своих безнадежно мрачных состояний — была почти как Бетса. В субботу я повел Тома и Фей на охоту за антикварными штучками, а Э. позвонила Бетсе, чтобы излить душу, но ей тут же дали понять, у кого горе сильнее. Оказывается, у Ронни уже несколько месяцев роман с Селией Хэддон, двадцатишестилетней журналисткой из "Дейли мейл". На днях Ронни и Бетса вместе обедали. Она стала говорить, как ей хорошо и как она счастлива; тут-то он и объявил ей, как все обстоит на самом деле. Новая женщина "принесла ему веру в себя" и так далее.

В Лондоне Э. тут же поехала к Бетсе, а я остался с Джадом, мы немного выпили; к ужину вернулась Э., поели вместе. Ближе к полночи вдвоем отправились в Хайгейт (все это время с Бетсой сидела ее подруга из психиатрической клиники) и провели там четыре часа; говорили об одном и том же — о Ронни и его жизни. Мне ясно: все случившееся — результат того, что он ощущает себя неудачником вдвойне: рухнули его надежды на карьеру, связанную с Флит-стрит, к тому же он разочаровался в самой журналистской карьере. Сочтя эти амбиции главными для себя, он был обречен с самого начала. Ронни проиграл там, где — и он это понимал — не стоило выигрывать. И эта выходка — как бы подведение плачевных итогов. Б. говорит, что он винит ее в своих "журналистских" неудачах, и это только подтверждает мою теорию. Сильная сторона Ронни — в умении забавлять, острить,

в его яркой индивидуальности (все эти качества представляет в современной английской прессе его дружок Ален Брайен), а не в анализе дипломатических отношений, где надо быть прожженным журналистом-международником.

Мы сочувствовали и сочувствуем Бетсе с той же силой, с какой раньше она нас раздражала. Бетса утешает себя надеждой, что Р. в конце концов предпочтет ее. Я бы в это не очень верил; в то же время не представляю, как она будет жить одна. Хотя в течение этой ночи без сна я почувствовал, что в ней есть и твердость, и жесткость, так что, возможно, ей удастся справиться с одиночеством, своего рода вдовством, более успешно, чем мы можем сейчас представить.

В настоящий момент я чувствую, как меня окружают, почти осаждают женщины с неврозами; в основе этих неврозов — чувство обделенности: они не получили от жизни того, что должны были получить. Мне кажется, уязвимое место в этом повальном чувстве неудовлетворенности заключается в том, что оно ставит под сомнение безусловный принцип существования: нужно приложить какие-то усилия, чтобы получить в жизни желаемое. Лучше всех сказал об этом Блейк в афоризме о несбывшихся желаниях[1]. Постоянное уничтожение тайных желаний — болезнь с летальным исходом. Элизабет, конечно, перевела это на схоластический уровень, заявив, что у нее нет тайных желаний, да и вообще никаких нет. В каком-то смысле это дает ей защиту (если защиту от лечения можно называть защитой). Бетса менее защищена.

Мы сделали, что смогли, договорившись, что она будет звонить нам и приезжать гостить в любое время.

22 июля

У Поджа и Эйлин в Гарсингтоне. Небольшой, прелестный старый коттедж, хорошая библиотека, симпатичные безделушки, картины, кое-что из старинной мебели. У Эйлин талант подбирать вещи: очаровательные — и в то же время без претензии, тщательно выбранные, они несут на себе отпечаток небрежной элегантности. Она видит номинальную стоимость вещи — что бывает так редко. Можно заметить, что между супругами не все гладко (опять!), но при нас они общались между собой нормально. Как всегда, причина семейных баталий — мать Поджа П., которую он поселил рядом

1. "Что нужно мужчинам в женщинах? / Удовлетворенное желание. / Что нужно женщинам в мужчинах? / Вознагражденное желание". — Рукопись; записная книжка с. 99 "Ответы на некоторые вопросы".

с домом в гараже, больше похожем на собачью будку, — гараж маленький, но вмещает в себя не меньше Черной Дыры Калькутты: кровать, стулья, столики, рояль, комод и восемнадцать тысяч картонных коробок с вещами из прошлой жизни старушки. Находясь там, я помог Поджу переставить рояль, тем самым сдвинув с места кучу разного хлама — старые блюдца, зазубренные ножи для резки рыбы, горы старой одежды, книг, разных предметов из пластика. Эйлин хочет отправить старушку в богадельню. Подж категорически против — только, мол, через мой труп. Сама П. невнятно что-то бормочет — одно предложение поймешь, другое — пропустишь. Эйлин смотрит в окно. "Не слушай ее", — говорит мне Подж. Думаю, они лучше обращаются со своей собакой Робби, чем с П. Предмет семейных разногласий не сводится только к проблеме престарелой матери; их противоречия, скорее, из вотчины Ионеско, драмы абсурда. Эйлин настаивает на своем праве оставаться ирландкой, Подж — на том, чтобы быть несчастным. Мне по душе этот контраст между тихим очарованием старого коттеджа с садом и бурей страстей в нем. Отношения Филимона и Бавкиды несколько подкисли, но в этом есть нечто живительное. Как сок лимона в жаркий день.

Мы договорились ничего не говорить им о разрыве Бетсы и Ронни. Но, оказывается, Ронни уже проболтался Поджу. Теперь Подж просит не рассказывать Эйлин: "Она расстроится". Но в их ситуации любой секрет — слишком бесценное преимущество, чтобы им делиться.

25 июля

Хейзел, Дэн и трое малышей приехали на десять дней. Не могу сказать, чтоб меня это очень радовало: Элиз стонет от увеличившейся нагрузки, Джонатан демонстрирует начальную стадию паранойи (по отношению к близнецам). Хейзел глупостью, а Дэн подковырками доводят нас до бешенства. Детей он воспринимает как крест...

Под конец их пребывания приехала Бетса. Она словно в коме, безучастно помогает по хозяйству, сидит, молчит, думает. Ее привез Ронни, уехавший тем же вечером. Мы с ним немного поговорили в саду. Он категоричен в своем желании расстаться с Бетсой, даже не рассматривает возможность возвращения, говорит, что она погубила его жизнь, долгое время вообще отказывалась от секса, сделала из него няньку. Распространялся о радостях холостой жизни — как прекрасно, когда живешь один в комнате, — и о новой женщине, Селии. Она тоже развелась, она великолепная, потрясающая, не связывает его никакими обязательствами: "Замечательное поколение. Цивилизованное

и нетребовательное". Мне показалось, что он освободился от всех обязательств. Даже выглядеть стал моложе. Собирается ехать в Вашингтон, но боится сказать об этом Бетсе. Я спросил, почему он не скажет ей всей правды — не было ли попытки самоубийства? Да, она угрожала покончить с собой. Но дело не в этом. Он не может просто так ее бросить — продолжает чувствовать ответственность.

Ее занятия психоанализом. Он относится к этому скептически.

После отъезда Ронни я тоже не сказал правды Бетсе. Намекал, что его отсутствие может продлиться долго. Она все еще находится в состоянии шока. В последний день ее пребывания здесь мы шли, собирая ракушки, по направлению к Пинхею. Казалось, она получает от этого удовольствие, одно время я даже слышал, как она тихонько что-то напевает. Возможно, это будет лучшим лекарством.

20 августа

Очередной виток абсурдной интриги вокруг фильма "Любовница французского лейтенанта". Срок договора с Оскаром истек седьмого. Так как Эй-би-си по-прежнему не давала ответа, я предоставил ему один лишний месяц. Теперь Джон Колли из "Уорнер" предлагает 20 тысяч долларов, если я предоставлю сценарий. Неделю назад "Юнайтид артистс" выступила с таким же предложением. Том Машлер работал на их лондонского посредника — мне он совсем не понравился. Все это делается, естественно, за спиной Оскара. Под влиянием минутного помешательства Поллак сказал Оскару, что "Уорнер" проявляет интерес к фильму, хотя студия готова сотрудничать с нами только при условии, что Оскара не будет в проекте, и, следовательно, не хочет, чтобы он знал об этом интересе. Ситуация вполне определенная: все должны лгать всем. Достойно пера Мариво.

21 августа

Позвонил Том М. Из неофициальных источников он слышал, что я выиграл премию У. Г. Смита — тысячу фунтов.

23 августа

Видел в саду ястреба-перепелятника. Единственного в этом году.

24 августа

Отцу снова хуже. Он отказывается есть, говорит, что "хочет умереть". Бедняга.

28 августа

Обед с Кеннетом Олсопом и его женой. Они купили мельницу в Уэст-Милтоне, за Бридпортом; белые голуби, вода, имитации итальянских скульптур и урн, они выполняют свое назначение — привлекают взгляд. Он довольно приятный человек, хотя не совсем избежал того налета тщеславия, который среда накладывает на своих представителей[1]. Не могу поверить в его скромное желание — считаться прежде всего писателем. Писатели не живут в таком интерьере. И не могут работать в той маске, какую люди, вроде Олсопа, обязаны носить, — неизменно доброжелательного, проницательного, мудрого, спокойного гуру. Это, конечно, не совсем их вина; впрочем, мы с Элиз отнеслись к его желанию встретиться с нами (из-за возможной телевизионной передачи) как к забавной причуде: представитель элиты хочет познакомиться со знаменитостью меньшей величины — избранником масс, с тем, к кому благосклонно отнесся экран. Кажется, я все меньше и меньше боюсь вызова, который бросают печатному слову "зрелищно-речевые" способы общения; в каком-то смысле люди, подобные Олсопу, — козлы отпущения, публичные люди, вроде громоотводов. Именно им публика дарит на короткое время свою любовь и восхищение.

К нам приехали на недельку погостить Том и Малу Уайзмен, а также Борис. А так как Том знал Олсопа еще с тех времен, когда был связан с журналистикой, мы поехали к нему все вместе на воскресный прием — там были телевизионщики, драматург Энн Джеллико. Мне она понравилась — неординарная женщина за тридцать, румяная, с лицом крестьянки и глазами дрозда. Том и Малу, как японские водяные цветы, распускаются в такой атмосфере, оживают полностью только в ней. Непонятно, зачем каждому из них так необходим психоанализ — возможно, это как-то связано с их неспособностью общаться с кем-либо, кроме более или менее известных людей. Я чувствую, как Том в прямом смысле увядает рядом с обычными, никому не известными людьми; когда же его знакомишь со знаменитостью, он сразу становится важным и серьезным — словно, наконец, оказался на том уровне, где может функционировать и расходовать

1. Кеннет Олсоп (1920—1973) — журналист и телеведущий. В начале шестидесятых был репортером и интервьюером в популярной вечерней передаче Би-би-си "Сегодня вечером", а затем в заменившей ее программе "24 часа". Также написал роман "Бутлегеры" (1961) о временах "сухого закона" и "Тяжелое путешествие" об американских бродягах.

свою — бессмысленно до того гибнущую — психическую энергию.

6 сентября

Едем в Ли, где Дэн и Хейзел ухаживают за отцом, — мать отказалась присматривать за ним и вернулась на работу. Он лежит в задней комнате, окна которой выходят в сад, совершенно седой, с ввалившимися щеками и затуманенным взором, почти все время погруженный в сон. Временами он начинает барахтаться в постели, порывается встать, ищет судно. Мы договорились об отдельной палате для него в частной лечебнице на Империал-авеню. Там обычная для таких мест грустная атмосфера преддверия смерти, но сиделка вроде бы квалифицированная. Отец совсем беспомощный, словно маленький, больной ребенок. Уже десять дней не ест; не знаю, что уж поддерживает в нем жизнь — мужество или привычка. Не хочет умирать или не знает, как это делается? В наркотической полудреме он дает удивительные ответы на неведомые вопросы. Да, он выпьет хересу, спасибо. Да, он потушит огонь. Ночная сиделка говорит, что это слуховые галлюцинации, но, скорее, его слова вызваны мощной силой воображения, которое пока не оставило его. Мне кажется, он живет, черпая энергию из прошлого.

7 сентября

Перевезли отца в лечебницу на “скорой помощи”. Одурманенный лекарствами, он не понимал, что происходит на самом деле, но на следующий день, когда мы пришли его навестить, то увидели охваченного страхом и яростью ребенка: “О, Джон, слава Богу, ты пришел, забери меня домой — я хочу умереть дома, это место похоже на тюрьму...” — и все в таком роде; он срывался на рыданья, стонал, говорил, что болит нога, что находиться тут дорого и так далее. Нам удалось его успокоить. Здесь считают, что все в порядке. Я забрал бы его отсюда, если б не мать, — даже несмотря на мать, забрал бы: так она убеждена, что он должен быстро умереть. Не знаю, может такая ситуация типична: долгие годы, полные яда, обиды и унижения, привели к взрыву или, точнее, к нарыву. М. знает: только смерть успокоит его. Временами она превращает меня в свирепого самца — зловещего Эдипа, только с противоположным комплексом. Однако многое проясняется: последние лет десять отец держал мать в жуткой финансовой узде (хотя для этого не было никаких оснований — я ознакомился с его бумагами и выяснил, что только на текущем счету у него было шесть тысяч шестьсот фунтов и

Бог знает сколько в инвестициях); были и прочие претензии старовикторианского толка.

Собирал выращенные отцом груши и яблоки. Некоторые старые деревья обрезаны так сильно, что сучья торчат во все стороны — как будто рисунок, сделанный углем.

Я сидел один у его постели, когда он стал бормотать во сне что-то ритмическое, вырванный кусок из потока сознания.

“Бобби Чарльз я сидел рядом с ним его ранило в живот я сказал все будет хорошо Бобби он сказал я много видел такого слишком много на ничьей земле”.

Ненаписанный фрагмент из “Бесплодной земли”. Прошло несколько мгновений, он открыл глаза и поискал ими меня. “Вы должны прислать мне счет. Я хочу его оплатить”.

“Хорошо, — ответил я. — Я пришлю счет”.

Несомненно, настоящий счет был из того времени — между 1915 и 1918-м. В бумагах я нашел его офицерскую расчетную книжку тех лет. Он прибыл во Францию в январе 1915-го. Думаю, именно там таится источник его беспокойства, желание укрыться под одеялом, страх покинуть дом, скупость (или осторожность по части трат). Травма до сих пор не зажила. Выжить можно — только если лежишь тихо, а умереть — только в кошмаре.

8 сентября

Неожиданно разум вернулся к отцу, он стал терпеливее — почти прежний. Теперь М. в ужасе.

Этот жуткий дом доводит нас с Элиз до безумия — раздраженной ворчливостью, отсутствием доброжелательности. Так случилось, что соседка пригласила нас взглянуть на старинную мебель, которую когда-то приобрел ее покойный муж. Соседка не отличается вкусом, но контраст между светлым, чистым, не загроможденным вещами домом (с большим количеством старинных вещиц) и родительским, заваленным чудовищным хламом, — весьма болезненный. Конечно, у матери нет развитого эстетического вкуса, но мне непонятно, почему отец не обращал внимания на эту сторону жизни. Среди деловых бумаг я наткнулся на обрывки стихов — все они явно написаны не больше года назад или около того.

Потеря

Рифма ушла —
И пуста
Стихотворная чаша поэта.

Но жди. Замри — и жди.
Красоты созерцание
Вернет ему разум
(Ногам и взгляду — силу).
И тогда — в очередной раз
Поэт зарифмует добродетели ваши.

Что *нашел* Гёте

Я брел по лесу
Просто так,
Ничего не искал,
Вот чудак!

Увидел в тени я
Нежный цветок,
Он сиял, как звезда,
Как яркий зрачок!

Я сорвать хотел,
Но услышал слова:
“Если сорвешь —
Не будет меня”.

Я вырыл цветок,
Не поранив корней,
И в сад принес
Домика на холме.

В сладкой тиши
Я его посадил,
И цветок мой расцвел,
И корни пустил.

Думаю, последнее стихотворение — перевод из Гёте. Печален порыв — “рифмовать”, жалкое представление, что стихотворение — это то, где есть рифма, незнание того, что, по крайней мере, последние шестьдесят лет рифма — ругательное слово. Думаю, он не знал современную поэзию, как не знал и не любил современную музыку, современное искусство и прочее. Но за внешней неказистостью его поэтических опытов ощущается некий таинственный порыв: всю свою жизнь он что-то царапал на клочках бумаги. Так однажды он дал мне прочитать совершенно безнадежный роман — произведение человека, который будто бы никогда не читал ни одного романа, даже

классического, не говоря уж о тех, что были написаны при его жизни. Я испытал чувство, что мне фантастически повезло с наследственностью: ведь я был тем, кем так боялся стать отец, не предпринимавший никаких попыток, кроме вот этого секретного творчества, чтобы чего-то добиться. И даже себе не признавался в том, что он по-настоящему любит и чего хочет.

Одно стихотворение погрузило меня в неподдельную грусть — не только потому, что было плохим, а еще потому, что отец почти наверняка не знал, как мучительно страдал от того же самого Мильтон.

Компенсация

Как ярко светило солнце,
Как часто — в моем саду,
Цветы и плоды ласкали взгляд,
Но я не замечал их.

Теперь, в моем сумрачном мире
Я, кажется, вижу яснее
Земную красу вещей,
Чем прежде, когда был зряч.

Наверное, Бог в милосердии своем
Простил мою былую небрежность,
Когда я, зрячий, не видел даров природы,
Он наградил меня внутренним зрением,
И теперь я вижу то, чего нет.

12 сентября

Еду в Лондон, чтобы обсудить с Томом Машлером и Роджером Берфордом предложение “Уорнер” и потенциальных сценаристов[1].

Отец, похоже, смирился с жизнью инвалида и пребыванием в лечебнице. Ему не хуже — может, даже немного лучше.

14 сентября

Назад, в Лайм.

1. Предложение “Уорнер Бразерс” относительно “Любовницы французского лейтенанта” было принято; также была достигнута договоренность с драматургом Дэвидом Радкиным о написании сценария к фильму.

15 сентября

Отца осматривал специалист. Началась гангрена — ногу придется отнять. Странно, такие вещи почти заставляют меня вновь поверить в Бога. Нужно куда-то излить черную ярость.

16 сентября

Звонок от М. Операция прошла успешно, отец болтает с медсестрами; выглядит повеселевшим. Он думал, его оставили в лечебнице умирать (сейчас он в Саутенд-Дженерал-Хоспител), а теперь видит: что-то делается. По словам сестер, нога долгое время будет сильно его беспокоить.

19 сентября

Уведомление от фирмы "У. Г. Смит", что я выиграл премию в тысячу фунтов.

25 сентября

Еду один в Ли. Отец выглядит ослабевшим, а в остальном перемен нет. Надеялся, что смогу быстро вернуться в Лайм, но из клиники отца выпишут в течение десяти дней, и М. в панике. Лайм и покой кажутся такими же далекими, как Гесперид. Никто не хочет, чтобы я был писателем.

28 сентября

Назад в Лайм. Теперь Элиз ссорится и плачет всю дорогу. Якобы я ее презираю, не замечаю и т. д. У меня ощущение, что голова сейчас лопнет. Дома мы продолжали спорить до утра. Она хочет продать Белмонт. Говорит, надо приобрести несколько маленьких домиков в этом районе и жить в каждом по нескольку месяцев. Нужно приучиться писать везде. Я слушал ее и думал о саде. Цветет бересклет. Пытаюсь объяснить, что мне хорошо здесь пишется, здесь покой и тишина; мне необходимо знакомое окружение, чтобы не возникал порыв заново все изучать, чтобы можно было сосредоточиться на работе. Не могу постоянно переезжать из одного неизвестного места в другое.

17 октября

Джад продал "Ничтожество" Сидни Глазьеру. Пять тысяч долларов — на сценарий[1]. Роджер Б. пришел бы в ужас, узнав,

1. В основе — рассказ Джона Фаулза о писателе-неудачнике, который закладывает бомбу в нью-йоркский кинотеатр, чтобы "хоть так обрести известность". То же самое Джон Фаулз говорил об убийце Роберта Кеннеди.

что я так дешево себя ценю. Дэвид Тринэм тоже хочет попробовать что-нибудь сделать из рассказа "Последняя глава"[1].

Неожиданно из Бристоля приехала Анна с новым бойфрендом — после бурной сцены Эрика прогнали. На этот раз ее друг — сын врача из Уэльса, наружность неприметная, манеры и все остальное как у сына уэльского рабочего. Нам кажется, эти юнцы надевают в нашем присутствии своего рода маску — чтобы узнать, насколько они с их неотесанностью будут нам неприятны. Как выяснилось, даже Анне он не очень-то нравится: "но что делать, если другого нет". Я вижу в ней голубку с подрезанными крыльями, угодившую в вольер с ястребами. Пухленькая, мягкая — подходящая жертва для эмоционального насилия. Мне приходит на ум, что короли из старых сказок с их жестким отбором претендента на руку принцессы были не так уж неправы. Нашего юнца из Уэльса такой король сразу же скормил бы символу страны[2].

18 октября

Прелестный октябрьский день. Едем в Лондон. Вечером встречаемся с Томом и Фей. У нас ощущение, что не все тут гладко. Малышка прелестная, совершенная китаяночка. Том показывает фотографии: "Разве она не похожа тут на еврейку?" Фей корчит гримасу. Носик у девчушки совсем не еврейский и материнские глаза — миндалевидные, очень красивые. Сейчас эти глаза усталые — видно, что уход за ребенком, помимо заботы о Томе, совершенно измучили Фей.

19 октября

Еду на Лайм-Гроув, где располагается Би-би-си. Интервью с Кеннетом Олсопом сразу не заладилось: что-то булькает в батарее центрального отопления, затем ломается микрофон. Появляются техники, продюсер. Олсоп в гневе. Беседа не удалась. Я не умею готовиться заранее, не умею говорить просто — особенно, когда задают вопросы общего порядка: ответ на каждый из них займет всю передачу.

20–23 октября

В Ли. Отец слабеет; это понятно, потому что он не признает ухудшения, все чаще говорит о времени, когда отсюда выйдет.

1. Тринэм — первый ассистент режиссера, экранизировавшего роман "Волхв", — написал Джону Фаулзу, спрашивая, нет ли у него чего-нибудь пригодного для сценария. Джон Фаулз предложил ему ненапечатанную "Последнюю главу". Там рассказывается об авторе триллеров, чьи герои — после знакомства писателя с молодой женщиной — выходят из-под его контроля.
2. Символ Уэльса — красный дракон.

Возможно, это сознательная самозащита: в больничной палате витает дух безнадежности. Я все больше склонен считать, что проблема тут эстетическая. Плох не уход, а внутренняя обстановка — точнее, ее полное отсутствие. Почему людям *приходится* умирать в узких, безликих комнатах — комнатах, которые сами страдают: ведь никто никогда не окинул их любовным взглядом.

Вечер в Лондоне. Ронни П. познакомил нас с Селией. Нам она сразу не понравилась: высокая, гибкая, тонкая — вот-вот переломится (не люблю таких женщин), длинные белокурые волосы, слегка тевтонский вид, немного не от мира сего. Мы не сочли ее интересной, а она нас. За обедом в китайском ресторане в Сохо мы с ней неожиданно заспорили — совершенно нелепый спор об авторском праве. У Селии обычное презрение человека с Флит-стрит к авторам, к тем, кто "не может обеспечить себе приличное существование" сочинительством. Бедняга Ронни пытался быть третейским судьей, но тут в спор вступила Элиз и повела себя еще непреклоннее, чем я. В конце концов Селия забормотала: "Может, я не права. Мне ясна ваша точка зрения..." Странная сдача позиций. Необходимость в этом отсутствовала. Было очевидно, что мы не совместимы. Взятие слов назад только ухудшило положение.

Не понимаю Ронни. В наихудшем своем состоянии Бетса лучше, чем эта марионетка на пределе своих возможностей.

24 октября

Возвращение в Лайм. Я сильно простудился и в конце концов позволил простуде загнать меня в постель.

26 октября

Когда около десяти я спустился вниз, Элиз сказала, что в восемь утра звонила мать: отец умер в пять, перед самым рассветом. У нас гостит мать Элиз; обе женщины смотрели на меня, боясь, что я утрачу самообладание. Но я не ощущал горя — только облегчение. Думаю, мои мысли о смерти лучше всего переданы в "Миссис Дэллоуэй"[1]; подлинная смерть наступает, когда тебя больше не помнит ни одна живая душа — словно тебя и на свете не было. Я же ощущаю, что он продолжает жить во мне. То, что я никогда его больше не увижу, по-

1. В романе Вирджинии Вулф у Клариссы Дэллоуэй существует теория, что "невидимая частица нас" может жить после смерти: "Вам дали сильное, острое, непривычное ощущение — настоящую встречу; подчас мучительно болезненную; и все же в минуты рассеянности, в самых неподходящих местах она вдруг расцветает, распускается, источает аромат, тогда ты можешь прикоснуться, получить удовольствие, оглядеться, глубоко все прочувствовать и понять после долгих лет ложной потери". (Перевод Е. Суриц.)

хоже на то, как если б я никогда не прочел еще раз вот эту книгу, не увидел вот этого места или не выпил больше этого вина. Такое можно вынести. Я вернулся в постель, весь день читал и не думал об отце.

30 октября

Едем в Ли на похороны отца. Моя простуда обострилась бронхитом, Элиз тоже больна. Мы подъехали к дому № 63 до появления катафалка[1] — белый гроб, медные ручки. Интересно, гроб откроют, прежде чем остальное отправить в топку. Мать со мной и Элиз едет за катафалком в черном "роллс-ройсе". В крематории нас ждут Фаулзы из Саутенда; Стенли и Эйлин; Джеффри Вулф, порочный сын Герти Фаулз, — мягкий, пришепетывающий джентльмен, похожий на отошедшего от дел управляющего банком. Абсурдная заупокойная служба в "современной" церкви; за окном — кирпичный водоем с золотыми рыбками. Жуткий старик-священник портит всю церемонию — чувств в нем не больше, чем в пластиковом ведре. Думаю, он за час пропускает не меньше четырех покойников. Отца бы от этого передернуло. Я чувствовал себя отвратительно: нельзя так провожать; уж лучше проводить полностью англиканскую церемонию. Странно, но я больше переживал на кремации бедняги Кемерона из училища "Сент-Годрик"[2]. А сейчас мне просто хотелось поскорее отсюда уйти; жалкий субъект в белом пасторском воротнике бормотал слова утешения, глядя на меня рыбьими глазами и опираясь на кафедру.

Выходим семьей на улицу. Едем домой, там уже приготовлены напитки; скоро родственники понемногу пьянеют. Когда все разошлись, я сел просмотреть счета — отец хранил их по шесть-семь лет. Немного поговорили о странном отношении отца к деньгам. Мы уехали в десять, чтобы переночевать в Лондоне: в Ли остались Хейзел, Дэн и дети. Я тайно присвоил его офицерскую расчетную книжку за 1914—1918 годы, несколько стихотворений (я приводил их раньше). Два письма от старины Такера[3]. Думаю, никто из присутствующих на похоронах его не понимал. Нужно было мне произнести проповедь.

1. Семья Фаулзов жила в Ли-он-Си на Филбрук-авеню, 63.
2. Во время работы в "Сент-Годрик" Джон Фаулз был на похоронах коллеги-преподавателя Мартина Кемерона.
3. Дж. Т. Л. Такер — родственник Фаулзов, крестный отца Джона Фаулза; он помогал вести семейный табачный бизнес.

31 октября

Вновь в Лайме. Развели огонь; тишина, осень. Читал "Большого Мольна", к которому пишу предисловие. Сначала прочел французский оригинал, потом новый английский перевод Лоуэлла Бэра, и этот перевод меня расстроил. Не то чтобы он был неточный — просто слишком прозаичный, слишком буквальный, не вдохновенный. Не буду утверждать, что знаю французский лучше этого переводчика, но вот английский — наверняка. Небольшая часть вины лежит и на Алене-Фурнье. Во французском тексте есть небрежности, неуклюжие повторы, чрезмерное использование отдельных слов. Но он добивается своего за счет разреженности, простоты, за счет подтекста, читаемого между строк, — эти намеки должны быть выражены на английском. Больше всего мне жаль самого Алена-Фурнье; читатели его не поймут. В таком виде он к ним не пробьется.

7 ноября

Дэвид Тринэм приезжает на уик-энд, чтобы решить вопрос с рассказом. Он только что закончил работать первым ассистентом на картине Дэвида Лина "Дочь Райена", а до этого сотрудничал с Лоузи ("Фигуры на пейзаже", продюсер Джон Кон). Дэвид забавно пародирует абсурд в мире кино. У Лоузи прозвище "Сидящий бык"; в фильме "Билет в оба конца" оператор не мог вынести высоты, на которой снимали кино (горы Сьерра-Невада). Тринэм — приятный молодой человек, довольно нервный и, как мне кажется, слишком робкий, чтобы многого добиться в кино. Эта чертова индустрия находится во власти священного чудовища.

Он хочет написать этот сценарий, и я охотно даю свое согласие.

8 ноября

Начал писать рассказ о священнике-иезуите, потерявшем зрение. Первоначальная мысль — слепой, которого соблазняют. Возможно, ничего и не получится. У меня нет плана, не представляю объема рассказа. Знаю только, что слепота — свойство, с помощью которого он постигает мир чувств, языческий эротизм, гуманизм и т. д.; он утрачивает веру. Меня привлекают технические трудности, которые видны уже сейчас, и те, что возникнут в будущем.

13 ноября

Звонок Джона Колли из Голливуда по поводу фильма. По ходу дела сказал, что Уорнер приобрел издательский дом "Сай-

мон и Шустер" и хотел бы во главе его видеть Тома М. Когда Том отказался, Колли предложил купить также и "Кейп".

16 ноября

"Джон! Ура! Ура! 'Любовница французского лейтенанта' уже пятьдесят две недели возглавляет список бестселлеров. Целый год! Наилучшие пожелания вам обоим. Нед"

23 ноября

Опять едем в Лондон. На обочине дороги у Блэндфорд-Форум на сырой траве лежит пожилая женщина, ее лицо в крови. В стороне грузовик — его занесло — и разбитый автомобиль. Нам казалось, что кровь должна быть темнее. На самом деле она оранжевого оттенка, такого легкого, радостного, что никак не соответствует ситуации.

24 ноября

Обед в "Стрэнд-хауз" с главой и директорами издательства "У. Г. Смит": двое — точь-в-точь Твидлдум и Твидлди[1], еще старый выпускник Итона по имени Саймон Хорнби. И хозяин — Траутон. Официальная атмосфера клуба для джентльменов: серебро и красное дерево. Обед проходит в отдельном кабинете. Разговор крутится вокруг крикета, устриц, коллекционирования почтовых открыток. Слушаю себя и понимаю, что говорю не я, а кто-то другой. Такое времяпровождение далеко от литературы, не говоря уж о труде писателя. Я все время сдерживался, чтобы не нагрубить, и потому был чрезмерно вежлив.

Нужно было отказаться от премии. Не верю в смысл премий, не уважаю издательство "У. Г. Смит" и его отношение к беллетристике (что видно из политики выбора и приобретения романов). Надо бы вернуть деньги, но от таких широких жестов отдает тщеславием. Кроме того, сейчас я нуждаюсь в деньгах: только что уплатил два крупных добавочных налога и еще один, самый большой, должен уплатить до первого января. Полный абсурд. У меня лежат в Штатах сто тысяч долларов, а может, и больше, — здесь же в очередной раз превышение кредита в банке.

В довершение всего я плохо себя чувствую: постоянная боль в левом легком, одышка. Неделю за неделей я воюю с демоном никотина, но без всякого успеха. У меня нет ни физической силы, ни энергии.

1. Персонажи английского детского фольклора.

25 ноября

Видел Джада. До него дошло, что несколько дней назад в Касабланке Сусанна пыталась покончить с собой. Поранила горло и кисти. Видимо, раны несерьезные, потому что уже на следующий день ее выписали из больницы. Он думает, что сейчас она в Париже. Бедняга. Он страдает из-за лживости их прошлого совместного существования.

26 ноября

Еду в Лайм один. Лондон погружен в густое молоко, туман сопровождал меня до Йовила, затем вновь чистое небо и солнечный свет. Вновь сажусь за рассказ, начатый восьмого. Думаю, это будет повесть — 80 000 слов, не больше. Но уже сейчас мое пылкое воображение растягивает ее. Я не смогу закончить повесть, не отрываясь. Нужно написать сценарий для Джада, завершить триллер — предисловие к "Мольну" и редактура перевода подождут. Чувствую себя из рук вон плохо, но замыслов много.

Это "ощущение, что в тебе бурлят идеи", — во многом сознание собственного несовершенства; пристальное вглядывание в то, чем ты являешься. Многие писатели страдают от этого, то же самое было раньше и со мною (лавровые ветви распадались в прах); но теперь я люблю это состояние. Оно не разрушительное, а созидательное. Кипящий чугунок. Работающая машина. Прорастающее семя.

27 ноября

Завязываю с сигаретами — и с этого момента перехожу на сигары.

Элиз уехала в Бирмингем, а я ушел с головой в редактирование плохого перевода Бэра. Делаю это из любви к Алену-Фурнье и уважения к его памяти. Никто и ничто не заставляет меня — только то, за что шло умирать его поколение. Параллельно читаю замечательную биографию Алена-Фурнье, написанную Жаном Луазом[1]; эта книга — как видение: так живо она воспроизводит жизнь Фурнье. Мне кажется, что я не читаю, а пишу ее, а когда я пишу, время пропадает. Мне неприятно думать, что ей когда-нибудь придет конец. Ведь тогда Фурнье умрет[2].

3 декабря

Едем в Лондон — получать премию У. Г. Смита. Ненавижу произносить речи, ненавижу публичность. Вчера приезжали с

1. *Alain-Fournier, sa vie et le Grand Meaulnes (Hachette, 1968).*
2. Ален-Фурнье был убит в сентябре 1914-го под Верденом; ему было всего двадцать семь лет.

телевидения, глупый молодой репортер и четыре человека из операторской команды — последние мне понравились больше: врожденный цинизм профессионалов из рабочего класса, сословие новых ремесленников нашего мира. Снимки на Коббе, на Уэр-Коммон, в городе, в моем кабинете. Когда они снимали Кобб, к нам подошел отталкивающего вида человек в длинном черном пальто — короткие баки, бегающие глаза. Спросил, что тут происходит, я пожал плечами и отвернулся. Он постоял, послушал, потом опять спросил меня: "Вы Джон Фаулз?" Я кивнул. Он протянул мне руку: "Я мэр города".

Мы поговорили, он не такой уж неприятный — просто старый лаймовский всезнайка.

Джад. Вчера Сусанна покончила с собой в Париже. Каким образом — он еще не знает. Бедняга. Хотелось ему посочувствовать, но он не мог до конца скрыть чувство облегчения и явно не хотел нас видеть. Я убедил его связаться с директором учебного заведения в Швейцарии, где учится Стивен. Трудно представить, что́ испытал бы мальчик, узнай он о смерти матери из "Геральд Трибьюн" или из другого печатного органа.

4 декабря

Вручение премии. Собрался весь литературный бомонд — пресыщенный и холодный. Премию вручал лорд Гудман — невероятно тучный, человек-гора, нечто среднее между Орсоном Уэллсом и Исайей Берлином — вьющиеся волосы с плешинкой, необычайно речистый. Мне больше понравилась речь Траутона, его добрые, чрезвычайно лестные слова звучали искренне. Потом опять Гудман. После него я — стараюсь быть остроумным. ("Почему у вас совсем нет чувства юмора"? — спросил меня недавно репортер с ТВ. Не правда ли замечательно для первого вопроса, и как же мне тогда хотелось быть Ивлином Во.) Потом говорю серьезные вещи.

Я ушел с Энтони Шейлом. Решили, что мне следует уволить Джулиана Баха. Дома был к пяти, вконец измочаленный. Открыл Луаза, вернулся к Фурнье и вскоре почувствовал себя исцеленным.

5 декабря

Назад в Лайм. И вновь — к Луазу.

6 декабря

Интервью с Кеннетом Олсопом показали по первому каналу Би-би-си. У меня мурашки по спине побежали. Говорю как по печатному — никакой живости. И жуткий голос.

16 декабря

Закончил предисловие к “Большому Мольну”. И написал резкое письмо Джулиану.

29 декабря

Заезжал на одну ночь Подж. Эйлин его бросила и живет с другом. Он только пожимает плечами — приятное отличие от остальных наших друзей в таком положении. Эйлин тоже нельзя винить — ведь жить с Поджем очень трудно. Проснувшись и встав с постели, он тут же начинает обсуждать идеи, мнения, дефиниции — не удивительно, что Сократу в конце концов дали выпить цикуту. Невозможно ежедневно выносить такой интенсивный интеллектуальный напор. Он даже не представляет, насколько мир, где я живу, не похож на его мир, в котором нет места воображению и сочинительству. В представлении марксиста наш отравленный капиталистический мир — пища для моего творчества; другими словами, я согласен с диагнозами и отношением Поджа, но не собираюсь предпринимать никаких действий: я здесь не для этого.

1971

7 января

Приехал с ночевкой Дэвид Тринэм — обсудить сценарий “Последней главы”. Он хорошо переложил рассказ, не потеряв главного.

10 января

Потрясающий день — теплый, как в конце апреля. Странная зима в этом году.

Я вновь впал в панику по поводу курения. Такое уже случилось перед Рождеством, и тогда я принял решение никогда больше не курить сигареты, но чтобы не подвергать волю слишком сильному испытанию, решил перейти на сигары. А теперь я курю их непрерывно. Никакой надежды. Без никотина я не могу ни писать, ни думать.

12 января

Сижу над триллером. Однако пора приступать к работе над сценарием — “Ничтожество” — вместе с Джадом. У меня как-то получается приспособиться к этим немыслимым ситуациям. К многочисленным трудностям в работе.

20 января

Несколько дней работаю над сценарием и не получаю от этого никакого удовольствия. Возвращаюсь к триллеру.

23 января

Приятный молодой американец из Лондона, Дэн Кроуфорд. Он руководит паб-театром в Ислингтоне и ставит "Коллекционера" в переложении Брайена Макдермотта. Из-за забастовки почтарей он сам привез сценический вариант романа. Думаю, все в порядке; боюсь, мне трудно скрыть от него свое безразличие к конечному результату. В этом повинна и моя работа над сценарием: попытки без потерь перенести особенности одной формы в другую обречены на провал. Не уверен, что это не проклятье нашего времени: ничему не дозволено оставаться в том виде, в каком оно создано. Конечно, многие политические и социальные вещи должны меняться. Но глобальные изменения – смерть для поэзии, и в историческом смысле и в качественном отношении.

4 февраля

Приехали в Бадли-Солтертон, чтобы повидаться с Эйлин. Она живет там у сестры. Муж носит галстук выпускника Итона, лицо дружелюбно настроенного, но голодного хищника. Сестра – сосредоточена на себе, никого и ничего не слышит, полная противоположность Эйлин. Они живут в обычном доме с центральным отоплением в заурядном районе Бадли. По словам Э., живут от еды до еды. К Поджу она не вернется. Как он поживает? "Спросите у него. Откуда мне знать. Ведь я его бросила". Очень живая, веселая, заново родившаяся женщина.

8 февраля

Премьера пьесы "Коллекционер" в Лондоне. Рецензии вполне приличные.

15 февраля

Сегодня закончил редактуру триллера. Теперь он называется не как прежде – "Кому-то надо делать это", а "План". Работа над ним доставляла удовольствие, но сегодня он привел меня в уныние. Лихо закрученный сюжет, запутанный мотив, и все это надо разгадать. Большое напряжение – следовать реализму на поверхности, а в глубине полностью отходить от него, – вот почему большинство триллеров короткие. Это самое утомительное в искусственных жанрах. Я истосковался по реализму.

16 февраля

Едем в Лондон без всякой радости. Ронни и Бетса всё кружат осторожно — и устало, и утомительно — подле друг друга. Джад в мрачном настроении. Кажется, все впали в депрессию — и мы не являемся исключением.

22 февраля

Вернулись в Лайм вместе с матерью — ее долгое и ужасное пребывание здесь. Я торчу в саду, а Э. тихо сходит с ума. Глупость М. отнимает веру: она ничего не видит, ничего не слышит и не выбрасывает из головы Филбрук-авеню и живущих там зомби.

За день до отъезда мы видели Ронни Пейна. Он решительно настроен не возвращаться к Бетсе. Мы отвезли его "домой" — в жуткую однокомнатную квартирку, расположенную в дворике, примыкающем к Флит-стрит. Ощущение пустоты, зря потраченного времени. Тщетность всего. Он только что совершил вместе с Инохом Пауэллом направленную против Общего рынка поездку во Францию и остроумно о ней рассказывал. Очевидно, что Инох написал свои лекции на хорошем французском языке, и все шло хорошо, пока он не стал отвечать на вопросы. Вот тогда началось веселье. Один из ответов начинался так: "Quand j'étais dans le cabinet ombré..."[1]; он, конечно же, имел в виду "теневой кабинет".

4 марта

М. возвращается в Ли. Мы вели себя с ней чудовищно, жестоко; я почти не разговаривал, а Элиз шипела за ее спиной. Если б еще ее ограниченность, поучения и сквозящая во всем глупость шли от простодушия, если б их можно было просто объяснить; если б у нее была хоть малейшая склонность к самоанализу. Возможно, мы не правы, считая, что тут есть злой умысел. Нам кажется, она должна понимать истинную подоплеку наших намеков, нашего молчания. Но как бы то ни было, подозреваю, что она этого не понимает. Вечно она старается увести нас туда, где сможет "поставить на место" и нами руководить, — в мое и ее детство, на Филбрук-авеню, и каждый раз я отказываюсь ей подчиниться.

8 марта

Почтовая забастовка закончена. Мне нравилось, что не приходят письма и сообщения. Хотелось, чтобы так было всегда.

1. "Когда я был в тенистой уборной..." (*франц.*).

24 марта

Лондон. Подж. Пошли на пьесу Монтерлана (на французском языке) "Город, в котором правит ребенок"; пришли к выводу, что пьеса скучная — насквозь лицемерная, несмотря на восторженные отзывы. Мне кажется, она очень типична для времени де Голля: в основе своей фашистская. На следующий день — "Смерть в Венеции" Висконти. В фильме есть оперное величие, мелкие недостатки легко можно простить. Но только не Поджу — он пребывает в состоянии язвительного недовольства людьми, которые не говорят откровенно (не выворачивают душу наизнанку) о гомосексуальности. Он приводит Элиз в бешенство. Манн так проникновенно говорит о смерти, старении, времени и лишь косвенно — о влечении к мальчикам.

"Скиталец" — фильм по "Большому Мольну" Алена-Фурнье[1]. Неудачный — по любопытной причине: слишком велика любовь и уважение авторов к тексту, они стремились сохранить каждую сцену, ничего не утратить. Поэтому фильм неровный и подчас непонятный; необычное усердие привело к неудаче. Меня же, знающего все обстоятельства дела, картина растрогала. У молодого человека, играющего Мольна, то лицо, которое нужно. Но в конце концов понимаешь, что нельзя просто перенести книгу на экран, она действует на уровне подсознания — не перед камерой.

"Скиталец" привлек мое внимание и потому, что в сценарии Радкина, в основе которого "Любовница французского лейтенанта", допущена та же ошибка — он педантично следует за текстом, "многоречив", слаб ритмически. Главная составляющая успеха "Смерти в Венеции" — скупой диалог, преобладание зрелищности.

3 апреля

Я стал очень быстро уставать от Лондона. Но до сегодняшнего дня держали дела — надо было поговорить с Радкиным. Весь день спорили с ним и Томом в Вейл-оф-Хелф. В целом — плодотворно; он уступал охотнее, чем мы предполагали. Вечер провели с Джадом и его новой подружкой, Моникой Меннел. Она дочь южно-африканского миллионера, и это заметно. Джад вдруг стал счастливым — это новый, верящий в будущее человек. Девушка показалась мне слишком умной, слишком стремящейся быть умной, чувствительной, знающей

1. Фильм снят и выпущен во Франции под названием "Большой Мольн" в 1967 г., режиссер Жан-Габриэль Албикокко, в главной роли Жан Блез.

жизнь. Похоже, она бывшая подруга Тома Машлера. “Да он рехнулся! Девчонка совсем чокнутая!” — вот так отреагировал он на эту новость. Но мы все же рады за Джада.

Фей активно не нравится Хемпстед и сам дом на Вейл-оф-Хелф. Вижу, что у Тома хватает своих проблем. Как и у меня: Элиз вновь охватило отвращение к Лайму. Хорошо, что мы наконец осознали: наши стычки не имеют никакого отношения к чувствам; мы ссоримся из-за некой третьей вещи, вставшей между нами, не чувствуя при этом личной неприязни друг к другу. С Рождества Элиз не покидает постель раньше одиннадцати-двенадцати. Ее ничего не интересует, ничего ей не в радость. Но я прочно стою на ногах — меня не вывести из равновесия всякий раз, когда ее охватывает скука (“мое несоответствие”, как она это называет). Тогда она не читает, не занимается садом, не помогает мне как секретарь — только переживает пребывание в Белмонте как ниспосланный ей крест.

13 апреля

Звонит Том. Он прочел “План” и явно от него не в восторге, хотя в голосе звучит некое подобие энтузиазма. Он хочет, чтобы я на треть сократил книгу — слишком она сложна. Наконец и Элиз высказала свое мнение: почти все в триллере вызывает у нее отторжение. Наверное, мне нужно расстраиваться по этому поводу, но я не расстраиваюсь. Могу сказать с полной определенностью, что получил большое удовольствие, сочиняя этот триллер, и теперь мне безразлично, напечатают его или нет. Я даже подумываю, а не уничтожить ли его совсем — меня совсем не заботит, что будет с этим произведением.

20 апреля

Отклик Энтони Шейла на “План”. Он не лучше остальных. Мне все больше и больше хочется уничтожить эту вещь.

23 апреля

Перевод для Тома Машлера “Золушки” Перро. Последнее время наша жизнь здесь стала такой безрадостной, что этот перевод кажется таким же нелепым, как пикник на поле битвы.

Поле битвы — Элиз и ее затяжная депрессия, все то же самое, ничего нового, но на этот раз депрессия такая глубокая, что нет ни споров, ни ссор. Она называет это потерей личности. Я — неспособностью любить. Хотя Э. не отдает себе в этом отчета, но мне кажется, она ненавидит себя больше, чем меня. Пока она даже не может встречаться с людьми: недавно, днем, примерно в пол-третьего, нас навестила моя кузина Энн Ричардс с мужем. Элиз все еще находилась в посте-

ли и наотрез отказалась видеть гостей. Я вывел их в сад, а она тем временем оделась и ушла. Думаю, они обратили внимание, что за время их пребывания стоящий у дома "фольксваген" исчез.

24 апреля

До начала нового семестра на день-другой приехала Анна. Как выяснилось, Рой тоже пребывает в состоянии глубокой депрессии — пьет, валяется в постели и так далее. Анне пришлось провести там все каникулы, чтобы как-то смягчить ситуацию. Мне жаль бедняжку; счастье, что случилось генетическое чудо и саморазрушительные, бесконечно эгоистичные неврозы родителей обошли ее стороной. Слава Богу, у Лиз достало мужества почти нормально общаться с ней. Но Анна не дурочка, и теперь за версту чует стрессовые состояния. Как раз сегодня в "Таймс" помещена хорошая редакционная статья о том, как поколение Анны воспринимает наше поколение. Все в ней показалось мне правильным. Конечно, мы жертвы истории, но это не мешает нам быть mauvaise foi[1].

Я уговорил Элиз пригласить из Эксетера двух девчушек, маленьких Золушек, Эмму и Софию Конн. Удивительно, но они мало изменились с того знаменательного первого посещения. Привязанности сохранились те же: Эмма льнет ко мне, малышка — к Элиз и Анне. Эмма — очень сложный ребенок; я слышал, что дома ее недолюбливают, считая "мрачной и трудной", и оказывают предпочтение младшей. Она большая собственница и сознает это; я то оказываюсь в роли отца, то получаю отставку. Внимательно всматривается: кто я на самом деле? Полная неясность. Кто я такой, кто этот мужчина, какие отношения нас связывают? На этот раз она видит всю эфемерность происходящего и как бы постоянно осаживает себя: надо быть взрослой, надо понимать, что такое не может продолжаться вечно. Со своей стороны я понимаю, что она из тех редких детей, которых я был бы рад назвать своими; а ее энергия — результат реальной ситуации (в практическом смысле наши отношения почти иллюзорны), которая не совсем нереалистична в плане исполнения желаний. Она прекрасный, поэтический ребенок, только быстро выдыхается.

В воскресенье ездили в Брэнском на пляж, там устроили пикник. Мы с Эммой дошли до соседней бухты, там залезли на скалы, оказавшись в причудливом "замке" из мела и гальки, и

1. Недобросовестными (*франц.*).

вернулись по тропе вдоль скал, где цвел терновник. Девочка с длинными волосами и странными раскосыми глазами бежала впереди, постоянно оборачиваясь; море, серебристые чайки в гнездах на внутренних сторонах утесов.

После того как мы передали детей матери, Элиз по дороге домой постаралась убить мое поэтическое настроение. "Вы с ней просто исключили из общения всех остальных" — и все в таком духе. Но в этом ребенка есть — пусть небольшая, но у других детей и ее нет, — частичка чистой любви и способности искренне чувствовать; я не могу показать Элиз или Анне то, что показываю ей. Или только косвенно — Анне. Я знаю: ей не очень хочется, чтобы мы отказались от привычных ролей — двух относительно нормальных, но разных людей, пребывающих в ненормальных обстоятельствах. Она выживает за счет следования нормам. Ее смешит мое отношение к Эмме, и, возможно, она смутно осознает, что Эмма заменяет мне ее самое.

В Брэнскоме меня также поразило, как во всем важна роль природы: как легко с ее помощью устанавливаются правильные, то есть любовные отношения. Меня все меньше интересуют материальные объекты и больше — естественные процессы в Матери-Природе, если употреблять старую терминологию, — не думаю, что это жалкая ошибка с моей стороны. Наше общение с Эммой осуществлялось исключительно через взаимное раскрытие природы: ею — для меня и мною — для нее; дарами были крабы, песчанки, цветы, камни, разные пустячки, то, что встречалось на пути. Подобные вещи Анне не интересны, если только не притягивают сразу же ее взор; что до Элиз, то она просто отторгает все это, как отторгает саму идею сада, садоводства, не видя в нем естественного процесса. Весна всегда пробуждает во мне ребенка: в Брэнскоме часть меня, большая часть, была того же возраста, что и Эмма, — девяти, десяти лет, не знаю точно. И понимаю, с горечью понимаю, что похож на священника, женившегося на атеистке.

22 мая

Итоговый отклик на мою работу Алена Брайена в "Санди таймс". Я — стеклянный глаз, создатель конфеток с вкусной начинкой и т. д. Статья привела меня в уныние: ведь про такое нельзя сказать "это правда" или "это не правда" — на субъективные оценки никак не ответить, но что хуже всего — они не забываются. Себе я могу сказать, что Брайен — Нарцисс, писатель-неудачник, ставший изощренным клоуном-журналистом, но этим я только забью еще один гвоздь в гроб, в котором их и так уже предостаточно. Недавно появилась смехотворная статья в "Таймс" —

куча фактических ошибок и полная неясность, кто же я все-таки такой; меня вынуждают дать отпор, но у меня принцип — я никогда не реагирую на статьи, мне теперь просто все равно.

27 мая

Безумный Троицын день: движение всю ночь. Задавили ежа за нашими воротами. Я впал в ярость. Думал, это тот, большой, из двух, которым я каждый вечер оставляю молоко и хлеб. Но оба опять пришли.

Том Уайзмен, Малу и Борис приехали на уик-энд; этого захотела три дня назад Элиз, сразу же пожалевшая о своем приглашении. Борис нас утомляет; Малу, не закрывающая рта, тоже; а Том, похоже, всегда не в своей тарелке. У Элиз лицо мученицы, я же надел маску радушного хозяина. Все мы отчаянно скучаем, даже Борис. Чеховская ситуация, напрочь лишенная юмора.

Квики со своей бригадой строят террасу и новую лестницу. Получается неплохо, но теперь, учитывая все остальное, я не уверен, как долго мне это будет нравиться.

3 июня

После приступа отчаяния Элиз одна уехала днем в Лондон. У меня завтра телеинтервью, так что поеду в город поездом. Ее уход от реальности начинает меня пугать. В этом сюжете у меня амплуа законченного злодея, и потому я даже не представляю, как ей помочь. Сейчас меня винят за то, что я расстался с фермой; она видит в этом роковой шаг — изгнание из рая, совершенно забыв, как она в свое время эту ферму ненавидела; по сути, она не одобряла ни один наш переезд с времен Черч-Роу. Ей нет равных по части увидеть самое худшее (из-за полной незаинтересованности в том, что не касается ее собственного физического и психологического состояния) во всем, что делаем мы или что делают с нами, — так она видит угрозу в приезде своей матери и двух сестер, этот визит представляется Элиз чуть ли не концом света.

Сочетание ее угрюмости и моей раздражительности — это уж слишком. Атмосфера в доме отравлена желчью. Я спасаюсь только в саду. Не могу писать, даже читаю с трудом. Вожусь со сценарием для Джада, это трудно назвать творчеством. Ирония в том, что мне приходится отстаивать существование, которому позавидовало бы большинство людей. Сегодня она сказала, что могла бы быть счастлива только в полной изоляции — но этого не случилось бы, останься мы на ферме. Перемена возможна при одном условии, если она осознает, что ненави-

дит настоящее — *любое* настоящее, а не именно то, в которое нас поместил случай.

16 августа

Приехал в Лондон повидаться с Боксоллом. Я знал, что в мае неожиданно умерла его жена. Он объявился в Хемпстеде; жена покончила с собой, и беднягу здорово подкосило. Она была чешка, очень добрая, — он все время это повторял, очень добрая, такая добрая, что никому не могла принести зла, — но у нее был тяжелый климакс. Воскресенье они провели в кругу семьи, все было как обычно, приехала ее мать, детей тоже отпустили домой из частных школ. А в понедельник вечером, вернувшись домой, он нашел ее на кухне мертвой. Напилась снотворного. И записка: "Прости меня, дорогой. Будь счастлив".

Что до его счастья, то оно надолго разрушено. Много недель подряд он не мог приходить домой. По иронии судьбы год или два назад он перевел дом на имя жены — "бухгалтер сам попал в первую западню, о которой предупреждает своих клиентов". Он не может жить в этом доме и не может его продать, не определив сумму обложения налогом с капитала. По его словам, за последние два месяца он узнал о себе больше, чем за предыдущие двадцать лет. "Половину времени я провожу, раздумывая, что же такое наша жизнь".

И еще черные дрозды — обратил ли я внимание, как звонко они поют в этом году? Похоже, их сотни в той части Хемпстеда, где их дом. "По утрам они не дают спать. Будят на рассвете". Оказывается, его жена рассказывала, что в детстве около их пражского дома жили дрозды. Он уверен, ее погубили их крики.

Новый роман Тома Уайзмена "Романтическая англичанка" — один из возможных претендентов на Букера; читая его, испытываешь смущение — очень уж он автобиографичный, автор почти не скрывает, что пишет о Малу и себе. После грустной встречи с Боксоллом я пообедал с ними, на обеде присутствовали и Машлеры. Затем в воскресенье я пригласил Малу на фильм Эрика Ромера "Колено Клер" — после романа (где жена писателя сбегает с другим писателем) это могло показаться двусмысленным приглашением. Мне показалось, что я уловил во взгляде Тома, которого мы оставили в обществе его матери на Аркрайт-роуд, отчаянную решимость не показать, что он шокирован. С другой стороны, Малу старалась, чтобы все выглядело вполне добропорядочно, и совсем не хотела обсуждать роман, не сомневаясь, что я его читал. Выглядело это комично; думаю, так она хотела показать, что в романе не все правда.

"Колено Клер" — прекрасный фильм; давно не получал такого удовольствия. Немного Мариво, чуточку Расина: анализ чув-

ства. Не думаю, что такой фильм можно поставить у нас — не только потому, что здесь трудно найти режиссеров и операторов с таким острым взглядом и тонким вкусом. Чтобы создать такой сценарий, нужен особый язык.

22 августа

Грешен (хотя будущий редактор, возможно, так не подумает), но за последние два месяца ничего не написал. Любая работа дается с трудом. Может, это апатия: наскучили и свои, и чужие книги. Прочитал тридцать пять романов, номинированных на Букеровскую премию (еще пять осталось), и понял, что страшно устал. Половину из них, если б не обязательства, оставил бы недочитанными; некоторые — даже при нынешних обстоятельствах — не смог осилить; тот случай, когда судья засыпает посреди процесса. Только три или четыре романа вызвали у меня сопереживание.

Замечательное лето, много солнца — если не принимать во внимание последние две недели. И Элиз — такое с ней бывает — непостижимым образом выздоровела: бодра, ежедневно встает раньше восьми, активна, никаких жалоб. Я был не прав, когда сомневался, достанет ли у нее сил восстановиться.

В июле к нам приезжал Подж; однажды вечером он ударил Э. по голове пластмассовым шариком — она в негодовании вышла из комнаты. Как обычно, он все обратил в шутку. Устроил нам настоящий экзамен: что я имел в виду, когда в письме к нему подчеркнул, что мы с Э. хотим “держать нейтралитет”. “Я ничего не могу тебе рассказать, пока не узнаю, что означает это выражение”. Оказывается, Эйлин пригрозила: в том случае, если он помешает бракоразводному процессу, представить семерых свидетелей грубого с ней обращения. Он ничему не мешает, но в его голове засели семь гнусных безымянных крыс. Мы заверили его, что среди этих крыс нас нет, и были вознаграждены за это его версией событий.

Как-то вечером Подж загрустил о зря потраченных в Оксфорде годах. “Оглядываясь назад, я понимаю, что ни один человек из тех, с кем я дружу последние двадцать лет, не заслуживал и часу моего времени. Всех их объединяет одно — отсутствие подлинной личности”. Беднягу одолевают и практические кошмары; Эйлин жаждет крови: уже сейчас она требует половину стоимости коттеджа в Гарсингтоне; он ищет деньги. Я предложил свою помощь, но он уверен, что “чудо-юноша”, его американский зять, достанет нужную сумму у своей мамаши.

25 августа

На консервной банке под названием "Трайдент" едем в Ниццу, на свадьбу Джада. Он нас встречает. Мне жарко, я злой, как тысяча чертей, — неизвестно почему Элиз заставила меня надеть коричневый костюм; у Джада тоже нервы на пределе. Он орет на шофера заказанного автомобиля из-за пятиминутного опоздания. У меня ощущение, что наша поездка обречена на провал. Джад в очередной раз продюсирует плохой фильм и знает об этом.

3 сентября

Встали в четыре, едем сквозь рассвет в аэропорт Ниццы. Днем уже в Лайме, отличная сентябрьская погода.

4 октября

Перевод "Урики" подходил к концу еще до поездки. При переводе я пользовался научной литературой; кое-что о природе свободы и — частично — образования там есть[1].

14 сентября

Первая встреча Букеровского комитета в апартаментах Сент-Джеймс-Хотл на Букингем-Гейт. Сол Беллоу в письме, которое все сочли оскорбительно самодовольным, отказался приехать и из всех предложенных книг выбрал, на мой взгляд, наихудшую (в этом утверждении нет никакого намерения его оскорбить), а именно "Эскадрон Ястребов" Робинсона, такой же выбор сделал и Маггеридж[2].

На Филипе Тойнби мешковатые брюки, потертый пиджак, старомодные рубашка и галстук — человек из тридцатых, он

1. "Урика" — повесть герцогини Клер де Дюра (1777—1828) была опубликована в Париже в 1824-м и пользовалась большим успехом. В ней рассказывалось о сенегальской девушке, освобожденной от рабства и во время французской революции воспитывавшейся в аристократической семье. Несмотря на искреннюю любовь приемных родителей, Урика из-за цвета кожи терпит много невзгод в обществе, которое революция изменила не настолько, чтобы понятия "свободы, равенства и братства" оно применило по отношению к девушке. Джон Фаулз обнаружил первое издание книги в книжном магазине Френсиса Нормана за много лет до начала работы над переводом. Повесть произвела на него впечатление и, по его мнению, на подсознательном уровне оказала влияние в работе над "Любовницей французского лейтенанта". Поэтому он решил перевести ее и найти издателя, проявив "дань уважения к забытой писательнице".
2. Журналист и писатель Малколм Маггеридж (1903—1990) с самого начала был одним из Букеровских экспертов, но, разочаровавшись в конкурсе, вскоре вышел из состава жюри.

довольно скучный, нервный, мрачный и придирчивый[1]. Он напоминает мне Поджа; все ему быстро надоедает, о чем он спешит заявить. Но мы образуем своего рода альянс, и я рад, что он среди нас. Я доверяю серьезности его суждений, а вот остальным двум не могу сказать, чтоб очень доверял.

Джон Гросс слишком легкомысленный, чтобы быть председателем комитета и организатором, обычный лондонский литератор[2]. Много говорит; догадываюсь, что он предпочел бы не видеть меня здесь, слишком необычны мои взгляды на устоявшиеся репутации в английской литературе; возможно, предпочел бы не видеть и Тойнби с его неуклюжей искренностью — однако тот слишком крупная фигура в сфере, в которой заняты оба, и потому ему следует оказывать особое уважение.

Леди Антония Фрейзер — рослый "синий чулок", у нее красивые глаза, крупный подбородок и слишком мягкие, чтобы быть искренними, манеры; время от времени они становятся особенно вкрадчивыми. Однако она стойко сопротивляется, когда мы с Тойнби продвигаем своих любимцев (Б. С. Джонсон, Килрой, Хилл), и противопоставляет своих (Рид и все тот же Робинсон).

На этот раз в окончательный список вошли четыре имени (Рихлер, Найпол, Лессинг, Тейлор) и еще шесть как возможные кандидаты на последние два места. Я не мог не заметить, что Гросс и А. Фрейзер твердо намерены присудить Найполу первое место; по этому поводу уже осуществляются кое-какие незаметные манипуляции.

Все это происходит на фоне зубной боли, у меня болят зубы; пломба, которую месяц назад поставил Бартон, все еще беспокоит меня, а сломанный пенек зуба более чем беспокоит. Болит — хоть на стенку лезь, так что я начинаю пересматривать свои взгляды на социалистическое здравоохранение: там богатые не могут пройти к врачу без очереди. Хочу, чтобы профессионалы с Харли-стрит приходили по первому моему зову[3]. Но у Бартона никогда нет свободного времени, на него запись на недели вперед. Придется ждать до двадцать первого, когда подойдет моя очередь.

1. Филип Тойнби (1916–1981) — ведущий литературный критик газеты "Обзервер"; написал несколько романов, из которых наиболее известен в какой-то мере автобиографический и экспериментальный "Панталоне" (1961).
2. В прошлом преподаватель английской литературы Джон Гросс писал для многих периодических изданий, в том числе для "Обзервера" и "Инкаунтера"; в 1969-м получил премию Даффа Купера за книгу "Взлет и падение литератора". В 1973-м стал литературным редактором журнала "Нью стейтсмен", впоследствии — редактором "Литературного приложения к ""Таймс"" (1974–1981).
3. Улица в Лондоне, где расположены кабинеты преуспевающих врачей.

20 сентября

Заключительная встреча Букеровского комитета. На этот раз собрались в Букеровском зале заседаний, окна которого выходят на Сити. Я вошел, прижимая руку к больному зубу, и тут же увидел Беллоу, он маленького роста, в зеленом костюме и галстуке в изумрудно-зеленых кружочках. В облике есть что-то гротескно ирландское; сухость, кривая усмешка. Он передал восторженные отзывы о моем творчестве от своего друга, к ним присовокупил свои; он явно стремится быть вежливым. Подошли остальные, мы сели обедать. Беллоу заявил, что хотел бы поскорее со всем этим покончить. Волнение — сродни ужасу — среди англичан, вызванное таким американским нахальством. Тойнби в любезной английской манере, внешне демонстрирующей безупречную вежливость, а по сути намекающей на то, что собеседник безголовый осел, предложил хотя бы дождаться кофе. Опасный ход — у Беллоу острый нюх.

Когда мы стали работать, Джон Гросс проболтался о позиции Тома Машлера — тот позвонил ему сегодня утром, откуда-то узнав, что Найпол в фаворитах, и сказал, что это "невозможно, смехотворно — по жанру книга не роман". Если можно, нужно этому воспрепятствовать[1]. Джон Гросс очень искусно использовал свою информацию. Антония была в легком шоке от такой попытки воздействовать на решение комитета. Тойнби пришел в возбуждение, вскричав: "К черту Тома Машлера". Беллоу высмеял Машлера. Даже девица из Ассоциации издателей, Мэрилин Эдвардс, вступила в разговор: "Он даже не слышал о Втором правиле (только эксперты могут устанавливать, пригодно ли произведение к выдвижению на премию), пока я ему этого не сказала". Все поочередно поглядывали на меня: Тойнби с лукавой неприязнью, Гросс и Антония с холодной осторожностью; ясно, у меня подмоченная репутация "человека Машлера", они понимают, что ему все будет известно. Выражение в глазах Беллоу заставляет предположить, что ему это тоже напели. С этого момента Найпол, по сути, уже победил, хотя мы провели еще два или три часа, споря и пререкаясь. Мы (Тойнби и я) внесли Килроя в

1. Существует правило, что на получение Букеровской премии могут выдвигаться только полные, без сокращений романы. Представленное Найполом произведение "В свободном государстве" состоит из двух рассказов и небольшой повести; все это обрамлено прологом и эпилогом, взятыми из путевых заметок Найпола; эти составные части объединены темой изгнания и освобождения. Хотя премия была учреждена Национальной книжной лигой, Том Машлер, будучи влиятельной фигурой как один из основателей премии, за два года до описываемых событий убедил Букера финансировать эту ежегодную премию.

окончательный список, но нам пришлось согласиться оставить в нем и жуткий "Эскадрон ястребов". Победителей в них уже никто не видел, и список фаворитов выглядел так: Тейлор, Рихлер, Лессинг, Найпол[1].

Беллоу резко выступил против кандидатуры Рихлера: он назвал роман "вульгарным", "ему не хватает энергии Рота". "Думаю, в какой-то степени я его породил, но хотел бы лишить наследства". Еврейское население Канады выглядит "крайне непривлекательным". Если здесь я почувствовал себя уязвленным (но не удивленным), то вполне согласился с ним, когда он также уничтожил Тейлор, назвав ее роман "слабым и безжизненным". Добрались, наконец, до Лессинг и Найпола – мы с Тойнби были за Лессинг, Гросс и леди А. - за Найпола. Таким образом, решающий голос принадлежал Беллоу, и он отдал его Найполу.

По сути, разыгралась шахматная партия. Мы с Тойнби воспрепятствовали первому выбору Беллоу – "Эскадрону ястребов". Затем вместе с Беллоу я выступил против Тейлор – первого выбора Тойнби. Беллоу и Тойнби лишили всякого шанса Рихлера, выбранного мною. Остальные воздержались.

Когда все закончилось, мы с Тойнби выпили. Договорились,что я навещу его в Монмутшире. Хорошо повеселимся, не так ли?.. Мне он понравился больше остальных за необузданные эмоции и взрывной темперамент. Беллоу лучше всех выступал: очень точно выражал свои мысли, давал краткие и убедительные характеристики роману как жанру.

5 октября

Все это время не прекращается суета с вручением Букеровской премии. Двадцать первого я написал Тому письмо с просьбой не поднимать больше вопрос о неправомочности Найпола. В хорошем ответном письме он сообщил, что не может с этим смириться. Мы подвергли анализу наши записи. Мне кажется, правда заключается в том, что на второй встрече я слишком много выпил, чтобы успокоить разболевшийся зуб. То же случилось и с Тойнби: он намекнул на какие-то личные проблемы – что-то, имеющее отношение к жене. На нас оказали давление, а под конец случилось вообще нечто странное. Совершенно неожиданное резкое выступление Беллоу против Рихлера, хотя в письме, полученном за десять дней до заседания, он ставил его на второе место вместе с Лессинг. Что до Антонии Фрейзер, то,

1. Список номинантов был следующим: В. С. Найпол "В свободном государстве"; Дорис Лессинг "Инструкция по спуску в ад"; Мордехай Рихлер "Всадник св. Урбана"; Дерек Робинсон "Эскадрон ястребов"; Элизабет Тейлор "Миссис Полфри в Клермонте".

когда подводились итоги, она вдруг объявила, что "очень не любит Рихлера, для нее было бы невыносимо, если б он победил; она даже отказалась поставить его третьим в числе избранных трех писателей — сущий вздор! Джон Гросс позволил ей это сделать. Рихлера лишили только одной оценки (правда, это ничего бы не изменило), но мне такое не понравилось.

Далее Том убедил постоянный комитет заставить Гросса представить объяснительную записку, которую бы подписали все эксперты[1]. Я отказался ее подписать и отправил длинное письмо с изложением причин своего отказа[2]. Затем последовали ответы от Джона Гросса и Антонии Фрейзер — их письма отличались от моего письма и были более мягкими. У них сохранились другие воспоминания о нашей первой встрече. Но я отчетливо помню, как Гросс сказал, что говорил с Найполом[3]; Том Машлер тоже убежден в этом; Мэрилин Эдвардс из Ассоциации издателей не сомневается, что также слышала эти слова. И еще я помню, как Фрейзер сказала, что предложила Найполу выбросить из книги два рассказа. Но что тут поделаешь! Приходится принимать их версию и подозревать, что они лгут без зазрения совести. Беллоу и Тойнби молчат.

Третьего октября постоянный комитет встретился, чтобы обсудить положение вещей. Очевидно Джону Мерфи объяснили, что эксперты должны принимать окончательное и единогласное решение, так что формально нам надо голосовать еще раз. Все зависит от Беллоу и Тойнби — Том полагает, что теперь они проголосуют иначе. Я в этом не уверен. Беллоу слишком вежливый, чтобы оскорбить лондонский литературный истеблишмент; Тойнби слишком нестандартный критик, чтобы его волновали ничтожные формулировки.

15 октября

Письмо от Мэрилин Эдвардс из Ассоциации издателей. Беллоу принял мою сторону и проголосовал против Найпола, но остальные трое, похоже, остались при прежнем мнении. Окончательный список претендентов опубликован в се-

1. В записке приводились аргументы в пользу того, что произведение "В свободном государстве" может считаться романом, так как его объединяет общая тема.
2. Джон Фаулз в письме дал такое объяснение: отказ подписать документ вызван тем, что книга Найпола не отвечает критериям полноценного романа. Общей темы недостаточно: она может присутствовать и в крупном сборнике рассказов. "Не хватает единства изложения, единства характеров".
3. Он спрашивал у Найпола, считает ли тот сам свою книгу "В свободной стране" романом.

годняшнем номере "Таймс". Беллоу дал ответ уже шестого октября, а Мэрилин написала: "как вам, вероятно, сообщит Джон Гросс". На меня теперь смотрят, как на взбесившегося дикого слона из Лайма — ничего не говорят, пока новости не становятся известны всем.

20 октября

Примерно десять дней назад я начал писать "Англичанина" (второе название "Пустота"), это произведение было задумано давно. Действие начиналось в Лос-Анджелесе, потом вдруг переместилось в Ипплпен военного времени[1]. Почему — понятия не имею, откуда только берутся эти необъяснимые порывы? И как удалось за один день воссоздать в памяти военные дни? Могу поклясться, что двадцать четыре часа тому назад я ничего этого не помнил. Обретает форму "настоящее" (Ден) и две женщины (Дженни и Джейн). Прошло два года, как я пишу хорошо. Божественное состояние — иначе не назовешь, все равно что первые две недели роста растения, — лучшее, что есть в его существовании. Жизнь яркая и уступчивая. Сегодня я об этом написал.

Надо на некоторое время приостановить работу и переписать сценарий "Ничтожества", но у меня это не вызывает внутреннего возражения. Пять глав написано, я уже глубоко в материале. Внедрился.

31 октября

В прошлый уик-энд приезжал Подж с Кэти и ее американским мужем Джонасом Стейнбергом; Подж весь в заботах. Эйлин теперь, когда развод состоялся, заявляет права на половину собственности, в частности на половину стоимости Гарсингтон-коттедж. Я обещал одолжить ему три тысячи фунтов или около того. Но сейчас основная забота Поджа — зять, удивительно угрюмый молодой человек, совершенно не расположенный к домашней жизни нью-йоркский еврей, а это что-то значит. Он отказывается даже пальцем пошевелить. Подж уводит меня подальше и тихим голосом жалуется на него. Парень хочет быть писателем, и я подозреваю, что та совсем не литературная атмосфера, которую создает вокруг себя Подж, и является основной причиной разногласий.

1. Деревня в Девоншире, где семья Джона Фаулза жила во время войны.

12 ноября

Едем в Бристоль праздновать двадцать первую годовщину рождения Анны — на самом деле день рождения был вчера. Подарили ей 100 фунтов, она купила на них стереоустановку и приемник. На полу сидит юноша в очках и собирает установку; потом приходит ее новый друг-венгр. Анна несколько напряжена. Впрочем, я не забыл свою реакцию на приезд родителей в Оксфорд. Как было тяжело, совсем не о чем говорить. Анна принимает мое оправдание — хотелось посмотреть город. Элиз переживает такое отторжение от нас. Но, мне кажется, оно не эмоционального, а культурного свойства. Возможно, мы слишком стараемся им подыграть — одобрительно бормочем под нос ужасающую поп-музыку, когда хочется, мне лично хочется, попросить их поскорее повзрослеть и распрощаться с этим бессмысленным существованием.

18 ноября

На два дня приехали Джад и Моника. Мы с Джадом обсуждаем сценарий "Ничтожества". Монику мне все труднее выносить. Она словно вышла из какого-то забытого времени, когда существовали бедные-маленькие-богатые-девочки: удивительное ощущение ее полной недостоверности. Думаю, они оба это чувствуют, так как изо всех сил расхваливают все, что попадает в поле их зрения. Сентиментальные восторги по поводу самых заурядных вещей не дают возможности возникнуть реальным контактам. Она превращает меня целиком в естественника: я ее изучаю. В Джаде не осталось ничего агрессивного, одна лишь учтивость в обращении к ней.

21 ноября

Осы все еще грызут падалицу.

22 ноября

Едем в Лондон на встречу с Франклином Шефнером и его продюсером Лестером Голдсмитом. На обеде — кажется, в греческом ресторане рядом с Бонд-стрит — присутствовали также Том и Фей Машлеры. Разговор не получился. Седовласый Шефнер — один из тех режиссеров, кто выглядит, скорее, как посол Соединенных Штатов; отвечает важно и уклончиво[1]. Лучше бы

1. У Франклина Дж. Шефнера (1920–1989) за год до этого вышел фильм "Патон". В 1971-м Академия присудила этому фильму семь "Оскаров", включая приз за лучшую режиссуру и лучший фильм, что не могло не увеличить самооценку режиссера.

встретиться с ним где-нибудь наедине. Но, похоже, он горит желанием снимать наш фильм после "Мотылька", который запускается весной. Ему очень не нравится сценарий Радкина. Лестер Голдсмит — плюгавый и учтивый (да, Франк; нет, Франк) толстячок-еврей, один из тех продюсеров, в финансовую мощь которых верится с трудом.

На следующее утро мы пошли в кинотеатр "Одеон" на Лестер-сквер, где состоялся закрытый просмотр последнего фильма Шефнера "Николай и Александра". Там были — Тони Ричардсон, Дэвид Найвен, Сэм Спигел (продюсер); последний оглядывал всех угрюмо и раздраженно.

Фильм не великий, в нем нет необходимого для этого полета фантазии, но, согласно представлениям Дэвида Лина[1] о сделанном со вкусом историческом фильме, весьма хорош. Будем ли мы работать с Шефнером? Теперь это праздный вопрос. Нужно воспользоваться его популярностью и всеобщим желанием "дать ему денег". Вернется ли "Коламбиа" к нашему проекту, зависит только от того, сумеет ли он убедить ее руководство, что хочет снимать фильм. Словом, жребий брошен.

11 декабря

Бридпорт. В антикварном магазине купил топор эпохи неолита, корнуоллский нефрит. Все за четыре фунта пятьдесят шиллингов.

20 декабря

Со дня последней записи непрерывно работаю над "Урикой"; книга меняет облик, становится более личной, больше говорит обо мне, свидетельствует то "за", то "против" меня — то есть я становлюсь соавтором и мифотворцем; что не является свидетельством за или против моей теории о постоянном сопереживании[2]. Месяц или два назад человек по фамилии Роуз, ассистент профессора психиатрии Йельского университета, прислал мне две написанные им статьи о психоаналитическом генезисе "Любовницы французского лейтенанта" и романа, искусства — в целом. В них отчетливо выражено то, что я всегда чувствовал (несмотря на довольно нелепые примеры, взятые им из текста); и теперь я разви-

1. Дэвид Лин (1908–1991) — английский режиссер; наиболее известны его фильмы: "Мост через реку Квай" (1957), "Лоуренс Аравийский" (1962).
2. В процессе работы над переводом "Урики" Джон Фаулз, вдохновленный этим сочинением, начал писать сопроводительное эссе под названием "Сопереживание".

ваю эти мысли в постоянно разрастающемся эссе о сопереживании[1].

Все это происходит на фоне углубляющегося кризиса Элиз — зимой ее мучает скука, отчуждение, озлобление, чувство разочарованности. Поэтому моя работа становится чем-то вроде защиты от этой депрессии и той ее части, которую и я разделяю; а учитывая рефлектирующий, личный характер настоящей работы, защита эта весьма ненадежна. Понимаю, что ученые будут придираться к моему эссе, разнесут его в пух и прах; да и мой рациональный ум подсказывает, что подходить к истории искусства, оперируя такими ненаучными, субъективными понятиями, — всего лишь навязчивая иллюзия; но ведь вся литература — попытка уйти от действительности. Депрессивная реальность Элиз очень яркая, и мне не всегда удается от нее укрыться; частично это связано с тем, что я зафиксирован на матери, а она — на отце. Другими словами, моя работа, долгие часы уединения в кабинете заставляют ее вспомнить о матери, назойливой сопернице в отношениях с отцом, как и о других женщинах, с которыми у нее всегда складываются запутанные отношения любви-ненависти. Мне не удается угодить заместительнице матери в лице Элиз, я испытываю чувство вины, она же видит во мне несостоявшегося отца. Мы довольно типичные примеры, хотя она (авторитарный отец) это отрицает, называя все "фрейдистскими бреднями", а я — с оговорками — принимаю.

Меня беспокоит постоянная ноющая боль в спине, там небольшая припухлость. Последние несколько недель рядом со мной были два постоянных спутника — смерть, которую я представлял во всех подробностях, и безразличие.

Рождество. Гуляли по берегу, дошли до Пинхей Бей; пасмурный, безветренный день. Я собирался выкопать пчелоносную орхидею, но, похоже, семейство этих растений теперь под водой. Шесть или семь молодых цветков я увидел на коме земли, стоящем почти вертикально к поверхности. Около трех лет назад я пересадил в сад несколько орхидей — все они принялись. Любопытно, что они взошли намного раньше всех других орхидей.

Второй день Рождества. День подарков. Едем к Олсопам в Уэст-Милтон. Обычное сборище молодых людей с неопреде-

1. В своей работе "'Любовница французского лейтенанта': подсознательная связь романа с его автором" Гилберт Роуз утверждает, что роман — фантазийное, в духе эдипова комплекса, изображение воссоединения и затем разлуки автора с матерью.

ленным мировоззрением. Кеннет в настоящий момент сражается на двух фронтах: пытается спасти Пауэрсток-Коммон от Комиссии по лесному хозяйству и изгнать ненавистных разведчиков недр из Бридпорта, где они последнее время обосновались и вынюхивают, нет ли в районе черного золота.

1972

7 февраля

Нашел на огороде дохлого длиннохвостого попугайчика с синими крыльями. Кен Олсоп говорит, что в "Вестерн газет" была статья, автор которой предполагал, что они одичали и стали размножаться у нас.

12 февраля

На уик-энд приехал Нед Брэдфорд; он поскучнел; больше, чем раньше, похож на уроженца Новой Англии; никогда не скажешь, что перед тобой главный редактор. Мы повозили его по антикварным магазинам Хонитона; за последний год там чудовищно выросли цены — как и на собственность.

Пригласили Олсопов для знакомства с ним; без своих друзей они смотрятся гораздо лучше. Собственно, как и все — мне кажется, люди собираются в большом составе, чтобы оправдать свою социальную лень.

15 февраля

Странное сексуальное видение. К счастью, я проснулся сразу же после него и смог записать некоторые любопытные вещи. Началось все со страстного соития с Анной — пишу "с Анной", но ее лица я не видел — просто "знал", что это Анна. И еще знал, что Элиз в соседней комнате, однако не испытывал от сознания этого никакого чувства вины или стыда. Просто сознавал, что она в соседней комнате. Ярко освещенная сцена лишена реалистической перспективы — некоторые положения требуют "камеры", третьей точки зрения. Два быстро промелькнувших "кадра" кунилингуса и минета — цветные; и, хотя они как бы фотографии женского тела, любого женского тела, в то же время я там действующее лицо. За этим последовало само соитие и эякуляция (хотя в действительности ее не было). Не помню, чтобы раньше после таких снов я не оказывался "мокрым". В следующей сцене я — совершенно голый — в автомобиле в трех или четырех домах от номера 63 по Филбрук-авеню — на противоположной стороне. Элиз, тоже нагая, стоит на тротуаре у открытой дверцы. Глядя в направлении родного дома, я вдруг осознал, что рассвело, и увидел в овальном окне второго этажа мать,

которая с улыбкой расставляла цветы. (Овального окна в действительности в доме нет.) Я заволновался, не видит ли нас мать. Затем увидел отца — он шел к воротам. За ним возникла мать. Элиз отъехала. По непонятной причине я уже не сидел в машине, и мне пришлось бежать по узкой боковой дорожке над площадкой для игр. Я всматривался в первую на моем пути дорогу, ведущую в Лондон, но не увидел на ней нашего автомобиля. Тогда я побежал к следующей... и проснулся.

Самое странное в этом сне — тема трех богинь: мать, жена, дочь; как и полное отсутствие чувства вины — даже езда на автомобиле и бегство были больше похожи на игру в прятки и не имели ничего общего с со страхом или стыдом (как и знание, что Элиз находится в соседней комнате, пока я наслаждаюсь "Анной"); и еще сохранившееся удивительное ощущение теплой чувственности, телесной умиротворенности. Я трактую этот сон, исходя из забытых, но острых детских наслаждений, в которых важную роль играет изменение личности; тут также прослеживается связь с признанной теорией психического отдыха, который приносит сон. Необычен не столько сам сон, сколько живость ощущений, несмотря на пробуждение в его середине.

И еще одна мелочь. В автомобиле у меня была возможность укрыться от глаз матери — как и в жизни, обладай я телом ребенка. Прятки в детской коляске?

Подлинная Анна, увы, далеко не столь послушная в жизни. Ее отчислили с курса графики. Элиз обвиняет меня в том, что я не выработал с ней твердую линию поведения, но я просто не знаю, как вытащить человека из западни, которую даже не он сам себе устроил. У Анны тот таинственный склад ума, который я пытался воплотить в Саре Вудраф: она умна, но ум ее не научного склада. Ей трудно смириться с возрастающей коммерциализацией курса, она не хочет заниматься рекламной графикой (в любом случае на всех желающих работы все равно не хватает); ей наскучили бесконечные предложения — где и как учиться, если она захочет избрать другой вид искусства. У нее нет творческой жилки — значит, по сути, остается только преподавание. Сложность и в том, чтобы одновременно быть и студенткой, и домашней хозяйкой: ведь она живет вместе с Ником.

19 марта

Весь последний месяц или около того переписывал "План" — из упрямства, без желания. Что-то вроде испытания. Позволил Даниелю Хэлперну напечатать мои стихи в книжном формате.

28 апреля

Работаю над историей Лайм-Реджис. Нашел много старых преданий и фотографий. "Тезаурус Листера" — настоящее сокровище, долгое время пылившееся в офисах муниципалитета; это тексты, собранные Джилеймой Листером и подробно проаннотированные Уэнклином. В нем полно замечательных вещей.

"Мисс Коад приехала в Белмонт в 1784-м, была там в 1802-м, не была в 1817-м".

Французское одномачтовое судно водоизмещением восемьдесят тонн первого января 1851 года потерпело крушение в Чартонском заливе. Все утонули. На церковном кладбище установлен памятник.

С 1830-го по 1870-й викарием Лайма был Томас Эмилиус Фредерик Пэрри Ходжес, испытывавший равное отвращение как к кальвинизму, так и к католичеству. Выпускник Нью-колледжа, член Совета колледжа. К нему всегда обращались "доктор". Он "редко общался с дворянским обществом городка" — только с дворянством графства.

1 мая

Из Лондона приехали Шефнер, Джеймс Голдмен[1] с любовницей, Лестер Голдсмит и Том Машлер. Я повез их на Андерхилл-Фарм, там они настояли на прогулке в скалах над морем. Мы спустились от фермы вниз через заросли, потом пошли вдоль Пинхей-Уоррен над заливом, затем вышли на тропу. Все в нарядной одежде. Двигались тяжело, неуклюже, спотыкались, падали; их обжигала крапива (что за чертово растение?), колола ежевика. Это смахивало на садизм. В Шефнере я почуял американский вариант Гая Грина — то же затаенное чувство опасности и нежелание рисковать. Подозреваю, что он ведет осторожную игру. Голдмен — бородатый и доброжелательный, приятный человек, но без стиля и огонька — так, во всяком случае, кажется при первой встрече. Коротышка Лестер Г. похож на мелкую белую сову или жабу, по большей части молчит. Он долго говорил только один раз — с Лос-Анджелесом по каким-то финансовым делам. Вот что удручает в этих "интернациональных" киношниках. Чувствуешь, что их дом — салон реактивного самолета, международная телефонная линия или модный ресторан. Большин-

1. Драматург и сценарист Джеймс Голдмен (1927—1998) — автор сценария к фильму Франклина Шефнера "Николай и Александра" (1971). В 1968-м получил "Оскара" за сценарий к фильму "Лев зимой", поставленному по его пьесе.

ство из них всегда находится где-то в другом месте. Ни Шефнер, ни Голдмен не хотят говорить ни о сценарии, ни о кастинге. У меня такое чувство, что они уже все для себя решили и не хотят спорить со мной или Томом. Последний по-прежнему настроен оптимистически, но он, по-моему, человек наивный.

2 мая

Во всяком случае, это свершилось. Я ездил в Лондон и заверил документы с Голдсмитом в американском посольстве.

4 июля

В доме Денхолма Элиота в Камден-Таун на читке "Последней главы". Мне нравится Элиот, актер до мозга костей, он зло и смешно говорит о своей жизни и профессии. В доме живой беспорядок, нет ничего от ужасающего гламура шоу-бизнеса, необычного декоративного оформления — хотя, полагаю, в наши дни над таким простым решением интерьера тоже надо поломать голову. Дэвид Трингем нашел красивую актрису, Сусанну Пенхелигон, — прекрасные карие глаза и место рождения то, что нужно: она из Корнуолла. Элиот с первого раза читает хорошо, и девушка тоже вполне прилично.

Водка с тоником, затем долгий обед с большим количеством спиртного, все просто замечательно, Элиот сыплет историями из актерской жизни, Дэвид веселится. Элиот только что замечательно сыграл в новой постановке "Гедды", снимается в хорошем телевизионном сериале и сейчас, несомненно, ощущает себя на гребне успеха... нам повезло с ним. Актеры — особенные люди, они живут, словно в прекрасном сне, живут сегодняшним днем, у них нет никаких писательских неврозов; возможно, это от радости, что они могут так блестяще говорить, так прекрасно рассказывать разные истории. И еще у них очень злой язык.

Элиот рассказывал о жалком льстеце Джоне Миллзе — похоже, он вызывает отвращение у всех в шоу-бизнесе.

7 июля

В Шеппертоне смотрим декорации для "Последней главы"; Элиот и Пенхелигон проигрывают совместные сцены. Ненавижу декорации — немедленно нахожу кучу погрешностей в оформлении, впрочем, тут малобюджетный фильм. Дэвид нервничает, Элиот немного скучает, но общие очертания намечаются. Общая атмосфера радостная, непохожая на то, что было на двух моих "больших" фильмах. Шеппертон выглядит печально — он доживает последние дни: земля продана под жилищное строительство.

Все-таки волшебный мир кино очень странный. Костюмерша и гример суетятся возле девушки, примеряют одежду; плотники возятся с декорациями. В этом приятно существовать, но трудно работать.

Вечером "Мясник" Шаброля – красивый, стильный фильм, но pas sérieux[1]. Он всего лишь кондитер.

14 июля

На уик-энд приехали Том и Фей с двумя детьми. Анна оставила работу посудомойки в Бристоле и вернулась к нам на неделю-другую. Потом поедет с Ником в Италию. Т. и Ф., как обычно, очень привередливы; удивительно, но самые большие привереды никогда не видят, как нелепы их претензии. Право, они заслуживают пера Мольера или Конгрива – для сэра Томаса и леди Фей все самое лучшее. Ради справедливости, добавим, что предпочитают они изысканную простоту, а не суетливость; да и вообще такие успешные и физически привлекательные люди могли бы иметь недостатки и похуже. Ханна очаровательна, хотя уже сейчас демонстрирует упрямство отца. Нам не совсем понятно, почему они так тянутся к нам сейчас – в частности, к Элиз. Предполагаем, дело в Фей. Она несколько раз за этот уик-энд плакала. Том обращается с ней, как с трудным автором, но иногда не выдерживает. Похоже, его все больше затягивают спортивные игры – бадминтон, дротики, – даже на пляже ему нужно бросать cailloux[2].

22 июля

"Критика" – американский научный журнал; выпуск посвящен Барту[3] и мне. От трех статей о Фаулзе я пришел в уныние. Меня мало интересует, что думают обо мне люди, не говоря уж о том, что они думают обо мне прежнем. Все книги несут в себе ошибки. Лучше всего их забыть. Конечно, я не могу их забыть. Роман умрет не по "культурным" причинам, а из-за увлеченности самим собой. "Кубики" – лучшее, что я написал, потому что этот роман ближе всего к тому состоянию, в котором я находился[4]. А напечатай я его, он стал бы мне неинтересен, как и все остальные.

Окружающий меня полный интеллектуальный вакуум, что это – проклятье или благословение? Не знаю. Когда Том и

1. Не серьезный (*франц.*).
2. Камешки (*франц.*).
3. Джон Барт (р. 1930) – американский писатель, постмодернист.
4. В течение многих лет Джон Фаулз постоянно переписывал этот автобиографический роман, охватывавший период, когда он преподавал в "Сент-Годрик" в Хемпстеде. Название "Кубики" дано потому, что роман выстроен как бы из мозаичных фрагментов.

Фей гостили у нас, меня поразило, что серьезные (или даже просто остроумные) разговоры исчезли из жизни преуспевающей интеллигенции. Раз или два я забрасывал приманку, но это расценивалось (и думаю, дело тут не в неловкости рыболова), как нечто нелепое, чуть ли не вызывающее раздражение. Опять Джон Фаулз завел свою шарманку. Подозреваю, что это новая, общая черта английской культуры или же развитие старого латентного заболевания. Теперь никто не пишет писем всерьез, никто не говорит — только болтают или сплетничают. Все это перепоручается телевидению, которое никто не смотрит, или книгам, которые никто не читает.

Два дня назад к нам приезжал Ник, друг Анны, и еще два ее приятеля из Бристоля. Я предпочел бы думать, что нагнал на них страх (я хочу сказать, это было бы лучше, чем сознавать, что они так же тупы и ко всему равнодушны, как наше поколение), но как бы то ни было, а только венгр Ник по-настоящему ценит серьезность и ум, но ему, бедняге, мешает дезориентация эмигранта и отсутствие полноценного образования.

Не могу поверить, что люди могут робеть в общении со мной, хотя тому есть странное подтверждение: во время своего пребывания у нас Том, оставшись со мной наедине, спросил с необычной для него застенчивостью, пишу ли я сейчас что-нибудь новое. Нет, ответил я, ничего особенного, всего лишь статью о крикете для спортивного журнала, и пристально посмотрел на него. Это была единственная игра за весь уик-энд, в которую он отказался играть.

Том также сказал мне: в "Букере" недовольны тем, что я не взял 250 фунтов, которые не заработал (разве как мученик), а получил в виде прошлогодней премии. Он советовал пожертвовать их на благотворительность. Я предложил отдать деньги КОЗП (Королевскому обществу защиты птиц). Это приведет их в ярость, с удовольствием сказал Том. Все-таки он меня не понимает.

Еще одно непонимание — из лондонской жизни. Как-то вечером он пришел к нам и объявил, что Комитет Совета по искусствам и литературе, членом которого он является, принял ("почти наверняка") решение создать новое литературно-критическое обозрение. На что я отозвался следующим образом: нужен литературный журнал, а не критический. Дискуссии не возникло; я потерял дар слова. Пытаться помочь литературе, рецензируя на высоком уровне плохие романы, — все равно что помогать хирургии, более подробно рассказывая о неудачных операциях; ведь хирургам по-настоящему надо только иметь возможность учиться и показывать на практике свое мастерство.

Александр Мелихов
Утилизация Чернобыля

Через десять дней после того, как 28 июня 1914 года пламенный националист Гаврило Принцип застрелил эрцгерцога Фердинанда, юный Ричард Олдингтон, отмечая свой день рождения, и не подозревал, что этот выстрел через пятнадцать лет сделает его одним из певцов "потерянного поколения".

Олдингтон менее знаменит, чем Хемингуэй и Ремарк, поскольку не дарит читателю ни любви, которая все превозмогает, ни фронтовой дружбы: герой его "Смерти героя" интеллектуал, далекий и от товарищей по оружию, и от влюбленных в него интеллектуалок, которым кажется, что Джордж примитивизировался в окопах, где он пытался укрыться от разборок с ними же. Джордж и начало войны встретил без энтузиазма, на изображение коего полезно оглянуться нам, самонадеянно внушающим себе, что только мы способны впадать в шовинистический и верноподданнический угар.

"У Букингемского дворца путь преградила огромная толпа, в которую с трех сторон непрерывно вливались новые массы людей. Дворцовые ворота были закрыты, и перед ними выстроился полицейский кордон. Гвардейцы-часовые в красных мундирах и меховых киверах стояли 'вольно' перед своими будками. 'Короля Георга! Короля Георга! – хором выкликала толпа. – Короля Георга!' Спустя несколько минут распахнулось окно, выходящее на средний балкон, и появился король. По площади прокатилось оглушительное 'ура!', и Георг V приветственно поднял руку. Тысячи глоток завопили: 'Хотим вой-ны! Хо-тим вой-ны! Хотим ВОЙ-НЫ!'"

"Мозг одного человека не в силах вместить, память – удержать и перо – описать беспредельное Лицемерие, Ложь и Безумие, вырвавшиеся на простор во всем мире в те четыре года....То была непревзойденная трагическая вершина Викторианского Лицемерия". Олдингтон, как и нам это свойственно, более всего ненавидит глупость и лицемерие тех, кто рядом: типичный выпускник английской школы, по его мнению, на удивление невежественен и патриотичен, – Англия всегда права, а те, кто вступает с ней в конфликт, всегда неправы. Джорджу представляются "истинно британской толстокожестью" обычные "невежество, самоуверенность и самодовольство", эти воистину общечеловеческие ценности. И к чему считаться, кто проявил к ним большее пристрастие! К чему считаться, у кого из пациентов

© Александр Мелихов, 2016

общего сумасшедшего дома психоз протекал в более, а у кого в менее острой форме и у кого хватило и у кого не хватило сил разорвать смирительную рубашку! Главный урок Мировой войны, не закончившейся и по нынешний день, заключается в том, что **военные психозы вовсе не что-то исключительное, но вполне нормальное явление**. Стоит международной напряженности достичь хоть сколько-то опасного градуса, как у каждой из сторон возникает вполне параноидальная убежденность в собственной непогрешимости и еще более в том, что ей противостоят не люди, руководствующиеся такими же интересами, как и она сама, но чудовища, одержимые бескорыстной любовью к злу.

Шпиономанию тоже изобрел не СМЕРШ. "Я и сам еще до вступления в армию дважды был арестован за то, что носил плащ, походил на иностранца, да еще смеялся на улице; в одном батальоне на мне долго тяготело серьезное подозрение, потому что у меня был томик стихов Гейне, и я не скрыл, что побывал когда-то за границей".

И главным помешательством XX века, уверенно перешагнувшим и в XXI, был, повторяю, вовсе не коммунизм, но национализм, убежденный, что у нации есть только права и никаких обязанностей, что это отдельным личностям необходимо упорно трудиться, чтобы в чем-то возвыситься, а **нация изначально совершенна,** нужно только убрать с ее пути внешних и внутренних врагов. Коммунисты, по крайней мере, учили, что для достижения земного рая необходима и материальная база, и воспитание нового человека, а национализму не требуется совсем ничего — только убрать инородческие помехи с его пути.

Собственно, все социальные грезы указывают какой-то путь развития, и только нация уже и так всем хороша, осталось ее только очистить от чужеродных примесей. Короче говоря, националистическая сказка неизмеримо менее требовательна, оттого она и захватила неизмеримо более обширные массы. Сегодня все те, чьи отцы и деды из страха или расчета прислуживали "коричневой чуме", естественно, постарались приравнять ее к "красной заразе", но надо отдавать себе отчет, что **коммунисты сумели прийти к власти только после того, как мировое равновесие было взорвано националистами**. Рвануло на Балканах, но они трудились всюду, нашпиговывали порохом всю "цивилизованную" Европу, просто балканским ребятам повезло больше других. И тем не менее националисты и сегодня, в отличие от дышащих на ладан коммунистов, сильны и, пуще того, респектабельны — пока они борются "за свободу"!

Как будто свобода — самостоятельная ценность... Ценностью является только то, что она порождает, а если борцов за свободу изначально ничего, кроме государственной власти, не интересует, чего от них можно ждать в будущем? Они и будут искать расширения этой власти внутри и вовне. Тем не менее взрывать мировое равновесие им и сегодня отлично дозволяется,

причем виновниками, как и сто лет назад, государства-соперники по-прежнему объявляют не националистов, а друг друга. Как и сто лет назад: "кнут", "казаки", "гунны"...

Гуннами, правда, в тот исторический час были цивилизованнейшие немцы. "Они уверяли, что народ, который многие века славился своей добротой, — это народ палачей, которые только тем и занимаются, что убивают младенцев, насилуют женщин, распинают пленных. Они говорили, что "гунны" — это жалкие, подлые трусы, но не объяснили, почему при нашем огромном численном превосходстве потребовался пятьдесят один месяц, чтобы разбить наконец германскую армию. Они говорили, что сражаются за Свободу во всем мире — и, однако, всюду стало куда меньше свободы".

Роман Олдингтона и заканчивается приказом главнокомандующего союзными армиями маршала Франции Фоша: "спасли свободу всего мира", "потомки вам благодарны", — и это у истоков бесчисленных диктаторских режимов!

"Единственно честными людьми, если таковые существовали, были те, кто говорил: 'Все это гнусное зверство, но мы уважаем зверство и восхищаемся им, и признаем, что мы звери; мы даже гордимся тем, что мы — звери'". Да, после того, что натворили респектабельные господа в смокингах, фашисты в черных и коричневых рубашках, могли не кривя душой заявлять, что они вовсе не призывают к какому-то особенному насилию, но лишь призывают увидеть мир таким, каков он есть. Ведь и Олдингтону более всего ненавистна респектабельная элита. "Добродетельные и дальновидные. Но разве это их вина? Ведь не они развязали мировую войну? Ведь это все Пруссия и прусский милитаризм? О да, еще бы, вы совершенно правы! А кто вывел Пруссию в великие державы, ссужая деньгами Фридриха II, и тем самым подорвал Французскую империю? Англия. Кто поддерживал Пруссию против Австрии, Бисмарка — против Наполеона III? Англия". Впрочем, все это "кое-какие семейные счеты, понимайте так, что я имею в виду викторианцев всех стран".

Это мы тоже должны понимать: **нескончаемую череду кошмаров и "зараз" всех цветов запустили не пресловутые "недоучки", не "ефрейторы" и "семинаристы", а респектабельные господа хороших кровей с дипломами сверхпонтовых университетов в карманах смокингов.** Пламенных недоучек всей Европы ничего не стоило прихлопнуть одной мухобойкой, но респектабельные господа предпочли их использовать друг против друга.

С тех пор "викторианцы" не сделались ни лучше, ни умнее. Разве что аристократизма в верхах стало еще меньше, а жлобства еще больше. Они это называют демократизмом.

Но, может быть, стало больше купеческой расчетливости? Хорошо бы.

* * *

В год печального юбилея "Германской" кто только не кусал локти — с чего было миру ввергнуть себя в кошмары Пер-

вой мировой? (Миром мы, цивилизованные люди, называем исключительно Западную Европу, но в данном случае передовому ядру цивилизации удалось втянуть в кровавую молотилку и огромную часть отсталой периферии.) Нельзя ли было первую колонну повернуть не вправо, а влево, вторую не в гору, а под гору, вместо Тройственного союза заключить Двойственный, заранее оценить поражающую силу отравляющих газов, танков и самолетов, не говоря уже о швейной машинке — пулемете? И так далее без конца.

Но лично мне кажется, что Первой мировой войной были наполеоновские войны, порожденные той же причиной, — взрывом народного восторга, во имя прекрасной сказки разнесшего относительно рациональный государственный порядок. Рациональный не означает хороший: людям их мир всегда кажется скверным, покуда они не знают, с чем его еще придется сравнивать. Но когда взрыв иррациональности разносит рациональные обручи, на волю вырывается энергия более сокрушительная, чем при распаде атомного ядра.

Только первый взрыв вызвала сказка социальная, "Свобода, равенство и братство", скоро, впрочем, присоединившая к себе и национальную: якобинцы стали называть себя патриотами. Второй же взрыв был вызван сказкой национальной, внушавшей самым пылким и наивным (а где массы не наивны?), что без независимого национального государства просто-таки и жить не стоит, зато независимость принесет нечто настолько прекрасное, что не нужно и задумываться о практических планах на будущее. Этим-то романтические массы и опаснее прагматичных или, если хотите, циничных элит. Циники взвешивают приход и расход и всегда готовы отказаться от самых возвышенных решений, если они приводят к убыткам и опасностям. Поэтому циники открыты к компромиссу, невозможному меж романтиков, ведущих борьбу за святыни. (Не была ли мировой войной для тогдашней ойкумены эпоха крестовых походов? Кровавая борьба протестантов с католиками, тоже тридцатилетняя?) Циники беспокоятся за свое спокойное будущее, невозможное в неблагополучной стране, живущей под дамокловыми мечами внутренней смуты и желания соседей подзаработать на слабости конкурента. Поэтому циничный и эгоистичный правитель в кризисные моменты предпочтительнее нерасчетливого и самоотверженного.

А выдвиженцы масс чаще всего именно таковы, поскольку более практичные предпочитают присоединяться к победителю, и особенно опасны интеллектуалы-идеалисты, никогда не отвечавшие ни за одно реальное дело, незнакомые с неодолимой силой законов материального, а значит, и социального мира. И когда в народные вожди выходят герои, готовые рисковать своей, а тем более чужой жизнью почти без шансов на успех, нейтрализовать их может только гибель. Или победа, которая вынудит их заняться нуждами низкой жизни, а стало быть,

тоже превратиться в прагматиков — или сойти со сцены. Революция может перейти к созидательной фазе, только пожрав своих "бешеных".

Когда национальные грезы западных славян при мощной поддержке России взорвали Османскую империю (а надо ли было добивать ее, если это погубило в будущем десятки миллионов? Не разумнее ли было защищать права меньшинств, не разрушая многонационального государства?), сравнительно рациональным великим державам нужно было либо выдать каждой кучке романтиков по собственному государству, либо всем рациональным миром удерживать их в зоне взрыва и ни в коем случае не пытаться использовать "бешеных" в собственных целях. Миром должны править сильные и рациональные, объединившись в Священный Союз против всякого иррационального безумия, как национального, так и религиозного: волка на собак в помощь не зови, сказал бы Солженицын. Если бы это от меня зависело, я бы запретил государствам использовать чужие сказки в своих целях, запретил циникам использовать романтиков как неконвенциональное оружие массового поражения.

Балканский романтический взрыв был подобен Чернобылю, и единственным спасением была бы полная политическая изоляция зараженной зоны. Герои и романтики должны были получить общий сигнал рационального мира: не рассчитывайте найти поддержку ни в ком из нас, — сколько бы мы ни пакостили друг другу, против вас мы едины.

Однако Священным Союзом сильных и рациональных не пахнет и до сих пор. Среди великих держав не видно ни малейшей готовности объединиться перед романтическими взрывами Ближнего Востока, ну, а о том, что слишком близко, мы лучше помолчим.

А просто сформулируем универсальное правило техники безопасности: если где-то обнаружен очаг веры в скорое светлое будущее, нужно немедленно оцеплять его международными санитарными кордонами — это источник заразы, цвет которой наверняка выяснится в скором будущем, ибо верить в какое-то светлое будущее, в какое-то совершенство в нашем трагическом мире могут только психотики. Они-то и начинают идеологические войны.

Я не хочу спорить, какая зараза натворила больше ужасов — красная или коричневая (миллионы жертв на счету и у той, и у другой), но я все же прошу уяснить, что, как выразился генерал Деникин, большевики были только червями, которые завелись в ранах трупа, а трупом Россию сделала война, развязанная националистами. Всеми сразу.

Я говорю о Европе, но подозреваю, и в Азии дорогу красной заразе проложили национально-освободительные движения. А потому они требуют гораздо более строгой профилактики.

Четыре эссе

Контент и его носители[1]

Давным-давно, еще на заре интернета, когда я работал на радио "Свобода" в Праге, мы с моим коллегой Александром Генисом поспорили в эфире о будущем искусства чтения, а попутно и письма, в эпоху персональных компьютеров и всемирной паутины. С тех пор история нас отчасти рассудила: мы оба оказались неправы, хотя я, как ни прискорбно это признавать, — в большей степени.

Содержание разговора было вкратце таково. Генис утверждал, что чтение с компьютерного экрана имеет большое будущее, и особый интерес у него вызывал возникший тогда новый способ художественного письма, специально приспособленный для чтения в браузере: сюжеты с ответвлениями по гиперссылкам, где можно наугад выбирать и дальнейший ход действия, и развязку. Он даже приводил имена некоторых авторов, чьи произведения я объективности ради просмотрел, но особого энтузиазма они у меня не вызвали. А с тех пор я довольно регулярно читаю книжные рецензии и вижу, что эта гиперлитература особенно высоко не взлетела.

Что касается меня в этом споре, я выступил ретроградом и утверждал, что чтение с монитора (то есть увесистого растрового чемодана образца второй половины 90-х) совершенно непрактично, утомляет глаза и годится только для коротких новостных сюжетов, а обещания цифровых чернил и электронной бумаги вилами по воде писаны. О том, насколько я посрамлен, распространяться излишне, но самое комичное в этой истории то, что уже вскоре после этой дискуссии я приобрел себе Palm Pilot, один из первых примитивных карманных компьютеров, с экраном болотного цвета и буквами из какого-нибудь десятка пикселей, и стал пытаться читать с него. А с тех пор уже не оглядываюсь и всегда предпочту электронную версию бумажной, если есть выбор.

Вспомнил же я эту давнюю историю потому, что прочитал в статье прозаика Пола Ла Фарджа о том, что открытый в те времена Генисом жанр не умер, хотя сегодня он числится скорее в категории игр, а не литературы. Но это не главная тема статьи, она — об эволюции чтения и о тщете нынешних сетований на то, что электроника отучает нас воспринимать длинные тексты и вообще отупляет — имеются в

© Алексей Цветков, 2016

1. Совместно с сайтом inLiberty.ru

виду в первую очередь идеи известного критика интернета Николаса Карра.

Эволюция, конечно же, никак не предназначала нас для чтения, она всего лишь слепая сила, лишенная предвидения. Чтение мы изобрели сами и на протяжении всей истории грамотности меняли не только носители, но и сам способ восприятия информации, так что ничего канонического в бумажной книге нет. В периоды серьезных перемен всегда находились ворчуны, сетовавшие на утрату замечательных навыков, связанных с той или иной технологией, и наиболее радикальным был Сократ, который ополчался на письменность как таковую в связи с тем, что она якобы вредна для человеческой памяти. Сократ был человеком последовательным и ничего за всю жизнь не написал, вся его философия была сугубо устной.

Римляне не знали пунктуации, но, по крайней мере, разделяли слова — точками по центру интервала. К концу II века н. э. они почему-то забросили эту практику и стали писать сплошной строкой, а интервалы стали возвращаться лишь в Средние века. Читали в те времена непременно вслух, и в IV веке н. э. Августин упоминал о своем наставнике, миланском епископе Амвросии, как о редчайшем исключении: "Когда [он] читал, его глаза скользили по странице, а сердце выискивало смысл, но его голос безмолвствовал, а язык был неподвижен". Но общей практикой немое чтение стало лишь на излете Средневековья — Ла Фардж считает, что это коренным образом изменило эффективность процесса и способствовало обострению читательского внимания. Это, конечно, всего лишь догадка, но каждый может испытать на себе: чтение вслух оттягивает внимание со смысла на звук.

Ла Фардж приводит мнение немецкого историка Рольфа Энгельзинга, согласно которому следующая важнейшая перемена в способе чтения не совпала с эпохой Гутенберга, а произошла ближе к концу XVIII столетия, когда концентрация контента стала критической, и, вместо того чтобы перечитывать одно и то же, например Библию, многие стали читать непрерывно, переходя от одного источника информации к другому. Это было первым сигналом о перенасыщении информацией, на что жалуются сегодня критики интернета вроде Карра. А с началом выпуска газет крупными тиражами, рассчитанными на массового читателя, критики, причисляющие себя к элите, ополчились на немытые толпы, поглощающие бульварную информацию.

Ссылаясь на некоторые недавние исследования, Ла Фардж переворачивает тезис Карра с головы на ноги, утверждая, что мы вовсе не иссушаем себе мозг сетевой информацией, а, напротив, приспосабливаем сеть к собственным потребностям. Гиперссылки в тексте на самом деле улучшают усвоение школьниками материала. И хотя новости мы пробегаем наискосок, но, если дать школьникам специальное задание читать внимательно, усвоение содержания ничуть не хуже, чем с бумаги.

Впрочем, это лишь часть стремительной эволюции всех средств массовой информации, за которой нынешним элитарным ретроградам просто не поспеть. Кризис бумажной прессы замечен давно, и число газет в Соединенных Штатах резко сокращается под давлением интернета. Даже реформаторы порой продвигаются в будущее несколько задом: сетевой портал газеты "New York Times" — имитация макета бумажной первой полосы, где расположение новости дает представление о том значении, которое ей приписывает редакция, хотя на самом деле это, конечно, дань ностальгии по бумаге: с реальной первой полосы мы чтение начинали, а здесь только заголовок с парой предложений, по которому надо щелкнуть.

А вот пример уже совершенно молниеносной эволюции жанра, возникшего фактически вчера и уже клонящегося к закату. Электронная почта, ставшая по-настоящему массовой к концу 90-х, выросла на костях тысячелетней традиции личной переписки, последние годы которой я еще застал. Мы успели ее полюбить, а затем и возненавидеть за обилие спама. И вот теперь, когда спам фактически побежден, этот способ коммуникации, судя по всему, выходит из употребления, хотя еще удерживает позиции в корпоративном мире. Электронная почта была открытой системой, в которой, зная адрес, любой мог написать любому, хоть кошка — королю. Сегодня значительная часть аудитории, особенно молодежь, уходит в изолированные группы вроде Snapchat или Instagram, а Facebook, где уже можно общаться визуально и передавать друг другу деньги, обещает в самом ближайшем будущем вывести из употребления телефонные номера. Тут даже не знаешь, что и с какой стороны начать критиковать — все равно не успеешь развить мысль. Бывают дни, когда сам я попросту забываю проверить электронную почту: не так давно приобретенный рефлекс начинает отмирать.

Список потерь и находок будет неполным, если мы упустим из виду электронные способы вещания, развившиеся в XX веке. В свое время, когда стало распространяться коммерческое телевидение, многие предсказывали угасание радио, но оно никуда не делось, хотя отчасти и переселилось в интернет. А вот телевидение, которому пророчили неизбежную победу, явно сдает позиции. Недавно стало известно, что новостной канал "Al Jazeera America", созданный менее трех лет назад и успевший себя зарекомендовать как один из лучших в этом жанре в США, в апреле закроется, поскольку не может себе наладить рентабельное существование. И проблема не только у новостей — многие начинают вообще отказываться от подписки на наборы кабельных каналов, предпочитая сетевые службы вроде "Netflix", "Amazon" или "Hulu Plus", где вместо готовых программ каждый составляет себе свою, по вкусу, и эти службы постепенно становятся не только перекуп-

щиками контента, но и его производителями.

Даже с учетом опыта и понимания вредности поспешных выводов, полученных хотя бы в споре с Генисом, нельзя удержаться от некоторого злорадства в связи с явной победой интернета над фиксированными электронными каналами. И радио, и телевидение в их традиционном виде обладают свойством навязчивости. Это хорошо понимали тоталитарные пропагандисты, вполне себе пионеры технологии. В нацистской Германии был очень быстро налажен выпуск крайне дешевых радиоприемников с намеренно узким диапазоном и слабой чувствительностью. Такой приемник, "Volksempfänger", был в то время практически в каждом немецком доме, в результате чего Германия опередила по радиофикации все ведущие страны Запада, включая США, и геббельсовская пропаганда проникала в мозги граждан с минимальными препятствиями. А потом этот опыт быстро переняло советское вещание с его вездесущими радиоточками, которые хрипели в каждой квартире все мое детство, а в некоторых местах принудительного содержания вообще редко выключались. Сегодня эстафету у радиоточек переняло путинское телевидение — его повышенный наркотический эффект даже снимает нужду в принудительности.

Интернет, однако, лишен этого свойства, здесь нет фиксированных каналов, и щелчок мыши моментально уносит вас за пределы любой площадки, отведенной властью для прогулки заключенных. Хуже того, он давно стал интерактивным, и даже титанические усилия коммунистической партии Китая по возведению электронных заборов не в силах зажать гражданам рты. Что касается критиков, то пусть критикуют, коль скоро каждый из нас имеет возможность им ответить.

Г*лядя вниз*[1]

В феврале исполнится сорок лет с тех пор, как я приземлился в Соединенных Штатах. А поскольку шансы отметить полувековой юбилей представляются с нынешних позиций расплывчатыми, хочется подвести некоторые предварительные итоги.

Тут как раз входит в обычай давать советы начинающим эмигрантам, и хочу заранее предупредить, чтобы моих всерьез не принимали. Слишком уж я непредставителен, да и никто из дающих публично подобные советы не отражает опыта сколько-нибудь существенной популяции. За таким опытом надо обращаться к людям, хранящим молчание, потому что их-то как раз никто не спрашивает. Только в Соединенные Штаты за последние десятилетия выехали из СССР и России сотни тысяч, большинство из которых растворились без следа в местном населении, я встречал даже подзабывших родной язык, и это, пожалуй, наиболее типичная и

1. Совместно с радио "Свобода".

оптимальная судьба переселенца. А вот у исключений всегда есть что сказать, но это как раз самые ненадежные рассказчики, вроде толстовского Холстомера, — всегда надо делать сильную скидку на личные обстоятельства и ячейку в классификации Линнея.

В недавних интервью ветеранов эмиграции, на которых я натолкнулся в интернете, патетические ноты преобладают. Скульптор Эрнст Неизвестный сравнивает эмиграцию с адом, писательница Дина Рубина пишет (правда фигурально) про "кишки на асфальте". Но все, конечно, зависит от направления движения между социальными слоями, и эмиграция для большинства — непременный дауншифтинг, хотя бы из-за ампутации языка. Ничего подобного в моем случае не было. Я уезжал после года в отказе совершенно деклассированным элементом, с некоторым набором незаконченных высших образований, с приличным английским, но без дома, профессии и репутации. При этом был полон энтузиазма: если все дороги с вершины ведут вниз, то ведь из котлована должны идти обратно.

Репутация, если только она не связана с легко конвертируемой гарантией вроде Нобелевской премии по физике, — худший груз, который можно взять с собой в такую дорогу, она моментально обнуляется или теряет девяносто процентов от стоимости. В первые годы в Америке я повидал немало случаев, когда люди сидели на руинах таких репутаций и теребили владеющих английским с просьбой написать заявку на грант. Заявки худо-бедно составляли, а затем сидели в нервном и бесплодном ожидании. Моя первая работа была вахтером в многоквартирном здании, а затем дворником в нью-йоркском предместье, и особых огорчений мне это не принесло, если принять во внимание, что последними ступенями карьеры на родине были место рабочего сцены, а потом сторожа на стройке.

Дворницкая служба, впрочем, даром не пропала, хотя в основном я шугал метлой енотов на территории и мыл лестничные пролеты. Вначале я обнаружил выброшенный, но вполне пригодный к эксплуатации радиоприемник, по которому следил за ходом израильской операции по освобождению заложников в Энтеббе, а затем нашел обвязанный шпагатом годовой комплект номеров журнала "Time" и принялся осваивать особенности местного быта и политики.

С этой политикой нам было в ту пору трудно. Никто понятия не имел, что она собой представляет, а воображали мы ее по контрасту с собственной: где у нас плохо, там у них хорошо, то есть везде. И хотя жизнь оказалась не столь простой, и никто не бежал нам навстречу набивать наши карманы деньгами, почти все автоматически рванулись на крайний правый фланг: там Советский Союз не любили, а левее допускали нюансы, которых мы допускать не хотели. И даже те, кто приехал просто ради улучшения материального состояния, пусть с трудом, но вспоминали годы своей борь-

бы в антисоветском подполье. И еще я помню разговоры на известную тему: вот, дескать, в Южной Африке их умеют держать в руках — и я с удивлением ловил себя иногда на том, что машинально киваю. Вот за то, что я от этого машинального кивания избавился, Америке особенное спасибо.

А собственно сами итоги — где они? У меня уже не было другой, эталонной, жизни, с которой можно было сравнить американскую, и я прожил ту, которая была, не нуждаясь в таких экстремальных метафорах, как ад или кишки на асфальте. Была аспирантура — может быть, лучшие годы того, что еще с натяжкой можно было назвать молодостью, потому что, наконец, учился чему хотел, а не пресловутым общественным дисциплинам. Была недолгая профессорская карьера, которой на смену пришла радиожурналистика — на "Голосе Америки" и на "Свободе". Я никогда не думал об этой жизни как о некоем восхождении на вершину, и поэтому становится немного не по себе, когда, оглядываясь, понимаешь, что смотришь вниз, пусть и не с Эвереста.

Я, наверное, мог бы раствориться в этом новом мире, хотя бы потому, что не имел большой надежды на гранты и прилично владел английским, но я к тому же не имел и человеческой профессии, а естественные склонности и российские события привели туда, куда привели, и эмиграция в конечном счете получилась — ну, паллиативной, что ли. Но я очень хорошо помню свое ощущение после первого за много лет визита в СССР, когда, пережив душераздирающую встречу с друзьями и родными, я наконец оказался в вашингтонском аэропорту Далеса и вдруг понял: я дома.

Квинс и окрестности[1]

Есть две оптимальные точки обзора, с которых начинается антропология города: это лифт и ближайший супермаркет, потому что в повседневной жизни их не обойти, и они возникают на пути куда чаще, чем, скажем, смерть и налоги, о неизбежности которых писали еще Даниэль Дефо и Бенджамен Франклин. Ну и еще, конечно, прачечная в подвале.

В лифте я обычно отмечаю языки, на которых говорят жильцы, они делятся на понятные (хотя бы в том смысле, что это за язык) и непонятные. Есть семья ортодоксальных евреев, и они говорят по-русски — по субботам я часто встречаю их явно на пути домой из синагоги, во всем парадном. Есть молодая симпатичная пара с маленькой девочкой, которую я поначалу принял было за китайскую, пока вдруг не расслышал, что они тоже говорят по-русски, теперь мы всегда здороваемся, но у меня не достает смелости спросить, откуда они родом — есть подозрение, что это корейцы из бывших советских. На собственном этаже я

1. Совместно с радио "Свобода".

знаю еще явных ирландцев, которых расшифровал по крестам на лбах в Пепельную среду. Есть еще польская семья и целый клан албанцев, оккупирующих прачечную на сутки, а дальше уже начинается глубокая Азия, где мои лингвистические познания пасуют. Ну и, конечно, ни единого так называемого англосакса, которыми, по распространенному в России поверью, населена наша страна. Вавилон — это мы.

В супермаркете весь персонал общается между собой исключительно по-испански, и это типично для всего сектора обслуживания в Нью-Йорке, хотя есть особые нишевые отрасли: так, например, большинство табачных лавочек принадлежит пакистанцам. Всех сотрудников магазина я давно знаю в лицо, но с некоторых пор лица начали меняться — ежедневное стояние у кассы трудно назвать перспективной карьерой, люди ищут альтернатив. На стометровке, ведущей к супермаркету — тележка с халяльной шаурмой, два банка, винный магазин, таиландский ресторан, бар с огромным плазменным телеэкраном, две аптеки, конторы "Federal Express" и налоговых консультантов и два табачных магазина с упомянутыми пакистанцами. Мы тут, в Квинсе, курим гораздо чаще, чем они у себя в Манхэттене.

А если пойти в другую сторону все по тому же бульвару, разрезающему Квинс надвое, там картина печальнее: здание окружного суда с прилегающими к нему сопутствующими службами вроде мелких адвокатских контор, выдачи залоговых ссуд, а также магазина с полицейской утварью. В соседнем с моим доме расположен офис окружного прокурора, и я постоянно вижу, как к нему подвозят клиентуру в наручниках. Чуть дальше — больница, а вот похоронное бюро почему-то как раз в более оптимистической стороне.

У Квинса в городе несколько иная функция, чем у Манхэттена с его очагами мировой культуры и бизнеса или у дышащего ему в затылок Бруклина с его музеем искусств мирового класса и замечательным концертным залом "BAM". У нас вроде тоже где-то есть музей, но он звезд с неба не хватает, и районные библиотеки, конечно, но этим культура в целом исчерпывается, район у нас спальный. И при этом он, пожалуй, самый иммигрантский в городе, в котором и без того 3 миллиона человек родились за пределами США, а 49 процентов в кругу семьи пользуются языком, отличным от английского.

В этом смысле моя собственная округа с ее лингвистической и расовой неразберихой не совсем типична, хотя именно за это я ее и предпочитаю. Многие недавние иммигранты предпочитают селиться в более или менее компактных этнических анклавах, ближайший из которых неофициально прозван Бухарестом — живут там, однако, не румыны, а бухарские евреи, а раньше селилась сплошная русскоязычная масса, и там же жил Сергей Довлатов, в честь которого теперь назван один из перекрестков. Еще даль-

ше — район Флашинг с собственным Китай-городом, куда больше того, который в Манхэттене, Джексон-Хайтс с "маленьким Египтом" и греческая Астория.

В каком-то смысле Квинс — иллюстрация трамплина в "американскую мечту", термин тут без иронии, поскольку ясно, что все эти люди сменили собственную страну на чужую в расчете поправить свои обстоятельства. Дома вдоль бульвара — этажей до двадцати, многоквартирные, некоторые вполне роскошные, но в основном приличные, хотя есть кварталы и похуже. Чуть дальше от бульвара — в основном частные, с двориками и гаражами, а это роскошь, недоступная даже вполне состоятельным манхэттенцам. Надо полагать, что их владельцы в какой-то мере своей цели достигли.

Впрочем, явно не все, и примеры я вижу ежедневно в супермаркете. Никаких особых деликатесов там не продают, и все же трудно не заметить, как люди выбирают между тем и этим, беря одно и откладывая другое, которое им явно не по средствам. Многие платят в кассе карточками продовольственного пособия, некоторым в последнюю минуту не хватает денег, и привыкшим ко всему кассирам приходится пересчитывать. Некоторые из бизнесов и лавочек в нашей сравнительно благополучной округе закрываются чуть ли через пару недель после открытия — людям явно не хватило начального капитала, а банки в долг не дают. Бессменны только нищие, годами каждый на своем посту.

И это не стандартный кивок в сторону "неприглядной изнанки мира чистогана", жизнь ощутимо становится труднее — последние статистические данные подтверждают не только растущую резкость имущественного расслоения в стране, но и снижение, в абсолютных цифрах, достатка низшего слоя среднего класса, того самого, в котором стремятся закрепиться прибывшие сюда заморские уроженцы. Квинс на всем протяжении своего бульвара — индикатор пульса всей страны, ворота, преодолеть которые удается не всем, и тогда приходится селиться на обочине. Мой собственный дом — такой же индикатор в миниатюре, он не из тех, где прочно обосновываются или, напротив, оказываются в тупике. Поэтому жильцы часто меняются, одни съезжают, другие вселяются, все как в жизни, и поди пойми, кто отправляется в сторону надежды, а кто — в обратном направлении. Только я, с моим антропологическим интересом, ощущаю себя константой, но и это — иллюзия.

Никаких *расставаний*[1]

На одном из углов перекрестка этих трех улиц работает круглосуточное кафе — стандартной

1. Совместно с сайтом inLiberty.ru

нарезки панини с мозаикой из шпината и сыра, бейгелы с семгой, горы сдобы, витрина с пирожными. Три смены персонала в сутки, но у посетителей тоже свой график. За дальним круглым столиком с утра всегда сидят греки и ведут знойную левантийскую беседу — их постоянно трое, но в разных наборах, и, когда приходит кто-нибудь новый, один из предыдущих вспоминает о чем-то неотложном и хватает со стола свою греческую кепку, такая вот хореография. Старик с номером "New York Times" приходит утром и сидит часами за стойкой у окна во всю стену, ковыряясь в финансовой секции и наблюдая, как дует ветер. А вот зашли трое низкорослых мужчин примерно юго-восточно-азиатского вида, один просто коротышка. Допустим, кхмеры. И хотя кафе совсем пустое, им почему-то нужно именно к той же стойке, где уже сидит газетный читатель. Двое с трудом втискиваются, игнорируя жалобу старика, а маленькому места уже нет, и он садится сзади, с пылким восторгом следя за непрозрачным извне дискурсом товарищей.

Так просыпается Вавилонская башня. Дело даже не в чересполосице языков и рас, она в этой стране не исключение, а норма, но здесь нет доминирующего языка — "титульного", если воспользоваться термином уязвленных и потерявших веру в себя. Английский служит многим лишь для наведения межкультурных мостов и смазки подшипников бизнеса, он исполняет примерно ту же функцию, что в интернете или на научной конференции, хотя ничего научного в нью-йоркском утре нет, оно скорее праздничное.

По-английски говорят, например, в банке, хотя в некоторых районах начинают по умолчанию с испанского. Банковского консультанта, который пытается сагитировать меня на открытие пенсионного плана, зовут Кармайн — на самом деле Кармине — это традиционное сицилийское имя, итальянцы за свои держатся, а вот у местных русских детей почти никогда не называют Вася или Даша. Русские на удивление быстро ассимилируются — подмывает подвести философскую базу, но, скорее всего, причина проста. У русских семейный круг, как правило, уже, чем у итальянцев или греков, любовь к троюродным дядьям утратила былой градус, и от этого меньше тяга к паломничеству на родные пепелища. Такая семья пересекает океан в полном составе, и, когда вымирает поколение бабки и деда, неукротимых читателей "Нового русского слова", исторические корни отмирают.

Одна моя старинная подруга отправилась в Польшу отвоевать права на отцовскую ферму, в Польше коллективизации никогда не было. Не затем отправилась, чтобы перейти в фермерское достоинство и потребовать субсидий от Евросоюза, а ради вот этих исторических корней. Но не тут-то было, родственники затаскали по судам. Наши троюродные дядья любят нас не больше, чем мы их.

Соединенные Штаты — минималистская нация. Помимо

флага и конституции, с которыми худо-бедно знакомишься в процессе натурализации, есть две национальные святыни, два патриотических алтаря, и они реально исторические, а не фильмы Эйзенштейна с музыкой Прокофьева.

Это, конечно, революция, которую за пределами страны упорно именуют войной за независимость. Трудно сказать, заговор это или стихийно сложившийся кругосветный обычай, войн за независимость можно насчитать дюжины, а вот революционный элемент для американцев очень важен, потому что это было свержение монархии, которую жители колоний считали деспотической, и установление первой в мире республики с письменной конституцией, на сегодняшний день самой старой.

Но главным историческим эпизодом, настоящим рождением нации из крови и пороха, стала гражданская война, унесшая неслыханные до Первой мировой 600 тысяч жизней. Только что США отметили двухсотлетие Авраама Линкольна, президента, статус которого в национальном сознании затмил даже основателя Джорджа Вашингтона. Из книг, посвященных Линкольну, можно составить библиотеку, и к юбилею вышло еще несколько. В войне Линкольн был поистине беспощаден, полагая, что развал союза штатов будет катастрофой — именно сохранение союза, а не борьба за отмену рабства, было главной пружиной войны.

И, однако, несмотря на всю эту кровь, Линкольн удивительно человечен в сравнении с другими политиками похожего масштаба и биографии, потому что в нем очевидна искренняя боль, но нет ни капли позы. От него осталось множество документов, изученных до любой завитушки почерка, и он никогда не позволяет себе вступать в переговоры с историей, разве что по поводу своей личной ответственности.

У этого сына нищего фермера, юриста без образования, мессии без капли харизмы нет, как мне кажется, реальных параллелей в истории, и американцы не устают восхищаться его меланхолической самобытностью. Если отвлечься от всех личных деталей, его, наверное, можно сравнить с Августом — обоим удалось заново выковать великую страну почти из обломков. Но в Августе не нащупать никакой человеческой боли, а кровь он проливал морями, без угрызений. Он даже стихи писал, а у политиков это обычно симптом острого дефицита совести.

Значат ли что-нибудь Линкольн, Грант, мясорубка у Энтайтэма или "геттисбургское обращение" для посетителей кафе у метро Кью-Гарденс в Квинсе, для греков, кхмеров и, скажем, албанцев? Старик с "New York Times" наверняка что-то обо всем этом слышал, но он тут в меньшинстве, заперт новоприбывшими в угол. Лет двадцать назад известный прозаик и эссеист Гор Видал громогласно возмущался невежеством и безразличием эмигрантского нашествия, размывающего американскую исто-

рическую память, а сегодня это возмущение приобретает материальные черты, становясь стеной вдоль южной границы и отрядами ополченцев в приграничной пустыне, отлавливающих нарушителей. Но мне кажется, что лучший памятник Линкольну — это не сотни книг о нем, в том числе из-под пера самого Видала, и уж тем более не стена, а страна, которая через полтора столетия после того, как он ее уберег от распада и заплатил за это собственной жизнью, остается универсальным магнитом, и как бы ни склоняли сегодня ее репутацию, те же люди, которые в одном из опросов именуют США худшей угрозой миру, в другом изъявляют готовность туда эмигрировать.

В каком-то смысле с нью-йоркцев спрос даже меньше, чем с остальных, потому что Нью-Йорк — это портал страны, через который уже не первое столетие приезжают сюда испугавшие потомка отцов-пилигримов новые американцы, и часть их здесь же и оседает, зачарованная могучим пульсом города. Так когда-то было и со мной, и я, в середине 70-х, застал Нью-Йорк раненым, балансирующим на грани коллапса и банкротства. Но он выжил, а я вернулся.

Жизнь, если оглянуться на нее из эпилога, имеет сюжет, она состоит из встреч и расставаний, и сюжет этот в каком-то смысле детективный, потому что о развязке гадаешь до последней страницы. Может быть, меня испортил опыт литературного труда, поэтому я всегда норовлю этот сюжет отредактировать, хотя развязка мне известна не больше, чем другим, — вернее, известна, как и всем другим, но не имеет художественной ценности. Встречи нравятся мне куда больше расставаний, но всегда выходит так, что, для того чтобы встретиться с одним, расстаешься с тремя прежними. И уже все меньше шансов подобрать все эти съехавшие петли.

Для того чтобы вернуться в Нью-Йорк, надо проститься со всеми остальными, в которых жил раньше — Сан-Франциско, Мюнхеном, Запорожьем, Прагой, Энн-Арбором, Вашингтоном. Был один город на свете, который я любил сильнее Нью-Йорка. Но там теперь живет все больше иммигрантов с ампутированной памятью — и нет, я не таджиков имею в виду.

Старик, читавший газету, уходит, и у кхмеров теперь в распоряжении вся стойка, но они совершенно не собираются ее занимать, в тесноте им, похоже, лучше, и маленький по-прежнему сидит за плечами тех, что повыше. Мне не тесно, но тоже надо бы уходить, я, может быть, съезжу и взгляну на Западную 46-ю, где стоял давно снесенный дом, в котором я впервые поселился в середине семидесятых с угрюмым альтистом на пару и санузлом на лестнице. Там бушевали пожары не слабее, чем нынче в Австралии, и по вечерам мы с альтистом слушали вой сирен, глядели на пролетающие искры и гадали, которая наша и сколько пожаров эквивалентно одному переезду. Теперь есть, по крайней

мере, надежда, что время переездов подошло к концу.

Китайцы говорят, что, если долго сидеть у реки, мимо проплывет труп врага, хотя существуют, надо полагать, и не такие злые китайцы. У меня запросы проще. Если долго жить в Нью-Йорке, обязательно нагрянут друзья — местные или приедут, где бы ни жили. Теперь только встречи и никаких расставаний. Если нельзя всех собрать в одно место, то надо самому выбрать себе такое место, где постепенно собираются все.

Елена Огнева

“Скрипка, рядом с которой ходит несчастье”

Жауме Кабре *Я исповедуюсь* / Пер. с каталанского Е. Гущиной, А. Уржумцевой, М. Абрамовой. — М.: Иностранка, 2015. — 732 с.

Знакомство с одним из последних романов современного каталонского прозаика Жауме Кабре (р. 1947) не оставит равнодушными ценителей так называемого интеллектуального бестселлера. Хотя это понятие представляется сегодня достаточно размытым, охватывающим произведения, весьма различные как по своим художественным достоинствам, так и по глубине поставленных проблем. Тем не менее своего рода общими знаменателями для них являются напряженная интрига, занимательная фабула и апелляция к “культурному багажу” читателя. Всем этим условиям книга Жауме Кабре в полной мере соответствует, но ими не исчерпывается. Как не исчерпывается детективными аспектами жанровая природа этого романа.

Кто и за что обезглавил барселонского антиквара и коллекционера Феликса Ардевола? Кто похищал, отнимал, вымогал на протяжении двух веков скрипку Сториони, хранящуюся теперь в его сейфе? Почему на ней несмываемое кровавое пятно? Какая череда преступлений связывает “скрипку, рядом с которой ходит несчастье”, со старинным медальоном, картиной, изображающей монастырь в горах, и антикварной рукописью? Может быть скрипка, получившая имя “Виал” — имя первого завладевшего ею убийцы — по некоему инфернальному замыслу “запрограммирована” на то, чтобы приносить зло, коль скоро даже история дерева, из которого она сделана, связана с убий-

ством, и убийцей стал изготовивший ее мастер? Так детективная, "мистическая" и историческая линии романа сливаются и переплетаются, образуя завораживающий текст, богатый культурно-историческими реминисценциями и аллюзиями.

В литературе Испании за последние годы "Я исповедуюсь" стал не единственным романом об "инфернальной скрипке". Достаточно вспомнить "Скрипку дьявола" Иозефа Гелинека (псевдоним Максимо Прадера, 2009; рус. перев. 2012). Писатель, музыковед и журналист, Гелинек "обучает, развлекая", его остросюжетные детективы сплавлены со своеобразными "пособиями" по истории музыки и являются "фантазиями на тему". Книга Жауме Кабре намного сложнее по замыслу и исполнению.

Исповедь, первым словам которой роман обязан своим заглавием, в строгом смысле слова так и не произносится Адриа Ардеволом, сыном убитого антиквара. Он обдумывает ее, пишет от руки зелеными чернилами и передает душеприказчику, другу всей жизни, Бернату Пленсе, скрипачу и писателю. А на обороте этих листов, черными чернилами набросан черновик текста философского труда, так и не дописанного. Это размышления о природе зла, которые историк культуры Ардевол, угасающий в психиатрическом отделении, просит не принимать в расчет. И действительно, этот ученый труд в романе не цитируется. Но незримо присутствует, словно "просвечивая" с изнанки рукописи, становясь ее угадываемым фоном.

Таким образом "исповедь" (неканоническая, скорее напоминающая фрагментарную автобиографию) превращается в своеобразный палимпсест. О чем бы ни шла речь – будь то родительский диктат, расписывающий каждый шаг маленького Адриа, подслушанные и угаданные драмы старших, "измена" музыке с философией, разыскания в связи с полученным наследством или утрата/обретение великой любви, союз с художницей Сарой Волтес, – все проверяется этим "размышлением о проблеме зла". Оно словно пишется самой жизнью Адриа Ардевола, где каждый эпизод явно или скрытно связан с человеческим выбором.

Эта жизнь поневоле воспринимается как глава многовековой зловещей истории. Глубочайшая эрудиция и поэтическая фантазия Адриа, вундеркинда, обреченного на затворничество в мрачной барселонской квартире, полной загадочных раритетов, помогает разматывать клубок фактов, уводящих в глубь времен, в XIV век, в Жирону, где свершится первое из череды злодеяний. Великий инквизитор фра Николау Эймерик отправляет на костер неповинного иудея Жузепа Щарома, Секретарь инквизитора фра Микел не повинуется его преосвященству и отказывается вырезать у обреченного на казнь иудея язык... Непокорного монаха находит и убивает во дворе обители посланец фра Николау... Спустя века, в роще, что вырастет из семян,

оставшихся в кармане у убитого монаха, появятся клены, чья древесина даст божественное звучание роковой скрипке. Той самой, что будет носить имя Гийома Франсуа Виала, племянника французского скрипача Леклера. По легенде, Виал убил своего дядюшку, чтобы завладеть скрипкой, и брызги крови старого музыканта навсегда остались на деревянной поверхности инструмента...

Желание "завладеть", "обладать" предметом искусства становится еще одним из многих ликов зла, выносимых на суд в романе Кабре, дополняя устрашающий список, который начинался образами фанатизма, похоти, гордыни, мстительности, зависти. В этом смысле "Я исповедуюсь" читается в едином контексте с двумя культовыми романами последних лет – "Обладать" Антонии Байетт (1990, рус. перев. 2012) и "Щеглом" Донны Тартт (2013, рус. перев. 2014). Быть способным что-то *оценить* не оправдывает жажду *обладать*, если речь идет о произведении искусства. Кабре показывает это, предельно усложняя "палимпсест" как способ повествования в своем романе.

На историю Адриа Ардевола и его отца-коллекционера "накладываются" история и предыстория "Виала". Читатель словно оказывается на перекрестках времен: слова, сказанные в XIV веке, повторяются в схожих ситуациях в будущем, вплоть до века XX, и вызывают сходные последствия. Так, приказы Великого инквизитора будут созвучны тем, что произнесет неправый и равнодушный "почтенный кади" в арабской Аль-Хисве, обрекая на казнь красавицу Аммани, и тем приказам, что прозвучат как приговоры пленным в Освенциме. История повторяется? Зло всевластно?

Эти вопросы не устает задавать главный герой романа Кабре на тех листах, что нам не дано прочесть, и на тех, что написаны зелеными чернилами, которые он в разговоре с другом назвал "моя жизнь и прочие придумки". Скрипка "Виал" сама по себе, конечно, не есть зло. Она, скорее, приобретает черты Искушения: может завладеть человеком, который думает, что скрипка принадлежит ему – а может и не суметь, как в случае с Нетье де Бук и Бертой Альпаэртс. Или Сарой Волтес, призывающей Адриа отдать "Виал" наследникам законного владельца. Уклоняясь от важного решения, оттягивая его, Адриа включает свою жизнь в старинную цепочку причин и следствий, которые приводят к трагедии, казалось бы, никак не связанной с историей злосчастной скрипки – к смерти любимой. Поэтому в перекличку голосов из прошлого, отдающих роковые приказы, творящих неправое дело, начинает вплетаться и голос самого Адриа Ардевола.

Роман построен так, что исповедь постепенно теряющего память и разум героя может интерпретироваться поразному. Аналогии истории и современности могут восприниматься как капризы смятенного сознания старика, в которых его жизнь, выбор и потери ассоциируются с "жизнью"

скрипки. В этом случае мы прочитаем роман как захватывающий детектив и/или любовную историю с богатыми и живописными историко-культурными иллюстрациями. Но возможно и другое прочтение. Тот философский уровень романа, который соотносится с неопубликованным трудом Адриа Ардевола, позволяет придать ему новое измерение. Оно связано не только с образом "преемственности зла", но и разговором о его "иерархии".

Отец героя, рассказав в посмертном письме о сделке с бывшим нацистским преступником, у которого за гроши купил "Виал", пишет " Я тоже зло, но Фойгт — это абсолютное зло". Если сын поверит ему, то поддастся искушению пересмотреть всю многострадальную историю "Виала" с этакой классификаторской меркой: это абсолютное, а вот это относительное зло, это — меньшее из двух или многих, а то — спасительное, неизбежное... Но художественная логика текста этой иерархии сопротивляется. Ложное обвинение иудея Щарома, клевета на забитую камнями красавицу Аммани, донос на коллег "коммунистов-каталонистов" во времена Франко — звенья одной цепи. Зло — оно зло и есть, говорит нам Жауме Кабре.

История и культура человечества предстает в романе каталонского писателя целостным полотном, гобеленом со сложным узором. Дернешь одну нить — изменится узор, где слились в причудливом рисунке образы живописи и музыки, исторические факты, легенды и документ, Восток и Запад, прошлое и современность. Передать ментальность, настроение, традиции разных эпох Жауме Кабре удается прекрасно, при этом он демонстрирует незаурядное искусство стилизации. И в этой связи нельзя не отметить высочайшее мастерство переводчиков романа. От них потребовалось не только владение всеми тонкостями языковой игры, но и обладание огромной эрудицией, умение распознать и передать "раскавыченные" цитаты и аллюзии, которыми так богата плотная вязь "гиперкультурного" текста романа. Но это еще не все: Е. Гущиной, А Уржумцевой и М. Абрамовой удалось избежать разнобоя, почти неизбежно грозящего переводу, выполненному коллективом специалистов.

Роман "Я исповедуюсь" пришел к нашему читателю как гармоничное, целостное произведение, призывающее задуматься о единстве и общечеловеческих основах нашей культуры.

Елена Леенсон
Переводчик с немецкого, кандидат филологических наук.

В ее переводе вышли книги Й. Шубигера *Где лежит море?* [2013], У. Хуба *Ковчег отходит ровно в восемь* [2013] и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны рассказ Э. Хайденрайх *Любовь и колбаса* [2014, № 3] и фрагменты книги А. Вимшнайдер *Осеннее молоко* [2015, № 4].

Эльке Хайденрайх
Elke Heidenreich
Немецкая писательница, литературный критик и журналист. Ведущая популярных программ о чтении на радио и телевидении. Лауреат многих премий в области литературы и СМИ, в том числе Международной литературной премии *Корина* [2011] и телевизионной премии *БЭМБИ* [2003].

Автор сборника рассказов *Колонии любви* [*Kolonien der Liebe*, 1992] и др., книг для детей, сценариев, оперных либретто. В *ИЛ* опубликован ее рассказ *Любовь и колбаса* [2014, № 3].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Спиной к миру* [*Der Welt den Rücken*. Carl Hanser Verlag, 2001].

Грегор Зандер
Gregor Sander
[р.1968]. Немецкий писатель, лауреат премии Ингеборг Бахман за сборник рассказов *Зимняя рыба* [*Winterfisch*, 2011], немецкой премии за лучший рассказ [2013] и др.

Автор сборника рассказов *Я же здесь родился* [*Ich aber bin hier geboren*, 2002], романов *Отсутствующий* [*Abwesend*, 2007] и *Что было бы* [*Was gewesen wäre*, 2014], книги *Дневник одного года* [*Tagebuch eines Jahres*, 2014].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Зимняя рыба* [*Winterfisch*. Wallstein Verlag, 2011].

Луц Зайлер
Lutz Seiler
[р. 1963]. Немецкий писатель, поэт. Лауреат нескольких литературных премий, в частности премии Ингеборг Бахман [2007], Немецкой литературной премии [2014].

Автор сборников стихов, в том числе *Сорок километров ночи* [*Vierzig Kilometer Nacht*, 2003], и сборников рассказов *Турксиб* [*Turksib*, 2008], *Весы времени* [*Die Zeitwaage*, 2009], романа *Крузо* [*Kruso*, 2014]. В *ИЛ* публиковались его стихи [2004, № 11] и эссе [2015, № 10].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Турксиб* [*Turksib*. Suhrkamp, 2008].

Криста Вольф
Christa Wolf
[1929–2011]. Немецкая писательница. В 1955–

Автор романов *Расколотое небо* [*Der geteilte Himmel*, 1963; рус. перев. *ИЛ*, 1964, № 1], *Образы детства* [*Kindheitsmuster*, 1976; рус. перев. 1989], *Медея. Голоса* [*Medea. Stimmen*, 1996; рус. перев. *ИЛ*, 1997,

1977 гг. — член правления Союза писателей ГДР, член Академии искусств Германии, лауреат многих литературных премий.

№ 1], повестей *Московская новелла* [*Moskauer Novelle*, 1961], *Размышления о Кристе Т.* [*Nachdenken über Christa T.*, 1968], *Кассандра* [*Kassandra*; рус. перев. *ИЛ*, 1986, № 1], *Авария. Хроника одного дня* [*Storfall. Nachrichten eines Tages*, 1987; рус. перев. *ИЛ*, 1987, № 12], *Летний этюд* [*Sommerstück*, 1989; рус. перев. 1990], книги рассказов *Унтер-ден-Линден. Три невероятных истории* [*Unter-den-Linden. Drei unwahrscheinliche Geschichten*, 1974], автобиографического эссе *Что остается* [*Was bleibt*, 1989; рус. перев. 1990].
Перевод рассказа *Август* выполнен по одноименному изданию *August* [Berlin: Suhrkamp, 2014].

Торстен Шульц
Torsten Schulz

[р. 1959]. Немецкий писатель и режиссер документальных фильмов, профессор драматургии в университете кино и телевидения имени Конрада Вольфа [Бабельсберг, Потсдам]. Лауреат премий Союза писателей Нижней Австрии [2005, 2007], премии за лучшую радиопьесу в Цонзе [2006] и др.

Автор романов *Боксхагенер Плац* [*Boxhagener Plazt*, 2004], *Ниловский* [*Nilowsky*, 2013], сборника рассказов *Революция и вши* [*Revolution und Filzläuse*, 2008] и многочисленных киносценариев.
Публикуемый рассказ взят из сборника *Революция и вши* [*Revolution und Filzläuse*. Berlin: Ullstein 2008].

Вислава Шимборская
Wisława Szymborska

[1923–2012]. Польская поэтесса, лауреат Нобелевской премии [1996].

Автор четырнадцати книг стихов, в том числе *Большие числа* [*Wielka liczba*, 1976], *Люди на мосту* [*Ludzie na moście*, 1986], *Конец и начало* [*Koniec i początek*, 1993], *Минута* [*Chwila*, 2002], *Двоеточие* [*Dwukropek*, 2005], *Здесь* [*Tutaj*, 2009], *Довольно* [*Wystarczy*, 2012] и др. Стихи В. Шимборской по-русски печатались в сборнике переводов А. Ахматовой *Голоса поэтов* [1965], в антологии *Польские поэты XX века* [2000], *Польские поэтессы* [2002] и др.; также изданы ее книги *Соль* [2005], *Жизнь с бухты-барахты* [2007], *Избранное в переводах Асара Эппеля* [2007]; в *ИЛ* [1967, № 2; 1974, № 7; 1978, № 8; 1994, № 11; 2000, № 8; 2003, № 5; 2012, № 4]. В *ИЛ* опубликованы также речь Виславы Шимборской *Поэт и мир*, произнесенная на церемонии вручения ей Нобелевской премии [1997, № 5], книги стихов *Двоеточие* [2006, № 6], *Здесь* [2010, № 1], *Довольно* [2013, № 1], фельетоны из сборника *Необязательное чтение* [1999, № 5] и фрагменты книги *Литературная почта, или Как стать / не стать писателем* [2009, № 7].

Игорь Белов
[р. 1975]. Поэт, переводчик.

Переводил с польского языка М. Светлицкого, С. Баранчака, Б. Задуру, Я. Качмарского, М. Беджицкого, Т. Гайцы, Д. Фокса, М. Сендецкого, С. Сташевского, Д. Сосницкого, М. Бялошевского, С. Пентака, Я. Джевуцкого, В. Шленгеля, Э. Ткачишина-Дыцкого и др., с украинского – С. Жадана, Ю. Андруховича и др., с белорусского – А. Хадановича и др. В его переводе опубликована книга М. Светлицкого *Сто стихотворений о водке и сигаретах* [2015].
В *ИЛ* в его переводе опубликованы стихи Б. Задуры [2015, № 6].

Клаудио Магрис
Claudio Magris
[р. 1939]. Итальянский исатель, журналист, эссеист, переводчик с немецкого языка, исследователь австрийской и немецкой культуры. Депутат итальянского Сената [1994–1996]. Кавалер *Ордена за заслуги в области искусства и литературы Французской республики* [1999] и *Большого креста Итальянской республики* [2001], лауреат французской премии *за лучшую иностранную книгу* [1990], премий *Стрега* [1997], *Эразмус* [2001], *принца Астурийского* [2004], *Государственной премии Австрии по литературе* [2006], *Виареджо* [2007].

Автор романов *Микромиры* [*Microcosmi*, 1997], *Другое море* [*Un altro mare*, 1991; рус. перев. 2005] и др., драм *Голоса* [*Le voci*, 1995], *Выставка* [*La mostra*, 2001] и др., книг *Габсбургский миф в современной австрийской литературе* [*Il mito absburgico nella letteratura austriaca moderna*, 1963], *Кольцо Клариссы* [*L'anello di Clarisse*, 1984], *Бесконечное путешествие* [*L'infinito viaggiare*, 2005], *История еще не закончилась* [*La storia non è finita*, 2006] и др., сборника эссе *Утопия и разочарование* [*Utopia e disincanto*, 1999]. В *ИЛ* печатались главы из книги *Дунай* [2004, № 3] и эссе *Литература и право* [2008, № 10].
Публикуемые тексты взяты из книги *Teatro* [*Teatro*. Milano: Garzani Libri s.p.a., 2010].

Валерий Михайлович Николаев
[р. 1942]. Переводчик с итальянского.

В его переводе публиковались произведения Т. Гуэрры, Э. Моранте, А. Табукки, А. Барикко, Н. Амманити, С. Бенни, А. Николаи, Л. Лунари, Г. Дори, Д. Пайетты, Р. Реджиани, А. Альтери, М. Драго, С. Дациери, Э. Веско, М. Листри, С. Винчи, Л. Ликальци, О. Капеллани и др.
В *ИЛ* в его переводе опубликованы рассказы А. Табукки [1997, № 9], пьеса Г. Дори *Алмазы* [2015, № 5].

Ханна Кралль
Hanna Krall
Польская писательница и журналистка. Награждена католическим орденом *Ecce Homo* [2003].

Автор книг *Жиличка* [*Sublokatorka*, 1985], *Танец на чужой свадьбе* [*Taniec na cudzym weselu*, 1993], *Там уже нет никакой реки* [*Tam już nie ma żadnej rzeki*, 1998], *На редкость длинная линия* [*Wyjątkowo długa linia*, 2004], *Королю червонному – дорога дальняя* [*Król kier znów na wylocie*, 2006; рус. перев. 2013],

Лауреат множества литературных и журналистских премий, в том числе Лейпцигской книжной премии за вклад в европейское взаимопонимание [2000], премии Гердера за вклад в развитие европейской культуры [2005], польской литературной премии *Нике* [2005], литературной премии имени Юлиана Тувима [2014].

Портрет с пулей в челюсти и другие истории [*Portret z kulą w szczęce i inne historie*, 2008], *Белая Мария* [*Biała Maria*, 2011; рус. перев. 2014] и др. В *ИЛ* публиковалась ее книга *Опередить Господа Бога* [1988, № 4].
Публикуемые рассказы взяты из сборника *К востоку от Арбата* [*Na wschód od Arbatu*. Wydawnictwo: Fundacja Instytutu Reportażu (Dowody na istnienie), 2014].

Мариуш Щигел
Mariusz Szczygieł
[р. 1966]. Польский журналист, писатель, лауреат многих наград за репортажи и телевизионные ток-шоу.

Автор многочисленных репортажей в прессе, сборника репортажей о Польше *Воскресенье, которое случилось в среду* [*Niedziela, która zdarzyła się w środę*, 1997], книги *Сотвори себе рай* [*Zrób sobie raj*, 2010] и др. В *ИЛ* опубликованы фрагменты его книги *Готтленд* [2012, № 6].

Александр Мелихов
[р. 1947]. Прозаик, литературный критик, публицист, кандидат физико-математических наук. Лауреат Набоковской премии СП Санкт-Петербурга [1993], премий петербургского ПЕН-клуба [1995], имени Гоголя [2003], правительства Санкт-Петербурга [2006], имени А. М. Зверева [2015].

Автор романов *Исповедь еврея* [1993], *Горбатые атланты* [1995], *Любовь к отеческим гробам* [2001], *Чума* [2003], *В долине блаженных* [2006] и др., многих сборников рассказов и нескольких сот журнально-газетных публикаций. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Алексей Петрович Цветков
[р. 1947]. Поэт, прозаик, переводчик. Редактор газеты *Русская жизнь* в Сан-Франциско [1976–1977], редактор и ведущий программ *Седьмой континент* и *Атлантический дневник* на радио *Свобода* в Мюнхене и Праге. Лауреат премий Андрея Белого [2007] и имени А. М. Зверева [2015].

В американском издательстве *Ардис* вышли три книги его стихов: *Сборник пьес для жизни соло* [1978], *Состояние сна* [1981], *Эдем* [1985]. Книги *Стихотворения* [1996], *Дивно молвить* [2001], *Просто голос* [2002], *Шекспир отдыхает* [2006], *Имена любви* [2007], *Ровный ветер* [2008], *Детектор смысла* [2010] изданы в России. Публиковался в *ИЛ* [1993, № 12; 1996, № 1; 2002, № 5; 2004, № 4; 2011, № 3]. Ведущий рубрики *ИЛ В устье Гудзона с Алексеем Цветковым*.

Елена Владимировна Огнева
Литературовед, переводчик с испанского и португальского языков, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник филологического факультета МГУ, Заслуженный научный сотрудник Московского университета, член Союза писателей.

Автор статей о латиноамериканской, португальской, испанской литературе. С ее предисловиями выходили произведения Ф. Наморы, Ж. Сарамаго, Ж. Амаду, Л. Фагундес Теллес, К. Фуэнтеса, М. Пуига, А. Переса-Реверте и др.
В ее переводах публиковались эссе А. Карпентьера и Ж. Амаду, письма и интервью Х. Кортасара, Эрнесто Сабато и др. В *ИЛ* публиковались ее статьи *Фантастическое у Кортасара* [1978, № 8], *Эпоха единения* [1984, № 1], *"О были величавой и тревожной навеки мы преданье сохраним"* [2015, № 7]. Была постоянным обозревателем *ИЛ* рубрики *Из месяца в месяц* [1976–1986].

Переводчики

Анатолий Сергеевич Егоршев
[р. 1935]. Журналист, германист, переводчик с немецкого. Лауреат премии *Инолит* [2008].

В Германии в его переводе на немецкий опубликована повесть В. Панова *Филипп фон Цезен*. В его переводах опубликованы произведения М. Бодрожич, У. Кольбе, Р. Леттау, Л. Тролле, К. Хайна, Т. Хетхе, П. Хэртлинга, Т. Хюрлимана, Л. Берфуса, П. Бикселя, У. Видмера, В. фон Штернбурга, Р. Вальзера, Г. Кляйна и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Нина Николаевна Федорова
Переводчик с немецкого, шведского, норвежского, нидерландского, английского и польского языков. Лауреат Австрийской государственной премии в области литературного перевода [1994], премии имени Жуковского [2004], премии *Мастер* [2011].

В ее переводе печатались произведения К. Вольф, Г. Гессе, Ф. Дюрренматта, А. Зегерс, К. Рансмайра, П. Низона, Й. Рота, А. Штифтера, И. Бергмана, Х. Мартинсона, Л. Густафссона, С. Дельбланка, Т. Линдгрена, Ё. Тунстрёма, рассказы М. Л. Кашниц и З. Ленца, драмы Р. Музиля и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Дарья Алексеевна Андреева
Переводчик с английского и немецкого языков.

Автор романа *Личная война Павла*. В ее переводе издана детская книга *Летающий Якоб* Ф. Вехтера, рассказы Ф. Хоппе.
В *ИЛ* в ее переводе опубликованы фрагменты книги М. Бубер-Нойман *От Потсдама до Москвы* [2015, № 4].

Владимир Борисович Окунь
[р. 1955]. Переводчик с английского и польского языков. Лауреат конкурса на лучший перевод поэзии прерафаэлитов, Ч. Милоша [2011], Т. Ружевича [2013].

Переведенные им стихотворения включены в сборники *Поэтический мир прерафаэлитов* [А. Теннисон, Д. Г. Россетти, К. Россетти, У. Моррис, А.Ч. Суинберн, Э. Даусон], *Милош по-русски*. В его переводах опубликованы рассказы польских писателей Л. Липского, А. Стасюка, А. Титкова, проза Е. Стемповского, Ю. Виттлина. В *ИЛ* напечатаны его переводы стихов У. Морриса [2013, № 5], Т. Ружевича [2014, № 6], Р. Брука [2014, № 8], А. Пивковской и Г. Квятковского [2015, № 6] и микроромана Л. Липского *Пётрусь* [2015, № 10].

Александр Абрамович Ситницкий
[р. 1948]. Переводчик с английского и польского языков.

В его переводах в американских русскоязычных журналах *Флейта Евтерпы* и *Стороны Света* публиковались стихи У. Х. Одена, Т. Харди, О. Уайльда и А. Хаусмана. В сети опубликованы также переводы с английского из Р. Геррика, Э. Дикинсон, Р. Вилбура, С. Платт, Х. Плучека, Э. Паунда, с польского — из Т. Гайцы и др. В *ИЛ* в его переводе [совместно с Е. Калявиной] опубликованы стихи Т. Ружевича [2014, № 6].

Елена Юрьевна Калявина
Музыкант, филолог, переводчик с английского и польского языков. Победитель конкурса на лучший перевод стихов Т. Ружевича [2013]. Лауреат премии имени А. С. Апта [2015].

В ее переводах опубликованы романы Р. Кляйн, Э. Страут, Э. Уортон, К. Мак и Д. Кауфман, рассказы Ф. С. Фицджеральда, Э. Манро, впервые на русском языке опубликована поэма Дж. Керуака *Море* из романа *Биг Сур*, переводила стихи У. Блейка, Р. Л. Стивенсона, Э. Дикинсон, С. Тисдейл, П. Г. Вудхауза, Ф. С. Фицджеральда и др. с английского языка, Б. Лесьмяна, В. Шимборской, Т. Ружевича — с польского. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны стихи Т. Ружевича [совместно с А. Ситницким; 2014, № 6], Ф. С. Фицджеральда [2014, № 6], Р. Брука [2014, № 8], П. Г. Вудхауза [2015, № 10] и эссе Г. Миллера [2015, № 5].

Валерий Борисович Тихонов
Переводчик с польского, украинского и английского языков.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Прозаик, переводчик с польского, литературный обозреватель, лингвист. Член Литературной академии [жюри премии *Большая книга*]. Главный редактор интернет-портала *Словари XXI века*. Кандидат филологических наук. Лауреат премий *Человек книги* [2004], имени А. М. Зверева [2010], журнала *Октябрь* [2010], австралийского фестиваля русскоязычной литературы *Антиподы* [2010].

В его переводе с польского напечатана пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению*.

Анастасия Векшина
Поэт, филолог, переводчик с польского. Лауреат конкурса на лучший перевод стихотворений Т. Ружевича [2013].

Автор книги стихов и короткой прозы *Море рядом* [2009]. В ее переводе были опубликованы стихи Ч. Милоша, Т. Ружевича, М. Светлицкого, П. Кемпиньского, А. Видемана, Р. Хонета, М. Габрыся, А. Сосновского и др. В *ИЛ* в ее переводе опубликованы стихи А. Видемана и Р. Хонета [2012, № 8] и Т. Ружевича [2014, № 6].

Евгения Витальевна Зимина
Переводчик с английского и польского языков. Неоднократный призер конкурсов

В ее переводе опубликованы стихи Ю. Тувима в сборнике *Молча* [2014]. В *ИЛ* в ее переводе напечатано стихотворение Ш. Моррисси [2015, № 9].

художественного перевода EURASIAN OPEN, победитель конкурса перевода стихотворений Шинейд Моррисси в рамках проекта Британского Совета.

Борис Михайлович Косенков
Переводчик с английского, польского, чешского, словацкого и украинского языков.

В его переводах публиковались произведения А. Кристи, Э. Уоллеса, А. Маклина, Г. Р. Диксона, Э. Митчелла, Э. Д. Биггерса, В. Шубрта, Р. Самбука и др.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Вера Тимофеевна Виногорова
Переводчик с польского, дипломант Международных конкурсов переводов поэзии Т. Ружевича [2013], Вислава Шимборской [2015], Международного конкурса *Музыка перевода 2014*.

В ее переводах публиковались повесть В. Гомбровича *Транс-Атлантик*, воспоминания генерала В. Андерса *Без последней главы*, главы из книги Р. Капущинского *Стремнина истории*, сборник избранной поэзии В. Шимборской *Жизнь с бухты барахты*, поэтический цикл Л. Жулинского *Я, Фауст* и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Александр Адамович Пивинский
[р. 1965]. Переводчик с польского. Лауреат премии имени В. В. Розанова [2010].

В его переводах публиковались стихи Ю. Тувима, В. Броневского, драматургия Т. Карповича. В *ИЛ* публикуется впервые.

Екатерина Владимировна Полянская
Поэт, переводчик с польского и сербского языков. Член СП России. Лауреат премий имени А. А. Ахматовой [2005], имени М. Ю. Лермонтова [2009], имени П. П. Бажова [2013], имени Я. Ивашкевича [2014], имени Б. Корнилова [2015] и др.

Автор шести стихотворных сборников, а также многочисленных журнальных публикаций. Переводила с сербского стихи М. Булатович, М. Боича, Й. Дучича, С. Ракитича, Д. Лакичевича, Р. Нешовича, Л. Ненадовича; с польского — М. Вавжкевича, Р. Улицкого, К. Гонсяровского, Э. Мусиал, М. Буковского, А. Дембковского и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Георгий Леонидович Васильев
[р. 1978]. Переводчик с польского.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Ксения Яковлевна Старосельская
Переводчик с польского, лауреат премий *ИЛ* [1986], польского ПЕН-клуба [2004], польского Института Книги *Трансатлантик* [2008].

В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Хороманьского, Т. Конвицкого, В. Шимборской, Т. Новака, В. Мысливского, Е. Анджеевского, М. Хласко, Х. Кралль, С. Хвина, Е. Пильха, О. Токарчук, П. Хюлле, Е Анджеевского, Ю. Стрыйковского, Э. Ментцеля, Т. Ружевича, А. Барта, З. Хаупта, П. Черского и др.
Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции
(понедельник, вторник, среда, четверг
с 12.00 до 17.30).

В оформлении обложки использован фрагмент картины немецкого художника Герхарда Рихтера [р. 1932] из серии *Флоренция* [2000].

Художественное оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.
Компьютерный набор
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Исполнительный директор
Мария Макарова.

Адреса редакции: 115035, г. Москва,
Космодемьянская наб., д. 44/2, корп. А
(юридический);
119017, г. Москва, Пятницкая ул., 41, стр. 1, 2
(почтовый);
г. Москва, Ленинградский просп., д. 68, стр. 24,
м. "Аэропорт" (фактический).
Телефон (495) 225-98-80.
e-mail: inolit@rinet.ru

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский пер., 12/27);
в киоске "Книжные мастерские" (ул. Тверская, д. 23, в фойе Электротеатра Станиславского);
в Санкт-Петербурге:
в магазине "Книжные мастерские" (Каменноостровский пр., д. 10);
в книжном магазине "Все свободны" (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в магазине "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 15);
в магазине "Подписные издания" (Литейный пр., 57);
в киоске "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 49А, 3-й этаж, новая сцена Александринского театра).

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Регистрационное
свидетельство
ПИ № 8С77-63040
от 18 сентября 2015 г.

Подписано в печать
27.7.2016
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 3345.
Тираж 2500 экз.

Отпечатано в
ОАО "Можайский
полиграфический комбинат".
143200, г. Можайск,
ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru, www.оаомпк.рф
Тел.: (495) 745-84-28;
(49638) 20-685.

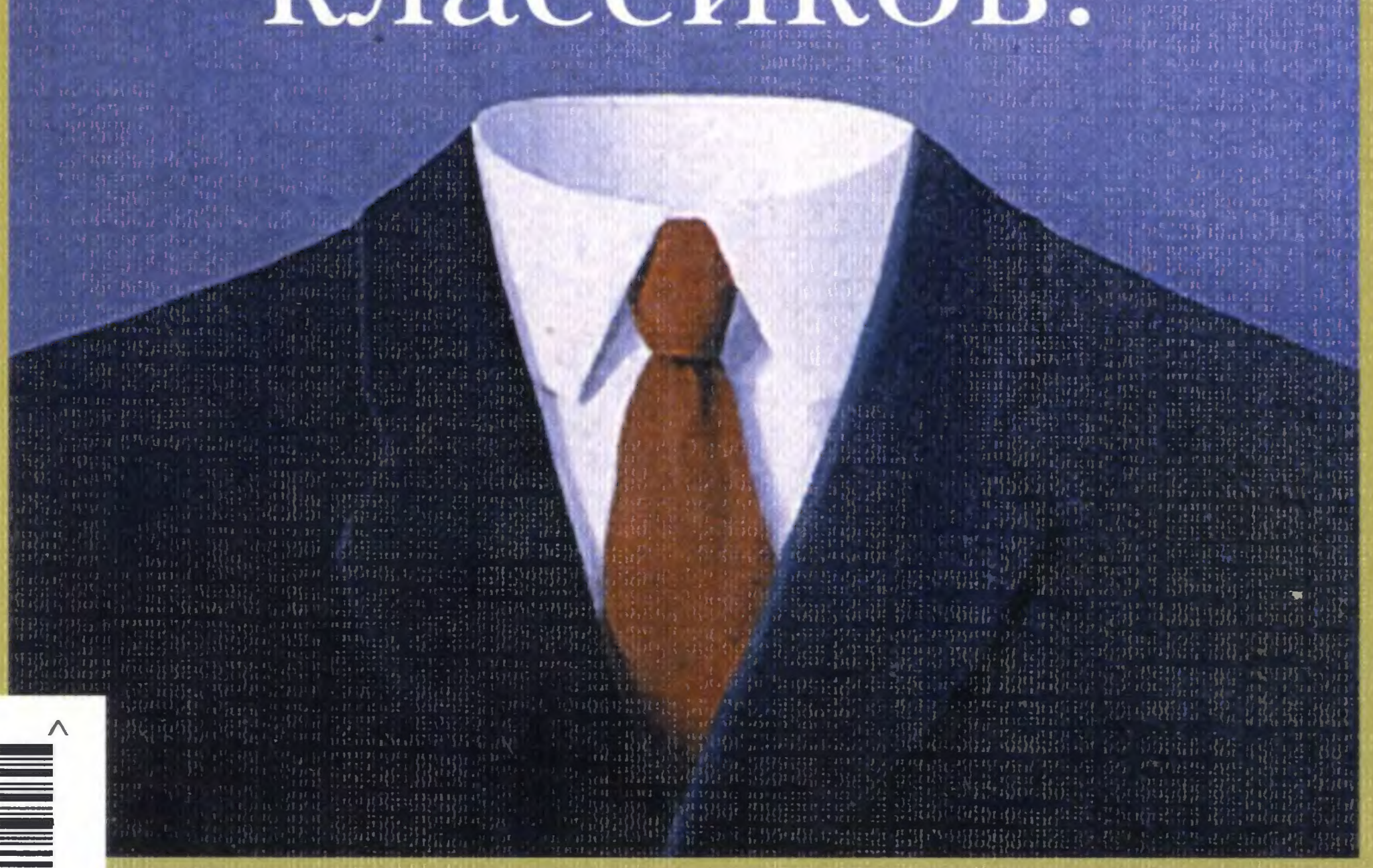
Присланные рукописи не
возвращаются и не
рецензируются.

[9] 2016

РОМАН ПЕНЕЛОПЫ ФИЦДЖЕРАЛЬД “ГОЛУБОЙ ЦВЕТОК” / ПОВЕСТЬ ЕЖИ ПИЛЬХА “ЗУЗА, ИЛИ ВРЕМЯ ВОЗДЕРЖАНИЯ” / УОЛЛЕС СТИВЕНС В РУБРИКЕ “ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА” / ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: НОВЕЛЛЫ ЖАН-ПЬЕРА КАМЮ / “ВОЙНА И МИР” МАРКА КОПЕЛЕВА В РУБРИКЕ “ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Узнай завтрашних классиков!



ISSN 0130-6545

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала “Иностранная литература”:
г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 68, стр. 24, м. “Аэропорт”.

ИНДЕКС 70394

“ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2016, №8, 1–288

ISSN 0130-6545